

Редакционная коллегия:

Балков К.Н.
Гольдфарб С.И.
Зиновьев Н.А.
Румянцев А.Г.

член Союза писателей России
член Союза российских писателей
член Союза писателей России (Краснодар)
член Союза писателей России (Москва)

Бронштейн В.В.
Корбут С.В.
Ясникова Т.В.

шеф-редактор журнала, член СП России
главный редактор, член СП России
ответственный секретарь, член СП России

2013 год

ИРКУТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ



ИРКУТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

№ 1 / 2013

В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ ОПУБЛИКОВАТЬ:

ПУБЛИЦИСТИКУ
И ПРОЗУ

Станислава Гольдфарба
Виталия Зоркина
Анатолия Лисицы
Сильвестра Медведева
Василия Орочона
Андрея Хромовских
и других

СТИХИ

Андрея Румянцева
Анатолия Змиевского
Петра Реутского
Иннокентия Новокрещенных
Татьяны Ясниковой
Людмилы Соболевской
Амарсаны Улзытуева
Василия Костромина
и других

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

В НОМЕРЕ:

Диалог с властью

Гость номера А.Н. ЛАБЫГИН

О судьбе Байкала
О «цифровом» поколении
О детской литературе
О городе родном

Андрей РУМЯНЦЕВ
Виктор БРОНШТЕЙН
Светлана ВОЛКОВА
Фёдор ЯСНИКОВ

Новые рассказы

Ким БАЛКОВ
Сергей АМОСОВ
Вадим РУДАКОВ

О новой книге и стихи
Стихи

Анатолий ГОРБУНОВ
Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ
Анна РАНДИНА
Борис АРХИПКИН
Алина БОРОВСКАЯ
Вадим ТУМАНОВ
Татьяна ЯСНИКОВА

Глава из книги
Художественный салон

1 / 2013

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ИРКУТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

№1/2013



Старый Иркутск. Графика с репродукции офорта А. Шипицына

Редакционная коллегия:

Балков К.Н. *член Союза писателей России (Иркутск)*
Гольдфарб С.И. *член Союза российских писателей (Иркутск)*
Зиновьев Н.А. *член Союза писателей России (Краснодар)*
Румянцев А.Г. *член Союза писателей России (Москва)*

Бронштейн В.В. *шеф-редактор журнала, член СП России*
Корбут С.В. *главный редактор, член СП России*
Ясникова Т.В. *ответственный секретарь, член СП России*

Литературно-художественный журнал «Иркутской писатель». –
Иркутск, 2013. – 224 с. (Илл. – 16 с.)

Контактные телефоны:

8-914-901-0304 (Сергей Владимирович Корбут)
8-914-905-2514 (Татьяна Викторовна Ясникова)

E-mail: irkpis@mail.ru

*Отпечатано в типографии ООО «Репроцентр А1»
Иркутск, ул. Ал. Невского, 99/2, тел. 540-940*

СОДЕРЖАНИЕ

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ	
Гость номера – <i>председатель Думы г. Иркутска А.Н. Лабыгин</i>	4
ПУБЛИЦИСТИКА. ПРОЗА. ПОЭЗИЯ	
<i>А. Румянцев. Драма Байкала. Очерк</i>	14
<i>К. Балков. На отшибе. Исповедь. Рассказы</i>	24
<i>И. Каширский. Певца народной жизни поддерживали земляки</i>	44
<i>А. Горбунов. Родники. Стихи</i>	46
<i>С. Амосов. Пролетарка.</i>	52
<i>В. Рудаков. Смотритель окна. Рассказы</i>	78
<i>Н. Кольцов. Ещё поживём... Рассказ</i>	84
<i>А. Рандина. Постичь свою душу. Стихи</i>	93
ВОСПОМИНАНИЯ. РАЗМЫШЛЕНИЯ. ДИСКУССИИ	
<i>Ф. Ясников. Вот моя улица, вот мой дом родной...</i>	98
<i>В. Бронштейн. Браконьерские сети Интернета</i>	108
<i>С. Волкова. Надо ли «спорить с веком»?</i>	116
<i>А. Боровская. «Я мыслила Тебя...» Беседа. Стихи</i>	122
ЖИЗНЬ В ТВОРЧЕСТВЕ И ТВОРЧЕСТВО В СУДЬБЕ	
– Анатолий Передреев	
<i>Г. Гайда. Поэт высокого духа</i>	132
<i>А. Передреев. Классическая лира. Стихи</i>	137
– Борис Архипкин	
<i>Т. Ясникова. «Imagine&poesia»</i>	146
<i>Б. Архипкин. Из последних стихов</i>	150
– Андрей Фёдоров	
<i>Т. Ковальская «О, муза, навещай меня!»</i>	152
<i>А. Фёдоров. Надо жизнью своей дорожить. Стихи</i>	154
ЛИЧНОСТЬ	
<i>А. Ершов. Два великих «старателя»: Туманов и Высоцкий</i>	158
<i>В. Туманов. Всё потерять и вновь начать с мечты... Глава из книги</i>	166
Страницы жизни Иркутской областной писательской организации	203
Книжные новинки	205
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН (<i>Искусствовед Т. Ясникова</i>)	
Франция и мы (выставка в художественной галерее В.В. Бронштейна)	213
Взгляд из дома на склоне холма (В. Голенев и его «Династия»)	216
Заповедное (выставка художника С. Писарева)	221
Кузьмин & Никифоров (История одной картины)	223
ИЛЛЮСТРАЦИИ	(1)-(16)

Гость номера – председатель Думы г. Иркутска А.Н. Лабыгин

В начале июня прошло расширенное заседание редколлегии журнала «Иркутский писатель», оно было посвящено не только процессу формирования первого номера, но и осмыслению той концепции, которая могла бы в дальнейшем способствовать объединению усилий трёх писательских организаций, действующих в настоящее время в Иркутске, и власти областного центра – для более активного и планомерного участия литературных сил в развитии культуры города. Поэтому на заседание в качестве «гостя номера» был приглашён председатель Думы г. Иркутска А.Н. Лабыгин, охотно вникающий в проблемы городской культуры.

Естественно, что разговор не замыкался только на писательских интересах. С тех пор, как литература была «отлучена» от государства, вопрос взаимодействия её представителей с местными властями стал во многом вопросом выживания для творческих организаций первых и вопросом «что с ними делать?» для вторых.

Традиционно – по советский ещё схеме – писатели ищут поддержки у исполнительной власти: городской администрации и правительства области, в последнем случае, прежде всего, министерства культуры.

А чем могут помочь депутаты, то есть представители общества, избранные для того, чтобы решать насущные вопросы жизни города и губернии? Чтобы в этом сориентироваться, важно понять, как формируется данная ветвь власти, какие люди, с каким потенциалом и интересами её осуществляют, почему так «страшно далеки» они от литературных процессов и действительно ли так далеки, как это представляется...



А. Лабыгин (в центре) на встрече с писателями в «Иркутской галерее»;
справа от гостя – В. Бронштейн, А. Ершов, А. Харитонов, К. Балков,
В. Зоркин, Т. Ясникова; слева – А. Маджаров, С. Корбут, Н. Кольцов, В. Рудаков

МЫ ЖИВЁМ В ОДНОМ ГОРОДЕ...

Что касается отношений писателей и власти, тут всё ясно: первым нужны средства для осуществления их деятельности на территории города, а городу нужны основания, чтобы эти средства выделить. При этом разбираться с каждой из трёх организаций по отдельности городской власти не резон. Сложнее с взаимоотношениями в самой литературной среде, и тут объяснить что-то, не вынося сор из избы, весьма проблематично. Однако попробуем.

Сначала из единого когда-то, но не очень дружного после начала периода гласности и перестройки, иркутского отделения Союза писателей СССР (потом – России) вышла группа литераторов либерально-демократического толка, оставив находившихся в большинстве литераторов так называемого патристического направления в Доме писателей на Степана Разина, 40. В общем, ничего удивительного – подобные процессы происходили тогда во всём российском обществе. Так образовалось иркутское отделение Союза российских писателей, которое долгое время базировалась в здании на улице Дзержинского, но потом осталось без офиса. Противостояние между «разинцами» и «дзержинцами», хотя и потеряло остроту и активность, сохранилось и до сего дня.

Третья группа – иркутская областная организация – образовалась около десяти лет назад. Создана она была не для противостояния с кем-либо, а, как заявлено на её сайте, «для наиболее эффективного использования творческого потенциала писателей». Стоит отметить, что все представители областной организации также являются членами Союза писателей России.

Понимая всю сложность осуществления объединительно-примиряющего процесса, председатель правления областной писательской организации, шеф-редактор журнала В.В. Бронштейн всё же решил сделать первый шаг: пригласил на расширенное заседание представителей двух других организаций с предложением войти в состав редколлегии, главу представительской власти города А.Н. Лабыгина и депутата-писателя Ю.Д. Коренева.

Встреча проходила в Иркутской галерее В.В. Бронштейна, который на правах хозяина представил собравшихся друг другу, и гостю номера, начав с «ровесников Иркутской области» и напомнив все их основные титулы:

– 75 лет исполнилось лауреату Государственной, областной и Большой литературной премии России, члену Высшего творческого совета Союза писателей России Киму Николаевичу Балкову. 75 – профессору Виталию Иннокентьевичу Зоркину, одному из самых заслуженных преподавателей Иркутского государственного университета, действительному члену Петровской академии наук и искусств. Ещё один «академик» – Алексей Лукич Ершов – в этом году собирается отметить своё 80-летие. 75 лет Арнольду Иннокентьевичу Харитонову, награждённому знаком «Интеллигент провинции». Он представляет, наряду со Светланой Михеевой, на нашей встрече Союз российских писателей. Также мы предложили принять участие в разговоре Василию Васильевичу Козлову, много лет возглавлявшему журнал «Сибирь», члену регионального отделения Союза писателей России. Всего в Иркутске три писательских организации...

– Иначе это был бы не Иркутск! – заметил А.Н. Лабыгин.

В ответ на эту реплику В.В. Бронштейн напомнил, что подобная ситуация сложилась и у наших соседей: в Бурятии, в Якутии, – да и в Москве:

– Беда не в этом, а в острой разобщённости писателей-иркутян, даже тех, кто всей душой тянется к православию. Не сплывают сегодня бедолаг ни союзы, ни епархия.

Когда иркутское отделение Союза писателей России разделилось на две первичных организации, в Москве обе были признаны равноправными, но в Иркутске отношение другое. Так, при перерегистрации писательского журнала «Сибирь» это издание стало полностью подконтрольно, как и Дом литераторов, одной организации, зарегистрированной на ул. Степана Разина, 40: редколлегия каким-то образом составили только её представители, хотя журнал полностью финансируется общим для всех творческих работников министерством культуры и архивов Иркутской области. Но мы решили ни на кого не обижаться, а издавать свой журнал. Пусть будет конкуренция между писательскими печатными органами. Хотя мы не делим писателей на своих и чужих. И хотели бы, чтобы наш журнал стал «всесоюзным», если, конечно, эта идея найдёт понимание.

На должность главного редактора мы ставим Сергея Корбута, уже имеющего подобный опыт: он руководил издательством «Иркутский писатель», был главным редактором областной газеты «Культура: вести, проблемы, судьбы», выходившей под эгидой тогда ещё не министерства, а комитета по культуре администрации Иркутской области, работал в редакции журнала «Сибирь». Также в состав редколлегии вошла Татьяна Ясникова, активный помощник во всех делах нашей организации, она единственный у нас писатель с искусствоведческим образованием и принимает участие в деятельности галереи, где мы сейчас находимся.

Назвав всех присутствующих, в том числе прозаиков Вадима Рудакова, Николая Кольцова и профессора ИГУ, специалиста по наследию выдающегося сибирского историка 19-го века Афанасия Щапова и автора книг о нём, поэта и прозаика Александра Маджарова, В.В. Бронштейн подытожил солидный состав участников расширенного заседания:

– На встрече, таким образом, вместе со мной присутствуют три профессора, два академика, ряд главных редакторов, председатель и депутат городской думы. Состав неплохой...

А.Н. Лабыгин, поблагодарив за приглашение, так определил своё участие в предстоящем разговоре:

– Мы живём в одном городе, а это значит, что есть моменты, общие для нас всех. Когда я встречаюсь с жителями, мы обсуждаем целевые вопросы аудиторией: с педагогами – вопросы, связанные с образованием, с медиками – медицинские. Когда получил приглашение на беседу с вами, задумался о проблеме изложения мысли. Все вы люди опытные с точки зрения литературы, и вряд ли я смогу говорить на вашем профессиональном языке. Поэтому предлагаю вам самим задать тему разговора, конечно, чтобы это было интересно для вас и применительно к Иркутску.

Первым оказался вопрос далёкий от литературы, который привёл к странному, но небезынтересному диалогу. Дабы избежать неточного толкования, перейдём на прямую речь.

ГЛАВНОЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С.В. Корбут. Во властные структуры всех уровней рвётся такая прорва кандидатов, что невольно возникает вопрос: у вас что там – мёдом намазано, что ли, во власти? Вторая часть вопроса: мне кажется, что при таком наплыве среди избранников оказывается достаточно много случайных людей, преследующих не общественные интересы, а свои собственные. Вы работали в

Законодательном собрании и в городской думе – как оцениваете их состав с этой точки зрения? Ну, и третье – чем эта работа привлекательна для Вас лично?

А.Н. Лабыгин. Хотите знать, чем для меня там «намазано»? Я готов максимально открыто и доходчиво пояснить свои взгляды по заданным вопросам.

Ну, во-первых, мы же в России живём, и по отношению к власти у нас есть много различных поговорок. Например, «я начальник, ты дурак». Конечно, власть привлекает людей, которые ищут самореализации. Считается, что во власти повышаешь свой статус и переходишь из разряда тех, кто вот... – в разряд начальников.

Думаю, что многие люди в период предвыборных кампаний пытаются себя проявить не из-за того, что они чётко понимают, что нужно делать. Власть – это ответственность, это большой труд, это серьёзная профессиональная деятельность.

Фильтр, установленный в виде выборов, позволяет избирателям отсеять тех, кто менее достоин. Но иногда бывают ошибки, ошибки серьёзные. Сейчас я не хочу о них говорить. Бывает так, что абсолютное большинство ошибается. Это, к сожалению, случается от безысходности, либо в знак протеста. Думаю, не лишним было бы присмотреться к опыту других стран, с более развитой демократией, где существует система выборщиков. Наверное, коллективы и собрания жильцов выдвинули бы подготовленных думающих людей для окончательного голосования. Их было бы много трудней оболванить прожжённым политтехнологам.

Всем известны те депутаты, которые кричат с трибуны, могут поливать друг друга соком... И у населения сформировался образ дармоеда, жирующего на несчастьях обыкновенных людей. А вот когда туда попадаешь, начинаешь видеть, насколько это ответственно.

Я в Законодательное собрание области пришёл молодым ещё адвокатом, мне было 32 года, а пришлось руководить аппаратом, выстраивать работу депутатского корпуса так, чтобы законы тогда, в 2001-2002 годах, были качественные.

Это была абсолютно новая для меня работа, я был не готов к ней по своему складу характера. Но понял, как это важно – принимать обоснованные, продуктивные законы и акты, привязанные при этом к общей концепции нашего государства, ведь потом по ним жить...

У нас обширная федерация. Когда одиннадцать часов летишь над одной страной, причём ещё не от края до края, понимаешь, что есть, наверное, особенности в территориях, на которые ты вниз смотришь. Вся Россия – муниципалитеты, субъекты федерации. Потому-то верховный законодатель большую ответственность возлагает на местные законодательные органы.

Из Законодательного собрания я ушёл с уже сформировавшимся взглядом на депутатский корпус вообще и имел целую бригаду единомышленников, с чем и появился в городской думе. Это, кстати, совершенно другой пласт – не законодательная власть, а представительство, местное самоуправление.

Корбут С.В. Поясните, пожалуйста, разницу подробнее. Я, например, вашим профессиональным языком тоже не очень хорошо владею, а хотелось бы понять, с какой стороны подходить к власти с нашими писательскими проблемами.

Лабыгин А.Н. Поясню на примере. Те муниципальные образования, где проживает меньше 500 человек, могут органы местного самоуправления во-

обще не созывать. Собрались на сход, решили, выбрали людей, которые отвечают за конкретное дело, и – в зависимости от средств – либо палисадник чинят, либо школу ремонтируют. Ну а раз 420 с лишним тысяч избирателей города Иркутска невозможно собрать вместе, чтобы решать вопросы, которые у нас возникают, без органов местного самоуправления здесь не обойтись. И эти 420 тысяч выбирают своих представителей в думу, чтобы они от имени доверивших им представительство иркутян решали все насущные вопросы городской жизни. Думец сам не строит, не кладёт кирпичи, не копает траншеи. Он – связующее звено между чаяниями жителей города, и теми, кто должен их выполнить. Для меня лично – это интересная работа, результатом которой я считаю то, что при наличии абсолютного количества проблем в городе он развивается.

Корбут С.В. Можно, я думаю, поспорить о некоторых направлениях и проявлениях этого развития...

Лабыгин А.Н. Мы и спорим. Меня, скажем, не устраивает, какими темпами развивается, как создаётся городская среда. Мне кажется, что нужно быть, особенно в исполнительной власти, людям другим немножко.

Буквально перед поездкой к вам я разговаривал с вице-мэром господином Логашовым и сказал: «Антон Борисович, вы опытный коммерсант. Вы знаете, как заработать деньги. Но не надо рассматривать город как акционерное общество для извлечения прибыли, даже в интересах жителей города». Город это, прежде всего, социум. Очень сложно коммерсанту понять, что деньги нужно тратить вообще и не ждать, что будет потом из этого прибыль или заработок.

В 2005 году в результате очень серьёзных споров, переходящих в конфликт, в краткосрочный, правда, но это было, с тогдашним мэром В. Якубовским, мы создали думу города, которая имеет своё лицо, имеет своё мнение, к нему прислушиваются, и дума формирует основные положения развития города. И, конечно, чем больше мы говорим, что какой-то институт власти становится в городе более значимым, тем более люди туда стремятся. Стремятся бизнесмены, чтобы защитить свой бизнес, чтобы его приумножить. Есть люди, которые попали вообще случайно. По принципу «все побежали, ну, и я побежал». Если брать 2009 год, выборы думы пятого созыва, за меня в моём округе проголосовало 2940 человек. А есть коллеги-депутаты, за которых проголосовало 590 человек. Разные обстоятельства, разный вес у людей. Но, тем не менее, всем даются одинаковые права. Ни у кого два голоса нет.

С.В. Корбут. И какой толк от этих «случайных» людей? Не являются ли они балластом или помехой? Как вы решаете эту проблему?

А.Н. Лабыгин. Проблемы как таковой нет. Она возникнет, и такая возможность не исключена, если в думу придут на сто процентов новые люди – никто не знает, чем заниматься. Тогда вся надежда на аппарат – что он сможет удержать из наработанного и что подскажет. У нас четвёртый и пятый созыв формировались на 60% из выстроенного костяка, который понимает свои задачи, а 30% – смотрели на них и встраивались в общую канву, при этом принося свежие взгляды, что тоже важно.

Мне нравится, что люди, даже оказавшиеся в депутатском кресле по воле случая, через какое-то время уже воспринимают ту социальную ответственность, которая на них налагается. Сейчас я не по одному из тридцати четырёх коллег не могу сказать, что он плохой депутат.

С.В. Корбут. Андрей Николаевич, Вы чуть раньше «задели» мимоходом исполнительную власть. Как это понравится мэрии?

А.Н. Лабыгин. Я работаю в городской думе, и обязан думать о пользе города, а не о том, чтобы кому-то нравиться. Не хваюсь, но когда смотрю на некоторых своих коллег из других областных центров, недоумеваю: там председатель думы за мэром «носит его чемодан». Уровень представительской власти в областных центрах часто таков, что думцам говорят: голосуйте, за что вам сказали, и только.

Мы тут немножко впереди планеты всей идём. Считаю, что это неплохо. Иркутск вообще город с характером. Лучший вариант, чтобы никто ни за кем «чемодан не носил», а все были партнёрами.

Не знаю, насколько этот вопрос интересен писательской среде. Но я считаю, что дружить надо со всеми. Вставать или не вставать в противостояние, когда мнения не совпали, это выбор каждого. Мы не делим друг друга по какому-то национальному или социальному положению.

В.В. Бронштейн. Какой образ мэра Вам кажется более привлекательным? Мэр как сити-менеджер, или тот, кто избран всенародно?

А.Н. Лабыгин. Конечно, голубая мечта любого председателя думы – стать главой города, и чтобы депутатский корпус избирал мэра. Чтобы золотая рыбка была на побегушках. Я стою особняком в этом процессе и не считаю, что это правильно. Депутатский корпус к ответственности должен быть готов. Иначе превратится в акционерное общество по зарабатыванию денег для кого-то конкретного.

Пока этот разговор продолжался, те, кому он был малоинтересен, в нетерпении ждали, когда же можно будет перейти к насущным писательским вопросам, но, естественно, беседующих не перебивали: литераторы – люди интеллигентные.

С КЕМ ДРУЖИТЬ ПИСАТЕЛЯМ?

С.А. Михеева. Мы проводим фестиваль поэзии на Байкале, литературные вечера – для того, чтобы создать в городе литературную среду и привлечь население к иркутской литературе. Но когда мы пытаемся сотрудничать с городом, у нас получается очень плохой результат. Единственный способ поддержки общественной организации городом – это получение субсидий. Получение субсидий происходит на птичьих правах: организация должна найти деньги и провести свои мероприятия, за что потом может получить некую компенсацию. Процент. Общественные организации, писательские – это понятно – не имеют своих средств и вынуждены искать спонсоров, по сути, для того, чтобы развивать городскую культуру. Но ведь наверняка есть какие-то механизмы, которые позволят нам сотрудничать с городом более плодотворно?

А.Н. Лабыгин. Такая абсолютная безнадёжность в ваших словах звучит. Не стану замыкать весь ответ на себя. По сути, вам нужен представитель, который мог бы ваши интересы, ваши предложения продвигать в думе с точки зрения строчек в программах. Вот кстати, Юрий Диомидович Коренев – депутат и писатель в одном лице; он знает, какие есть программы поддержки культуры и как в них включиться. Берите пример с художников. Они в нас просто впились! Руководитель иркутского отделения Союза художников Наталья Сергеевна Сысоева очень активно действовала, и как мы ни отбрыкивались, а художественные мастерские передали им в безвозмездное пользование. Под лежачий камень вода не течёт. Мы, депутаты, знаем, что есть писатели, а как с вами работать, не знаем. Наша «конституция» – 131-й федеральный закон «Об

общих принципах организации местного самоуправления РФ». Там сорок два вопроса местного значения. А про писателей ничего не сказано. Сказано про культуру.

Иркутск – культурный город. Промышленности у нас уже чуть-чуть. Деловые все уехали, культурные – остались. Культура – это дальнейшее развитие нашего города. Когда я говорю, что надо развивать Иркутск как точку подлёта к Байкалу, я говорю, в том числе и о культуре. Здесь надо развивать обслуживающие направления, гостиничный бизнес, деловой туризм. Иркутяне возражают: «Вы что, хотите, чтобы мы тут говорили: «Кушать подано?» – Мы этим заниматься не будем». А ведь целые страны держатся на туризме – везде это считается достойным трудом на благо развития.

Есть у вас предложения, мысли, задумки, связанные с культурой, излагайте. Согласуйте свои предложения с программой социально-экономического развития, концепцией развития Иркутска. Все предложения, которые будут исходить от писательских организаций и укладываться в канву развития города, мы рассмотрим. А денег никогда нет, и деньги всегда есть. Это парадокс бюджетный.

А.И. Харитонов. Мы хотели услышать ответ о механизмах.

А.Н. Лабыгин. Давайте от обратного пойдём. Как хотите вы? Ваше предложение – мы вставляем в программу, обеспечиваем.

В.В. Бронштейн. По сути, механизм в области такой – появились строчки «Фестиваль поэзии на Байкале», «Сияние России» – и эти мероприятия уже в бюджете предусмотрены. А в городские программы не попали – вот и всё.

А.Н. Лабыгин. От вас нужна инициатива: что вы как профессионалы хотите и можете сделать. Никто лучше вас ситуации не знает. А то, что в режиме пожарной машины бюджет не работает, это тоже понятно. Я от писателей инициативы о проведении того или иного мероприятия на уровне города не видел.

Ю.Д. Корнев. Исторически так сложилось с советского времени, что писатели работали с властью. Похоже, многим писателям власть представляется монолитной, они её не делят на исполнительную (чиновники) и представительскую (депутаты). Привычка ждать, что чиновник от культуры озаботится и будет предлагать, чем бы вам помочь, досталась от советского времени. Мы, и с этого начал Андрей Николаевич, живём в России. Чтобы вопросы решались, надо создавать мотивацию для принятия решений. С какой стати представительской власти помогать вам, если у неё нет мотивации? А она создаётся различными путями, в том числе и публичным обсуждением. Встреча с председателем думы – это площадка, где вы озвучиваете вопросы. Это уже шаг к сотрудничеству. Пока же вы получаете то, что получаете, потому что сами замкнулись на себе и традиционно-советской связи с чиновниками, которые представляют подразделения культуры.

В.И. Зоркин. Мне в пору мемуары писать, как я, чтобы издать свою книгу об иркутских градоначальниках, семь лет стучался в кабинеты мэрии с бесчисленными бумагами и ни к кому из чиновников попасть не мог. А в советское время это не составляло труда.

А.Н. Лабыгин. Когда на думе рассматривали концепцию развития города, в том числе и аспекты культуры, мы с различными профессиональными сообществами это обсуждали. Почему вы остались в стороне? Не в курсе событий были? Удивительное дело.

А.И. Харитонов. Встречный вопрос: а почему такое происходит? У вас есть управление культуры – чем оно занимается?

А.Н. Лабыгин. Чтобы всё было понятно, объясню: из 35 депутатов думы города Иркутска на постоянной основе работают три человека – это председатель, заместитель и депутат, занятый в комиссии по этике. Все остальные совмещают депутатские обязанности со своей основной работой. При этом мы имеем более тысячи человек, работающих в администрации, в том числе и в управлении культуры. Эти люди действуют в рамках закона и бюджета. Насколько эффективно – вопрос другой, это можно проверить. Поэтому я и хочу донести до вас основную мысль: почему не налажены коммуникации со всеми органами местного самоуправления? Не получается через администрацию – приходите в думу. Кабинет 401.

С.В. Корбут. Светлана Михеева произносила два словосочетания: общественная организация и профессиональный союз. Что касается общественной организации – вопросов нет. Но профессиональным союзом мы себя юридически называть не можем, потому что профессия писатель в российском государственном реестре* отсутствует с 1994 года. Зато присутствует 18 разновидностей менеджеров – недавно туда под номером 061100 был введён такой уважаемый род занятий как «Менеджер сетевого бизнеса». Мы занимаемся таким важным делом, как литература, а по сути, мы безработные. Я сейчас – безработный, в трудовой книжке – пробел. А раньше, до того как слова «мы живём в России» стали иметь нынешний смысл, там было бы сказано «писатель».

С.А. Михеева. Я окончила Литинститут им. Горького, и у меня в дипломе записано – «литературный работник».

С.В. Корбут. Ну и что, что там это записано? В реестре профессий «литературного работника» тоже нет, есть только «литературный сотрудник», но это из области журналистики. Писатель сейчас не имеет никакого статуса, просто мы ходим и говорим: мы писатели, у нас членские билеты есть, выданные нашей общественной организацией. По закону, общественная организация писателей ничем не отличается от общества любителей пива, например. А почему из Иркутска нельзя начать инициативу по восстановлению статуса писателя? Если уж наши думцы «впереди планеты всей», как сказал Андрей Николаевич...

А.Н. Лабыгин. Я никогда не задумывался над тем, что услышал сейчас. Надо изучить вопрос – как что произошло.

А.Л. Ершов. В будущем году нашей организации исполняется 10 лет. Мы до сих пор не имеем адреса. Нет ни телефона, ни места для встреч. Мы к В.И. Кутищевой обратились – получили отказ. Сейчас министр культуры В.В. Барышников, но мы понимаем, что ответ будет прежний. А мы такая же организация писателей, как и региональная, живущая без помех на территории Дома литераторов.

Получается, что есть писатели первого сорта и другие? Нас 20 человек, но люди солидные. Встречи с молодёжью проводим, нас приглашают в библиотеки, встречаемся с ветеранами. А нам пригласить людей некуда. Министерство культуры в помещении отказало.

А.И. Харитонов. Такая же ситуация в нашем писательском союзе. У нас отняли дом на Дзержинского. Сказали: есть азербайджанское общество – мы его пустим в ваш дом – они могут отреставрировать, а вы не можете. Мы переместились в Фонд культуры, в аварийное здание, которое пришлось покинуть вместе с Фондом.

* «Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)».

С.А. Михеева. Мы назначаем встречи друг другу где-нибудь в кафе, так находим выход из положения.

В.В. Бронштейн. Дорога в Дом литераторов ни нам, ни вам не закрыта: хотите провести там собрание – подавайте заявку, как делаем мы.

А.И. Харитонов. А почему мы должны подавать заявку, если мы писатели, а это – иркутский Дом литераторов?

С.В. Корбут. Дом литераторов с 2010 года является областным автономным госучреждением, хозяин здания – Госкомимущество Иркутской области, куратор ИДЛ – министерство культуры и архивов Иркутской области. То есть никакому союзу писателей формально он не принадлежит. Просто директор и замдиректора в этом ОГАУ состоят и в руководстве регионального отделения Союза писателей России. А своя рубашка всегда ближе к телу, особенно тогда, когда находишься ближе к финансам. Возможно, зря мы все когда-то настаивали на том, что Домом литераторов должны руководить непременно писатели; не исключено, что будь там директором чиновник со стороны, ситуация давно бы уравнилась, и разногласия между писательскими организациями стали менее острыми.

В.В. Бронштейн. Будем надеяться, что сегодняшняя встреча сыграет свою коммуникативную роль.

А.Н. Лабыгин. Давайте объединяться. Давайте вместе работать на городскую культуру.

* * *

Дискуссия прошла продуктивно. А.Н. Лабыгин справедливо предложил писателям сделать первый шаг: создать общественно значимую концепцию.

А как быть с образом писателя-отшельника, который в тиши кабинета создаёт книгу? Чем привлекательны книги? Несуётным, несиюминутным подходом, тем, что называют встречей с вечным, с вечными вопросами нравственности. Как быть? В очередной раз «подсуетиться»? Это принесёт благо профессионализму писателя?

С тех пор, как профессии писателя не оказалось в списке российских профессий, прошло двадцать лет. За это время случился обвал культурных ценностей, общественная речь приблизилась к сленгу, исчез массовый читатель, несмотря на возросшее качество книгоиздания. Талантливая пишущая молодёжь не задерживается в профессии без статуса. А те, кто за эти двадцать лет всё же сделал себе имя, устоял, никогда не оказывался в числе получателей благ цивилизации. Хотя при мэре Б.А. Говорине, то есть, давно, ещё «по старинке», улучшили жилищные условия писателям А.Г. Румянцеву, А.Г. Байбородину и В.Е. Нефедьеву.

Иркутские законодатели – люди высокой интеллектуальной культуры. Кажется, писатели им – братья. Понимание возможно. Встреча с председателем думы г. Иркутска Андреем Николаевичем Лабыгиным вселяет оптимизм. Рекомендации получены. То, что не находит решения в масштабе российском, может быть продвинуто в плане местных инициатив. Не случайно же Антон Чехов обронил в своё время загадочную фразу: «Иркутск – интеллигентный город, совсем Европа»?

ПУБЛИЦИСТИКА ПРОЗА ПОЭЗИЯ

Андрей РУМЯНЦЕВ Очерк

ДРАМА БАЙКАЛА

Ким БАЛКОВ Рассказы

НА ОТШИБЕ
ИСПОВЕДЬ

Анатолий ГОРБУНОВ Стихи

РОДНИКИ

Сергей АМОСОВ Рассказ

ПРОЛЕТАРКА

Вадим РУДАКОВ Рассказ

СМОТРИТЕЛЬ ОКНА

Николай КОЛЬЦОВ Рассказ

ЕЩЁ ПОЖИВЁМ...

Анна Рандина Стихи

ПОСТИЧЬ СВОЮ ДУШУ

Поздравляем Андрея Григорьевича Румянцева,
заслуженного работника культуры Российской Федерации
и Республики Бурятия, народного поэта Бурятии, члена Высшего
творческого совета Союза писателей России, действительного члена
Петровской академии наук и искусств, лауреата литературных премий,
с 75-летием!

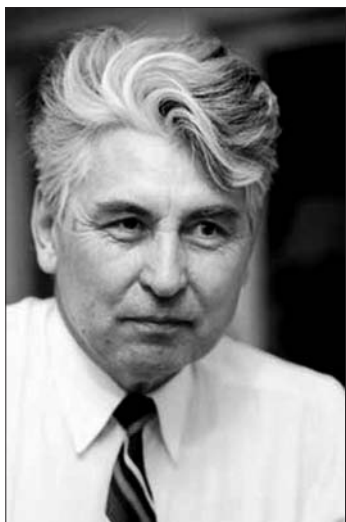
Желаем нового вдохновения, новых литературных свершений
и сибирского неиссякаемого здоровья.

Иркутская областная писательская организация

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ / ДРАМА БАЙКАЛА

Андрей Румянцев

ДРАМА БАЙКАЛА



Поэт Андрей Румянцев родился и вырос в рыбацкой деревне Шерашово на восточном берегу Байкала. Сибирское «чудо-море» определяло не только уклад жизни его земляков, но и их духовное самочувствие. И не удивительно, что в творчестве поэта оно всегда олицетворяло нравственную красоту и силу сибиряков. Книги стихов А. Румянцева, изданные в Москве, поэма «Колодец планеты», многократно публиковавшаяся в последние тридцать лет, закрепили за ним имя не только певца, но и страстного защитника «священного моря». А очерк «Драма Байкала» стал продолжением большой публицистической работы «Берег печали», написанной в 1990 году и вошедшей в книги поэта.

1

С началом девяностых годов драма Байкала вступила в наиболее мрачную фазу. Распад страны, развал экономики на огромных пространствах России, резкое падение уровня жизни и социальная напряжённость, наконец, неприемлимое противостояние политических сил в стране, кончившееся расстрелом здания парламента, – всё это отодвинуло на задний план решение каких-либо экологических проблем. Борьба за выживание заслонила и общественное движение в защиту «священного моря». «Мы, – говорил в одном из недавних своих интервью Валентин Распутин, – выходили митинговать для того, чтобы предоставили работу, выдали жалование, которое не платили месяцами и годами, вернули украденные у нас вклады. Боролись за себя, а не за Россию. Прежние поколения действительно стояли за родину. А мы – за хлеб. Но дело-то ведь не в хлебе, как оказалось. Война показала: дело не в хлебе! Дело в душе, в отношении к стране, к России. В войну отношение к России было

НОМЕР 1 / 2013

ИРКУТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

удивительное. Её спасали и спасли. А мы отдали её в ельцинские времена на разграбление».

Можно добавить: оставили мы без всенародной защиты и Байкал. На первый взгляд казалось удивительным: крупнейшие предприятия с отлаженным производством и многотысячными коллективами рушатся, а «грязные» производства остаются на плаву. В Иркутске и области закрылись мощный машиностроительный завод имени Куйбышева, радиозавод, предприятия по ремонту тракторов, выпуску электрических приборов, почти все предприятия, занимавшиеся производством товаров народного потребления, но продолжали действовать БЦБК и другие целлюлозные комбинаты, нефтехимический гигант в Ангарске, алюминиевые заводы. В Бурятии в первые же годы ельцинских «реформ» приказали долго жить «первенцы» местной индустрии – стекольный, приборостроительный, кирпичный заводы, предприятия «Электромашина» и «Теплоприбор», резко снизили мощности цементное и шиферное производство, а Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, выпускавший тару для торговли и продолжавший немилосердно отравлять воздух и реку при её впадении в Байкал, благополучно выстоял. Впрочем, удивлять это могло, как сказано выше, лишь на первый, то есть поверхностный взгляд. Дельцы, за бесценок приватизировавшие с помощью продажных чиновников общенародную собственность, быстро сообразили, что товары народного потребления – это не та продукция, которая может дать большой навар. Баснословные прибыли приносили добыча и продажа за рубеж нефти, газа, золота, алмазов, выпуск алюминия, химической продукции. Целлюлоза в этом списке стояла, может быть, на последнем месте, но используя до предела оборудование советского времени, не вкладывая средств в модернизацию, можно было и на целлюлозе и продукции из неё хорошо нагреть руки.

В эпоху частной собственности на всё и вся природоохранное законодательство прежних лет уже не годилось, а новое разрабатывалось медленно и с огрехами. Это с учётом небывалой коррумпированности контролирующих ведомств рождало вопиющую безнаказанность нуворишей.

Высшая власть при Ельцине по сути отбросила принятые до неё государственные решения по охране Байкала. Напомним, что закон о нём был принят Государственной думой только в 1999 году. Дальше тянуть было некуда: решением ЮНЕСКО Байкал тремя годами ранее был включён в Список всемирного природного наследия.

В последние два десятилетия при всех всплесках гласности, которая давала о себе знать на немногочисленных митингах и пикетах защитников озера, хозяева обоих целлюлозных комбинатов не чувствовали никакой ответственности за отравление Байкала.

Работа Селенгинского ЦКК вообще редко оказывалась в поле общественного внимания. В конце восьмидесятых здесь установили систему замкнутого водооборота. Со временем она поизносилась, и некачественно очищенные стоки, да и аварийные протечки отстойников, особенно не замечались государственными контролёрами. Новые владельцы комбината где только возможно – в средствах информации, на депутатских слушаниях, общественных обсуждениях – внушали публике, что их предприятие достигло чуть ли не мировых стандартов в очистке промышленных стоков. Эти рассказы и ныне помогают московским хозяевам комбината на Селенге вести производство по-старому, прикармливая прибыли и оставляя местным жителям загрязнённую среду обитания.

Летом 2011 года активисты общественной организации «Байкальское движение», побывав на комбинате, в очередной раз подтвердили, что экологические требования здесь не выполняются. Любопытно, как прокомментировал их мнение в газете «Информ Полис» старший помощник прокурора Восточно-Байкальской природоохранной прокуратуры: «на 23 вида опасных отходов производства предприятие не имеет необходимых паспортов»; «вода, которая подаётся предприятием населению своего посёлка, не проходила санитарно-эпидемиологической проверки»; «документы на отстойник ТЭЦ, который особенно загрязняет подземные воды, по словам руководителей комбината, утеряны»; «через суд мы понуждаем предприятие соорудить новый отстойник, но там считают, что это потребует больших затрат»; «в судебном иске, поданном прокуратурой, более двадцати требований, но пока они не выполнены».

Прочитав такое, только и воскликнешь: в какие дикие времена окунулась Россия! И как издевательство нуворишей над её гражданами в той же газете, на той же странице сообщается, что по итогам Всероссийского конкурса на звание «Лучшее российское предприятие» Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат стал победителем в номинации «Экологическая ответственность».

На Байкальском комбинате положение с очисткой стоков выглядело хуже. В отличие от Селенгинского ЦКК здесь выпускали целлюлозу белёную, а её производство сопряжено с применением хлора и других особо опасных для Байкала ядовитых веществ. Между тем на предприятии не существовало системы замкнутого водопользования, и всё первое десятилетие «дикого капитализма» в России оно безнаказанно отравляло озеро. С первым приходом В. Путина на пост президента власть инициировала строительство на комбинате «водооборотки» – проекта дорогостоящего и, в общем-то, не сулящего особого эффекта для предприятия такого типа. Под гарантию правительства экологический проект согласились кредитовать зарубежные инвесторы. Но система так и не была достроена на их средства: убедившись, что хозяева комбината меньше всего заботятся об Участке всемирного природного наследия и не выполняют условий кредитования, инвесторы отказались финансировать проект.

Какие люди определяли тогда судьбу Байкала в Иркутске, видно из поздних откровений одного из них – бывшего чиновника В. Яковенко. При губернаторе Ю. Ножикове, правившем областью в 1992–1997 годах, он был первым заместителем главы администрации и отвечал, как он выразился в беседе с корреспондентом местной газеты, за «стратегию экономического развития региона». Десять лет спустя после отставки шефа и своей В. Яковенко заявил журналисту: «Считаю, что Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат зря закрыли (в дни, когда было опубликовано интервью, предприятие временно не работало. – *А.Р.*). В своё время я был категорически против этого. Такой же позиции придерживался и Ножиков. В Минэкономике я выступал против закрытия». «А как же Байкал?» – спросил корреспондент. «Под комбинатом, – ответил бывший чиновник, – за годы его работы образовалась линза с отходами производства. Ну, ликвидируем мы БЦБК, а линза останется. Но зато мы потеряем стратегическое (!) предприятие (здесь он явно наводил тень на плетень: «стратегическое предприятие» давно уже вывозит более девяноста процентов своей продукции в Китай. – *А.Р.*). А очистные сооружения комбината вполне справлялись. Я сам пил воду на очистных и живой, как видишь, остался».

В Байкальске насилие над «чудо-морем» приняло в последние годы совершенно зверские, колониальные формы. Система замкнутого водооборота, кое-как достроенная, не очищала стоков даже до уровня пресловутых предельно допустимых концентраций при производстве белёной, выгодной хозяину, целлюлозы. Нужно было обойти запреты. Для управляющей компании ООО «ЛПК «Континенталь Менеджмент», в состав которой входил БЦБК, лучшим средством оказался шантаж природоохранных ведомств. И высшей власти, конечно.

В октябре 2008 года хозяева остановили производство, отправив во временные, не оплачиваемые отпуска более тысячи трёхсот рабочих (60 процентов всего состава). Руководство заявило, что причина этого – ввод замкнутого водооборота, который не даёт возможности использовать активный хлор при производстве белёной целлюлозы. Расчёт владельца был прозрачен: «Если вы (то есть природоохранные ведомства) требуете соблюдать экологические нормы, а их не удаётся достичь даже при системе замкнутого водопользования, то вот вам головная боль: решайте проблему безработицы в моногородке. Рабочие сами заставят вас пустить комбинат и – на наших условиях».

В самом деле, для Байкальска, имеющего единственное, градообразующее предприятие, остановка производства на ЦБК стала трагедией. В разные инстанции полетели гневные письма, в суды – обращения возмущённых людей, митинги из самого городка перекинулись в областной центр. Власти, помогая «бедному» олигарху, вынуждены были искать средства для выплаты компенсаций людям, оставшимся без зарплат, и, конечно, – выход из технологического тупика, в котором оказался комбинат.

Летом 2009 года (комбинат в это время всё ещё простаивал) на Байкале побывал В. Путин. В глубоководном научно-исследовательском аппарате «Мир-1» он спустился на дно озера как раз в акватории ЦБК. К удивлению учёных – знатоков проблемы – он сказал после погружения, что «Байкал в хорошем состоянии, никакой угрозы для него нет». Видимо, после заявлений экологов-общественников и мрачных выводов учёных премьер ожидал увидеть «чудо-море» похожим на сточную яму. Но он не учёл, какого объёма «резервуар» перед ним и какую самоочищающуюся способность имеет озеро. Даже при том, что мы уже полвека варварски загрязняем его, превратить его в помойку пока, слава Богу, не удалось.

Позже на сайте правительства России председатель продолжил разговор в прежнем духе: «Когда мы были на Байкале летом, я разговаривал с учёными, с членами Академии наук, спрашивал, как отразилась деятельность ЦБК на Байкале, на его экологии. Там нет изменений к худшему для Байкала. Это не значит, что там нет проблем. Только нужно посмотреть на них повнимательнее и по-серьёзному, без всякой политизации».

Не в первый раз чиновники разных рангов убеждают публику, что мнение противников целлюлозных комбинатов на Байкале – это «политизированный» взгляд на проблемы озера. На том же сайте его создатели пытаются обелить БЦБК. По их информации получается, что БЦБК вносит в общую копилку загрязнений самую незначительную часть, ну совсем-совсем каплю по сравнению со стоками других предприятий. Посмотрите: «Байкальский комбинат в 2008 году слил в озеро только 27,4 тысячи тонн вредных веществ, а Гусиноозерский промышленный узел в Бурятии аж 442 тысячи тонн, водоканал города Гусиноозерска – 348 тысяч, водоканал Иркутска – 106 тысяч, предприятия Улан-Удэ и его система бытовых стоков – 34 тысячи тонн. То же

самое происходит с воздушными выбросами. Целлюлозно-бумажный комбинат «растворил» в атмосфере лишь 4,3 тонны вредных веществ, в то время как Ангарск – 221 тысячу тонн, Северобайкальск на бурятском участке БАМа – 28,5 тысячи, ТЭЦ города Улан-Удэ – 21,3 тысячи тонн».

Сомневаемся, что приведённые сведения достоверны. Но даже если это и так, то пугающие цифры рассчитаны на людей, не знакомых с байкальской проблемой, к тому же не имеющих представления о географии. Очистные сооружения предприятий и коммунального хозяйства Гусиноозерска, конечно, допотопны, но вред они приносят скорее Гусиному озеру, на берегу которого расположен городок, а вовсе не Байкалу, до которого двести километров и который не связан водными артериями с этим далёким водоёмом. То же самое водоканал Иркутска. Его очистные не назовёшь идеальными, но загрязняет он Ангару, а она пока ещё не течёт вспять, в Байкал. Конечно, и в Северобайкальске, лежащем на берегу «священного моря», и в Улан-Удэ, расположенном на Селенге, в ста тридцати километрах от её впадения в Байкал, очистка воздушных выбросов совершенно негодна, но всё же сравнивать воздух над целлюлозно-бумажным комбинатом и городами ближнего и дальнего подлесья нормальный человек не возьмётся: у стен БЦБК разит таким зловонием, какого не сыщешь нигде в прибайкальском регионе.

Но на высшую власть лукавая информация, с одной стороны, и социальная напряжённость в Байкальске, с другой, произвели впечатление. В январе 2010 года правительство издало постановление «О внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». В этом документе производство целлюлозы исключалось из «запрещённых производств», причём, комбинату разрешалось выпускать продукцию, сбрасывая промышленные стоки прямо в Байкал. Кроме того, разрешалось складирование отходов всех классов опасности на берегу «священного моря».

У сибирских учёных, занимающихся проблемами Байкала, постановление вызвало шок. Ещё в конце предыдущего года председатель научного совета СО РАН академик М. Кузьмин, многие годы смело и бескомпромиссно защищающий «чудо-море» от посягательств любых чиновников, узнав о готовящемся документе, написал В. Путину письмо о недопустимости зловещего плана. Директор Лимнологического института СО РАН на Байкале академик М. Грачёв так выразил своё мнение в печати: «В августе (2009 года. – *А.Р.*) В. Путин проводил совещание, на котором присутствовали академики, губернаторы, руководители ведомств. Было принято решение запустить производство небелёной (то есть менее опасной. – *А.Р.*) целлюлозы в замкнутом цикле. Именно в замкнутом! Что могло измениться с августа? Когда объявляли Байкал Участком мирового природного наследия, Россия обещала мировому сообществу перепрофилирование комбината. Теперь что, перепрофилирование «разобещано»? Даже не указано время, на которое разрешается сброс стоков в Байкал».

После нового постановления правительства, разрешившего БЦБК сброс в озеро неочищенных стоков, митинги протестов прокатились уже не только по прибайкальским регионам, но и по многим крупным городам страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Настоящая буря пронеслась по экологическим сайтам Интернета. Нашёлся даже смельчак, который обжаловал высокий документ в суде. Им, правда, оказался не сибиряк, а москвич, школьный учитель, руководитель столичного экологического объединения «Царицыно

для всех» Андрей Маргулев. Нечего и говорить, что этот правовой инцидент был погашен.

Упомяну ещё одну историю, на этот раз иркутскую. Общественная организация «Байкальская экологическая волна», назначившая на середину февраля 2011 года митинг протеста против решения, подписанного В. Путиным, вдруг удостоилась визита сотрудников УВД области. Представители милиции заявили, что активисты организации... незаконно используют нелегализованное программное обеспечение. Без всякого ордера были изъяты оргтехника и документы. При этом стражей порядка не заинтересовали лицензионные соглашения экологов-общественников на программное обеспечение. Удивлённым активистам гости заявили, что «Байкальская экологическая волна» действует – ни много ни мало – «против правительства России». Семерых сотрудников общественной организации задержали «для дачи показаний». Эта процедура продолжалась до позднего вечера...

2

Наиболее серьёзно и аргументировано выступили в печати против затей правительства, как и следовало ожидать, учёные – академики и члены-корреспонденты, доктора наук: председатель президиума Иркутского научного центра СО РАН И. Бычков, председатель научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал М. Кузьмин, заместитель председателя президиума Восточно-Сибирского научного центра СО РАН В. Рукавишников, председатель президиума Бурятского научного центра СО РАН Б. Базаров, директора институтов, причастных к изучению байкальских проблем. Их открытое письмо В. Путину и приложенная к посланию аналитическая записка по проблемам ЦБК и города Байкальска имели решительное заглавие: «Спасти «колодец планеты»!»

Хочу привести самые важные строки из этих документов.

«Очевидно, что постановление... направлено на возобновление работы БЦБК с использованием технологий производства целлюлозы 40-летней давности, не соответствующих современным требованиям и предусматривающих в том числе дурно пахнущие выбросы вредных веществ в атмосферу, которые ощущаются на расстоянии до 70 километров... БЦБК с начала своего существования стал камнем преткновения между руководством страны и обществом. Именно БЦБК стимулировал развитие экологического движения в нашей стране и до сих пор угрожает экологической катастрофой не только для страны, но и для всего мира.

Возобновление производства целлюлозы Байкальским комбинатом в режиме сброса сточных вод нарушает международные обязательства России по охране уникальной всемирной ценности – Объекта всемирного природного наследия озера Байкал, а также противоречит требованиям Федерального закона «Об охране озера Байкал» и не позволяет начать реализацию действительно экономически целесообразных и экологически допустимых проектов развития города Байкальска на основе использования природного потенциала озера...

Нам представляется, что средства, которые планируются в виде дотаций на возобновление производства целлюлозы на БЦБК, более рационально было бы направить на поддержку уволенных работников комбината и на перепрофилирование производства в г. Байкальске. В частности, превращение Байкальска в туристический центр сможет решить многие вопросы занятости населения го-

рода. Кроме того, в Байкальске можно развернуть производство лекарственных препаратов из сибирской лиственницы, изготовление кремниевых солнечных батарей и модулей, другие производства, запланированные к реализации на ближайшие годы в Иркутской области. Наконец, производство бутилированной байкальской воды, которая так необходима для азиатского континента, не может быть высокорентабельным, пока действует комбинат. До его перепрофилирования нельзя решить и вопросы создания привлекательных рекреационно-туристической и спортивно-оздоровительной баз в г. Байкальске.

Сброс сточных вод в Байкал необходим комбинату для производства белёной (наиболее дорогой. – *А.Р.*) целлюлозы с применением хлорного отбеливания, то есть с производственным циклом, разработанным на БЦБК. В результате работы целлюлозно-бумажных предприятий с хлорным отбеливанием в качестве побочных продуктов образуются диоксины и хлорированные фураны. Их состав в сточных водах БЦБК имеет значительное сходство с составами диоксинов и хлорированных фуранов в почвах и донных отложениях, зоопланктоне, отловленном вблизи комбината. Диоксины найдены также в ряде живых организмов Байкала. При регулярном употреблении в пищу животных, в которых накапливаются диоксины, увеличивается канцерогенный риск для населения, что установлено на берегах водоёмов, на которых расположено производство белёной целлюлозы с хлорным отбеливателем. В связи с этим научное сообщество категорически против запуска БЦБК со сбросом отработанных вод непосредственно в Байкал. За рубежом на аналогичных ЦБК-предприятиях переходят на отбелку целлюлозы перекисью водорода и озоном. Однако для БЦБК переход на такую технологию затруднителен, так как комбинат работает с использованием технологии, разработанной в начале 60-х годов. Основное технологическое оборудование комбината, схема варки, промывки, отбелки регенерации извести, подготовки древесины за более чем 40 лет практически не изменились. Мощность БЦБК мала сравнительно с мощностью передовых российских и зарубежных предприятий. При современной мощности комбинат имеет низкую конкурентоспособность и на мировом, и на внутреннем рынке.

В водах, сбрасываемых комбинатом, отмечаются превышенные по сравнению с предельно допустимыми концентрации фенола, хлорид- и сульфатионов. Но самое главное, в окрестностях предприятия присутствуют в воздухе высокие концентрации дурно пахнущих соединений двухвалентной серы – сероводорода, метилмеркаптана, диметилсульфида и диметилдисульфиды. БЦБК выбрасывает в сутки одну тонну дурно пахнущих веществ. Концентрации меркаптана в населённой части г. Байкальска превышают предельно допустимые в десять и более раз.

В соответствии с Государственным докладом «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2007 году» доля объёма выбросов в атмосферу комбинатом от общего объёма выбросов всеми источниками (включая предприятия, организации, ЖКХ и др.) в центральной экологической зоне Байкальской природной территории составляла 51 процент, аналогичный показатель по сбросам сточных вод – 86 процентов, по образованию отходов – 42 процента.

Всё это отрицательно действует на здоровье людей. Совместное влияние вредных веществ вызывает раздражающие действия на дыхательную систему, угнетает окислительно-восстановительные процессы, вызывает нарушения углеводного обмена, оказывает отрицательное влияние на состояние белковых молекул человека. Исследования показали неблагоприятное влияние этих

веществ на репродуктивную функцию женщин. Установлено, что у женщин детородного возраста, испытывающих воздействие метилсернистых соединений, наблюдается повышенная частота осложнений во время беременности и родов – патология плаценты, угроза прерывания беременности, возможность выкидыша (риск составляет 54-76 процентов).

Комбинат расположен в зоне высокой сейсмической активности с возможными землетрясениями силой до 9-11 баллов по двенадцатибалльной шкале Рихтера*. Таким образом, при землетрясениях большой силы в Байкал из разрушенных ёмкостей могут попасть реагенты и отходы. При рассмотрении рисков необходимо иметь в виду возможность утечки жидкого хлора из ёмкостей, разрушение ёмкостей – хранилищ белого и чёрного щелока, нефтепродуктов, серной кислоты, а также прорыв ограждающих конструкций и поступление в Байкал накопленных отходов очистки сточных вод из шламонакопителей. Возможны и другие тяжёлые экологические последствия».

Казалось бы, мнение большой группы авторитетнейших учёных должно было отрезвить авторов постановления. Ничего подобного! Весной того же года предприятие начали запускать вновь, преодолевая многочисленные технологические неурядицы и сбои.

Читатель должен знать, что всякий раз закрытие и возобновление работы ЦБК – предприятия частного – сопровождается огромными государственными вложениями средств. Миллиардер О. Дерипаска не нёс никаких издержек при метаморфозах, случавшихся с комбинатом. Остановить производство и выбросить на улицу более тысячи трёхсот рабочих – пожалуйста, только оплатите из бюджета людям их вынужденные многомесячные прогулы. Возобновить выпуск продукции и вернуть байкальцев на рабочие места – пожалуйста, только дайте средства на реконсервацию цехов. И власть, как приказчик богатого хозяина, исполняет требования собственника. Но если бы речь шла только о взаимной любви высоких чиновников и олигарха! То, что разыгрывается ими, как карта, есть бесценное достояние нынешних и будущих поколений российских граждан!

Решение правительства принято, комбинат возобновил работу, но ведь есть и установленные государством нормы предельно допустимых концентраций вредных веществ в стоках предприятий. Их-то никто не отменял. Чиновники природоохранных ведомств оказались в двойственном положении: выбросы ЦБК в Байкал и в атмосферу не укладывались ни в какие нормы. И тут мы можем увидеть, как нынешние государственные «защитники природы» решают проблемы охраны наших природных богатств.

Заместитель министра промышленности и торговли России (кстати, член совета директоров БЦБК) А. Дементьев направил заместителю премьера И. Сечину письмо, в котором изложил неприятную для комбината ситуацию. Автор поясняет, что предприятие оказалось «за гранью правового поля» и ему нужно помочь преодолеть препятствия на пути к успешной работе. И что, вы думаете, предлагает чиновник? Просить премьера отменить постановление? Ошибаетесь. Он предлагает отменить действующий приказ Министерства природных ресурсов и экологии о «строгих» нормативах и установить новые, в которые комбинат вполне бы вписывался. В противном случае, напоминает

* В конце декабря 1861 года прибрежная Цаганская степь опустилась при землетрясении на несколько метров, образовался залив Провал. А вдруг землетрясение такой силы произойдёт в районе Байкальска? (Прим. наше. – А.Р.)

чиновник своему начальнику, «несоблюдение нормативов приведёт к увеличению платежей за выбросы загрязнений, к непомерным (!) для предприятия штрафам – до 200 миллионов рублей в месяц». Можете представить, какие яды спускает в Байкал комбинат, если по закону он должен платить ежемесячно сотни миллионов рублей штрафа! И какая трогательная забота государственных служащих о кошельке Дерипаски!

Оказалось, что А. Дементьев направил свои предложения не по собственной инициативе. Ещё раньше заместитель премьера, зная, что комбинат не сможет работать прибыльно на устаревшем оборудовании, дал поручение министерству подготовить пресловутый «план действий по обеспечению устойчивой работы ОАО «Байкальский ЦБК» во втором полугодии 2010 года и в 2011 году при безусловном выполнении взятых экологических обязательств». Последние слова «о взятых обязательствах» были, разумеется, дымовой завесой. В Доме правительства хорошо знают, что при выполнении комбинатом экологических правил он не может быть пущен в ход. К тому же в октябре 2008 года, когда предприятие пришлось остановить на целых полтора года, его московские покровители говорили о том, что комбинат придётся запустить единственно для того, чтобы израсходовать все химические вещества, приготовленные впрок, и провести мероприятия, предусмотренные при закрытии опасных производств. Вышло, что это снова – пустые слова.

Отношение федеральных властей к проблемам Байкала, как мы видели, и непредсказуемо, и безответственно. После того как правительство санкционировало сброс неочищенных стоков БЦБК в «священное море», оно же поручило специалистам разработать целевую программу «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории до 2020 года». В этом документе оставлен в стороне вопрос о закрытии ЦБК. Как будто предприятию выдана охранный грамота и оно останется неприкасаемым ещё десятилетие. Зато намечены меры, которые без закрытия комбината едва ли улучшат здоровье сибирского моря. Предполагается «сократить объём стоков в озеро» (естественно, без стоков БЦБК), «понижить уровень накопленных отходов» (что значит – понизить? Меньше накапливать? А когда будут утилизированы, обезврежены накопленные отходы на двух целлюлозных комбинатах?), «укрепить береговую линию озера», «провести мониторинг состояния Байкала», то есть постоянно следить за его самочувствием. А что толку следить, если государство не пресекает вопиющие экологические преступления?

Судьба комбинатов-отравителей не определена. Ещё один заместитель премьера, И. Шувалов, приезжавший на Байкал осенью 2010 года, заявил, что проблему ЦБК «одним махом не решить, нужен пятилетний переходный период», причём, вовсе не для закрытия комбината, а лишь для его перепрофилирования.

В июне 2011 года Комитет Юнеско на своей сессии сделал решительное заключение: «Действия российских властей угрожают мировому природному наследию». В очередной раз эта международная организация предложила закрыть целлюлозные комбинаты на Байкале. Но наши правители снова проигнорировали голос разума.

Как-то академик М. Кузьмин сказал о БЦБК: «Комбинат можно сравнить с лошадиным стойлом, построенным в церкви. Очевидного материального вреда церкви это не принесёт (ох, Михаил Иванович, принесёт, да ещё какой: надолго загадит святое место, всех верующих оттолкнёт!). Только церковь всё равно перестанет быть храмом. Одно единственное стойло превратит её в конюшню».

Думаю, хватит рвать сердце. От власти, представляющей интересы олигархов, милосердия к Байкалу не дождёшься!

«Священное море», по большому счёту, принадлежит вовсе не человеку, а природе. Она его мать. А мы, как и деревья, звери, птицы, лишь прилепились к нему и пользуемся его щедротами. По своей греховности мы покушаемся на его святость. Природа, конечно, отомстит нам за это вырождением, мором от нехватки чистой питьевой воды. Но разве не можем мы цивилизованно разобраться с теми, кто губит Байкал?

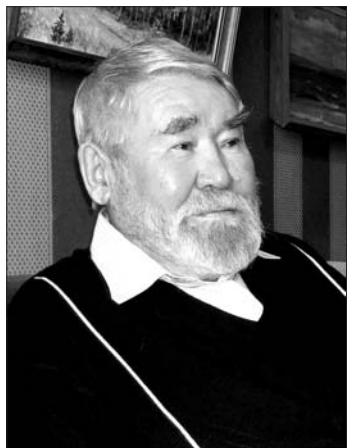
А последнее слово – к землякам. Хватит надеяться на «дядей», которые защитят Байкал: на чиновников из далёкой Москвы, на ту местную власть, которая соглашается с любым губительным предложением, на собственников, которые рьяно отстаивают свой личный, шкурный интерес. Хватит! Выше нас защитников нет. Наша земля, наше родное гнездо – с нас и спрос.

* * *

...Снова перед глазами Байкал. С деревенского взгорья его сине-белёное лоно похоже на небесное поле, чудесным образом опустившееся на землю, чтобы напомнить, что и на ней, грешной, может жить высокое, возвышенное. Сквозь прозрачный воздух горы на противоположном берегу выглядят тоже сказочными, воздушно-голубыми.

Но недолго, радуясь, трепещет душа. Уже стучится в неё забытая на минуту тревога: неужели я – из последнего поколения, которое видело Байкал живым и солнечным? Как отчитаюсь я там, в ином пределе, перед отцом и дедом? «Ты получил Байкал чистым, что ты сделал с ним?» – спросят они. Что отвечу? Скажу, что возмущался, когда кто-то, отринувший стыд и совесть, осквернивший многое, не пощадил и эту святыню? Возмущался – только и всего?

Что ответим все мы, братья?



НА ОТШИБЕ

Было досадно, что так всё закончилось. А что, могло закончиться по-другому? Наверно, могло, если бы он втянулся в городскую жизнь, отыскал бы в ней потребное душе. Но он лишь слегка прикоснулся к той жизни, про которую так много говорили, когда служил в армии. Парни строили планы, и не находилось в них места отчине. Она осталась в прошлом и, надо быть, никому из них уже не придётся ходить по узким кривоватым улочкам посёлка и спотыкаться о серые острогрудые каменья, исполосовавшие подлёморскую землю.

Кирилл Хромов, рыхловатый парень с пухлыми розовыми щеками и с маленькими руками, не был исключением из этого ряда деревенских мечтателей. И он надеялся, что урвёт свой кусок от пирога. Правда, не совсем понимал, кто испёк этот пирог и хватит ли его на всех? Придя из армии, с месяц пожил в посёлке, присматриваясь к тому, что происходит в Подлёморье. И то, что увидел, не поглянулось. Едва ли не половина домов стояла с заколоченными крест-накрест окнами, а в другой половине не осталось никого, кто в своё время ходил с ним в школу, которая тоже нынче пустовала. Кто-то из однокашников уехал в город с намереньем поступить хотя бы в колледж. Там, конечно, тоже потребуют денежку, но не такую большую. А кто-то пристроился в райцентре, где снова заработали шахты по добыче угля. Кирилл тоже намеревался пойти в шахтёры, но потом передумал. Почему-то решил, что уж ему-то в городе повезёт. А отчего бы и нет?.. Он никому и никогда не желал зла, умел поддерживать нормальные отношения не только со сверстниками, а и с людьми постарше. И в армии никто не ловчил обидеть его даже в начале службы, когда он, неповоротливый и вяловатый, появился в солдатской казарме. Правда, прозвище ему дали не больно-то приятное. «Пузырём» окрестили. Изредка зазывали в каптёрку – сапоги «старикам» надраить до блеска, и он по первости не отказывал никому, однако примерно через месяц сказал с досадой: «Не буду больше чистить вам обувь. У вас чё, своих рук нету?..» Старослужащие посмотрели на него с удивлением, но бить не стали.

Да, всё как будто ладно у Кирилла складывалось. Вроде бы не на что было жаловаться. Но тогда почему что-то нет-нет да и уводило его от мыслей о городской жизни? Смущало?.. Может, то, что переживал за бабушку Евдокию? «С кем останется? И как будет жить без меня? Стара уж, и ей трудно управляться с хозяйством». Хотя какое там хозяйство? Ну, слонялась по двору рыжемордая, на кривоватых ножках, с большим выменем, коза Манька да парадругая белых несушек рылась в каменистой земле, затачивая коготки. Вот и всё хозяйство. Ну, был ещё огородец, поджигаемый со всех сторон скальными тёмно-рыжими розвалями.

Что бы ни варганил, куда б ни поспешал, всюду преследовала мысль о бабушке Евдокии. Нередко крадучись поглядывал на неё и говорил мыслен-

но: «А она ещё крепка, вон и спину держит прямо. Не горбится». И тут же добавлял поспешно: «Да и ненадолго я... Ну, может, на год. Подзаработаю денег и приеду. А бабка ещё в своём уме, поймёт, по-другому я не мог поступить». Но через минуту-другую спрашивал у себя: «Что, и впрямь не мог?..» Сомнение закрадывалось, потом накатывала тоска, и тогда мнилось, что не сдюжит и отступит от своего намеренья. Но всякий раз оказывался в состоянии одолеть забродившее в нём смущение, пустить его по ветру. И это при всём при том, что догадывался: без бабки Евдокии худо ему будет в городе. Даже в армии вдруг да и ловил себя на мысли, что нынче не увидит бабку Евдокию, не скажет старая с тихим ласковым пришёптыванием: «Ну, чё ты, миленькой, нонче как в воду опущенный? Иль сотворилось чё отвратное твоей душе?..» – и на сердце делалось щемяще и больно.

Кирилл накрепко притянулся к бабке Евдокии сердцем, оставшись без родителей в пятилетнем возрасте. Казалось, никакой силе не оборвать того, что соединило их прочными нитями: не расти берёзовым ветвям без корней, как и корням не обойтись без ветвей: через день-другой заплутают в земной, ничем не тревожимой глухоте и уж не отыщут дороги к свету. Так что же теперь-то произошло?!.. Отчего в Кирилле поменялось, и мыслил он нынче вроде бы по-другому и тянулся невесть к чему, противно своему чувству. Может, в этой раздвоенности и кроется причина того, почему стало так паскудно на сердце?

Отец с матерью часто уходили в море на старенькой клювастой лодчонке. Ставили «сороковки». Тем и кормились. Огород-то не в счёт: малой вовсе, занимал сотки три дурно и мелко взрыхлённой земли. Чего на ней вырастет? Вот и в тот раз, под рвано-жёлтую отсырелую осень, когда Байкал-батюшка сделался своенравен, и нельзя было сказать, чего ждать от него уж через час-другой, сели Хромовы за вёсла, оттолкнулись от берега, хотя бабка Евдокия говорила, что не надо бы нынче ставить лодчонку на волну. Но говорила не больно-то настырно. В избе не осталось и худого рыбьего хвоста. И, скрепя сердце, согласилась с молодыми и тугой упориной не легла на тропе у них, когда те спускались к морю.

Родители Кирилла не вернулись тогда. Рыбаки сказывали, налетел на них шальной, с горного хребта павши, верховик, разбил лодчонку вдрызг, живой доски от неё было не сыскать. И – остался мальчонка с бабкой Евдокией. И та подняла внука, хотя и непросто было. В худшие для себя и мальчонки годы наловчилась гадать на бобах и толковать людям про их судьбу. С её слов чаще выходило так, что всех впереди ждала козырная, на все четыре ноги упёртая жизнь. В те поры потянулись к Евдокии люди всё больше в летах, тёртые, даже те, кто ни разу не захаживал на прижатое к морю сребротелыми скалами подворье. И всё от желания послушать добрые утешливые слова. Где их ещё услышишь-то?.. Шли не с пустыми руками. Кто с зажатой в ладони конфеткой, кто с зачерствелым ломотком хлеба или с парой-другой омульков. Вот и получалось, что Кирилл, имея намеренье уехать из поселя, предавал не только бабку Евдокию, а и тех, кто подсоблял ему в малолетстве.

Поздно вечером, укладывая в чемодан шмутьё, увидел подле себя бабку Евдокию. Он-то думал, она ушла к соседке, сказывала, «надо бы сбегать до её, травки отнесть, настои разные: чегой-то захворала». Оказалось, уже вернулась. Смутился, руки сделались худыми: всё-то сквозь пальцы упало на пол.

– Знать, решился-таки?.. – спросила. – А я гляжу, с утрева до сумерек слоняешься из угла в угол. Думаю, с чего бы?.. Но, может, и не думаю. Давненько дотумкала, пошто унучек сошёл с рельсов.

И не было в её слабом голосе и малого намёка на отчаянье. Зря он боялся, что бабка Евдокия, прослышав о его намеренье, утратит из души своей и опустит руки. И то, что этого не случилось, обрадовало, а вместе смутило. Получалось, уже давно про всё знала и молчала. Почему? Не хотела расталкивать в душе прежде времени? Иль надеялась, что внук передумает?..

На хромовском подворье под окошком в своё время поднялось малое, со смородиновый куст, деревце. Никто не мог сказать, чьим семенем пало на землю. Деревце не было похоже на шальной дикий кустарник, что временами жутко досаждал хозяевам. Его выдёргивали с корнем, поливали дурной водой, а ему всё нипочём. Нет, то деревце не принадлежало к дикому кустарнику, не имело ничего общего и со смородой и с дикой малиной, было другого корня. И бабка Евдокия не поспешала выкопать его из земли.

Деревце поднималось всё выше и выше, и вот уж кухонное окошко принакрыло тугими упругими ветвями. Но, становясь с каждым годом рослей и машистей, почему-то не зацветало. Кирилл часто подходил к деревцу, оглаживал его кору мягкой ладонью. Бывало, колючки впивались в мяготь, и он морщился, однако и малой досады не испытывал к деревцу, про которое ничего не знал.

А деревце за день до отъезда Кирилла неожиданно зацвело, да так пышно и весело, как если бы наскучало пребывать во тьме и всем сущим в себе потянулось к небу. Бабка Евдокия увидела белое покрывало, в которое закуталось деревце, и приняла это за добрый знак. Войдя в избу, долго молилась на иконки, стоящие в серебряных окладах на столике в переднем углу, потом разбудила внука, вывела его на крыльцо, сказала:

– Глянь-ка, деревце-то зацвело. Знать, от Божьего соизволения сие действо. Будь по-другому, цветочки не играли бы так хлопотно и радостно на лёгком, от моря, ветерке.

Помолчала, задумчиво оглядывая ближние земли и, морща узкий, потемневший от загара лоб, сказала с грустью:

– Надо быть, сладится у тебя в городе. Поди, про то и вещует деревце.

Кирилл спустился с крыльца, приблизился к деревцу, дотронулся до его тёплой шершавой кожицы, сказал тихонько, так, чтоб не услышала бабка Евдокия:

– Спасибо тебе!..

Но она услышала и подошла к внуку, потрепала его по рыжеволосой круглой голове.

Когда садился в вагон, Кирилл глянул в ту сторону, где стояла отчая изба. Она помнилась понурой, точно бы утратившей от небесного света, и – у него защемило на сердце, да так ощутимо и болезненно, что он не выдержал и заскрипел зубами, застонал... Некто худотелый и бледный, с серым осунувшимся лицом и серыми бегающими глазками, вяловато, точно бы сделав над собой усилие, спросил:

– Ты, чай, не приболел?..

Кирилл, не сразу одолев нечаянно накатившее, сказал нарочито дерзко:

– Тебе-то чё?..

– Да ничего такого, – вздохнул мужичок с лёгким укором, отметившимся в маленьких серых глазках. – Посчитал, у тебя заклинило в груди. Уж больно ты скукочился.

Мужичок говорил мирно, кажется, не больно вникая в то, о чём шла речь, и Кириллу сделалось неловко:

– Извини, дядя... Чего-то на меня накатило.

– Я с дальнего порта еду. Тётка, что живёт в городе, позвала. Она теперича одна в квартире, а ей уж под девяносто. В магазин, отписывала, сходить некому. Сама-то уж не выходит в улицу. Всё сидит у окошка и ждёт родственничков. Но кто поедет? Все при деле, не оторвать от него.

– А тебя, получается, можно оторвать? – не стерпев, ехидно спросил Кирилл.

Мужичок посмотрел на него и сказал легко и уступчиво, точно бы привыкнув соглашаться и с тем, что было не больно-то по сердцу:

– Пошто бы и нет? Мне всё едино, где проминать остатние годы и с кем... Можно и в городе, хотя и не глянется там: копать да духотища висят над домами. А люди там, знаешь, какие заполошные? Нету в их сердечности. Ни до чего не допросисся. Злые и падкие на чужое. Было дело... Чуть не раздели меня, когда я выходил из кафешки.

– Поди, выпивши был?..

Кирилл никак не мог настроиться на серьёзную волну, толкуя с мужичком: было во взгляде его озорно рыскающих по лицам лучистых глаз что-то забавное, отчего в голову приходила мысль, что тому до всех есть дело. То и удивляло.

Мужичок стоял рядом с Кириллом в дальнем углу вагона, плотно прижатый толпой пассажиров к стене, но вроде бы не чувствовал неудобства, заглядывая в лицо ему и всё говорил, говорил...

Вышли из «Мотани» на конечной остановке, пересели на электричку. Когда подъезжали к городу, Кирилл уже знал, что мужичка звали Пафнутием, но он просил, чтоб его звали Пафнушей, привык к этому в отчем поселье.

Пафнуша, когда шли по грязной и дурно пахнувшей не то отходами со свалки, не то голубиным помётом городской улочке на трамвайную остановку, видать, заметил в лице у парня нерешительность и сказал как бы даже без удивления:

– Догадываюсь, чего ты припёрся в город. Захотелось подзаработать денжжат? Да токо денюжки-то и тут не растут на деревьях. За ними ишо набегаешься до седьмого поту. Может и вовсе не подфартить. Тут ить как: кому повезёт, тот обут-одет, а кому нет, собственную лапу сосёт и на соседа глядит волком. Но да ладно. Хотел бы знать: где собирася жить? Чай, место-то в общежитии не приготовлено для тебя?

Странно, Кирилл, кажется, только теперь понял, что идти-то ему, собственно, некуда. Отчего-то раньше не задумывался про это. Надеялся, всё сложится само собой?..

Эх, молодость, молодость, сколько же в тебе самоуверенности, ни на чём не основанной, живущей независимо от чувств, а нередко и от сознания, как если бы была никем не управляема, лёгкая и проворная! Хочешь – воспользуйся ею, а не хочешь – отодвинь в сторону!..

Но Кириллу не глянулось ни то, ни другое. Нельзя утверждать, что он был не уверен в себе, хотя и крепкой надёжи тоже не наблюдалось. И, понимая это и досадуя, он зачастую невольно избегал встреч даже с давно знакомыми людьми, уходил в тайгу и подолгу бродил по лесному околотку, а нередко и по вздыбленному скальными нагромождениями жёлтому каменистому берегу моря, и почти бестрепетно глядел на то, как вскипали волны, прислушивался к жадному и голодному, вконец обезумевшему посвисту ветра. В те поры он не чувствовал себя частью мира, потребной ещё кому-то, а как бы отторгнутой от

него чьей-то волей, жаждущей превратить его во что-то слабое и бестелесное, лишённое духовной поддержки.

Что-то постоянно бродило в душе у парня, подталкивало к чему-то порой и вовсе неожиданному, и тогда он терялся и не знал, как обрести прежнее сердечное устояние. Это длилось не день и не два.

Но однажды поутру, проснувшись, он ощущал в себе прилив бодрости, оттеснившей всё, что ещё недавно угнетало, и тогда ставил табурет к кухонному столу и подолгу просиживал за ним, наблюдая за тем, как бабка Евдокия возилась у печки.

– Чудной ты, унучек, – говорила она. – Есть в тебе штой-то такое, как бы не от ближнего мира. Не знаю, радоваться этому иль окунаться в огорчение?..

В сущности, Кирилл жил по принципу: будет день – будет пища. А тут вдруг понял, есть ещё что-то, подталкивающее человека к чему-то в себе ли самом, в пространстве ли. Он осознал это и – растерялся. И не сразу ответил Пафнуше.

– Не знаю, – наконец сказал он, стараясь не глядеть на попутчика. – Я и не задумывался, где стану жить...

– Во даёт, а? – удивился Пафнуша. – Ты чё, к тётке на блины ехал?

– Ладно тебе, – обиделся парень. Молча стоял и ждал, когда подойдёт трамвай. Потом сказал:

– Я сам разберусь... куда ехать.

– Это вряд ли...

Всё сложилось так, что через час Кирилл оказался на окраине города в старом рабочем посёлке в низенькой избе с высокими завалинками, подпирающими окна, местами заколоченные фанерой. Тут жила тётка Пафнуши. Она приняла племянника с радостью и вроде бы довольна была, что приехал он не один.

Время текло быстро. Дни сделались похожи друг на друга, как и те ответы, которые получал Кирилл, стучась в разные конторы в поисках работы.

– Иди, парень, откуда пришёл. У нас ловить нечего. От своих дармоедов не знаем, как отделаться.

Он вконец отчаялся, когда как-то ввечеру Пафнуша, придя в избу на бровях и едва дотянув до узкой железной кровати, застеленной потёртым покрывалом, позвал к себе парня и буркнул под нос:

– Я сыскал работёнку. И не такую уж худую. Завтра с утра нам велели подтягиваться к центральному рынку. Там будет ждать автобус. Поедем за город, где богатеи ставят особняки. Не пропадём!..

Работёнка оказалась по рукам Кириллу. Плотницкая, требующая сноровки. Нанялись строить баню и другие помещения на обширном подворье, посредине которого стоял высоченный дом, кладенный из жёлтого кирпича, ныне обильно заросшем бурой крапивной зеленью. Тут, кажется, ещё никто не жил. Только однажды Кирилл видел молодого длинноногого хлыща в потёртых джинсах. У того была наголо бритая голова и обросшие рыжим волосом загорелые руки с длинными беспокойными пальцами. Он прошёл мимо них вихлястой походкой, не глянув в сторону наёмных рабочих.

– Хозяин, – шепнул на ухо Пафнуша. – Но, может, и сынок евойный?..

Кирилл был удивлён. Отчего богатые люди, отодвинув тайгу, понастроили жильё за городом? Не могли ж не знать, что земля тут слабая, ходуном ходит под ногами. Спросил об этом у приятеля, и тот сказал, хмыкнув:

– Для ихнего брата – чем дальше от чужих глаз, тем лучше.

Смеялись глаза, шальные. Кажется, Пафнуша знал про хозяев такое, о чём Кирилл понятия не имел. Ну и что?.. Главное, теперь он найдёт применение своим рукам, а то мало-помалу начали забывать про навыки, что обрёл за год армейской службы. Опять же – появятся деньги, и тогда можно будет подумать, как жить дальше... Может, и впрямь потратит их на учёбу в институте, как одно время намеревался сделать?.. И бабка Евдокия была бы рада. Надо сказать, она во всякую пору больше рассчитывала на волю Божию, чем на свою. Но это не мешало ей управляться по хозяйству вполне сносно. Она и внука приучила к этому.

Кирилл, повзрослев, нередко ловил себя на мысли, что всё, что делалось вокруг ли него, в нём ли самом, заранее было обговорено кем-то наверху, а уж потом отпущено ему.

Он с малых лет привык полагаться не только на себя и легко подчинился бабке Евдокии и ни разу не усомнился в её правоте. Иной раз уносился в мыслях так далеко, что дух захватывало, и он мог сказать о себе: «А я ничего, да?! Не возьмёшь меня голыми руками!» Но потом появлялось не то смущение: «Чё расхвастался-то?..», не то другое чувство, пресекавшее всё, что уводило от мира. Может, то была совесть, которая отпугивала от него даже сверстников. Бывало, те удивлённо таращились на маленького Кирюху, когда он, опухший от недоедания, тем не менее не спешил залезть в чужой огород или запрыгнуть в чью-либо лодчонку и «проверить» ставленные на ближней воде городскими придурками «сороковки», а потом на берегу, подальше от посёлка, развести слабый, чтоб дыму было поменьше, как пацаны говорили, «в ладошку дующий» костерок и зажарить хариуса. Но позже приятели и таращиться перестали на пацана, махнули на него рукой, сказав от души хлёстко и не зло: – Ну его! Шальной какой-то!..

А Кирилл и впрямь нашёл применение своим рукам. На пару с Пафнушей он мотажил сначала на одного хозяина, потом на другого... Уставал, конечно. Но это была приятная усталость. Согревало то, что в старенькой избе его «дождалась» денюжка, спрятанная в переднем углу за иконкой. Не сказать, что большая. И всё-таки, всё-таки... Бывало, вечерами вместе с Пафнушей бродил по тускло освещённым городским улицам, иной раз «заглядывал» в кафе, по-хозяйски располагался за столиком и пил пиво. Впрочем, без всякого удовольствия.

Время текло легко и ненапористо, подчиняемо им. Приятели могли запросто сделать так, чтоб время не поспешало, а при надобности умели убыстрить его бег. Всё нынче было в их власти. Во всяком случае, они так думали. Но не зря сказано: всему приходит конец, и хорошему тоже... С какого-то момента начали замечать, что хозяева стали урезать им заработок. Но терпели, переносили обиды молча, как если бы опасались чего-то. И не зря опасались. Однажды услышали от распорядителя работ:

– Всё, мужики, кончилась лафа. Нету больше заказов. Кризис сожрал денежные заделы.

Тогда-то и поломалось в приятелях. И было отчего... Потолкайся-ка по конторам с утра до ночи!.. Небось, взвоешь. Нет, они, конечно, старались сдерживать себя. Но всему есть предел. И вот уж Пафнуша стал чаще, чем раньше, лазать дрожащей рукой за иконки, а потом исчезал надолго. Приходил пьяный и говорил всегда одно и то же:

– Не вернуться ль на отчину? Чего тут делать? Пропадём не за понюх табаку!

Кирилл и сам понимал: надо что-то решать, иначе через месяц-другой бездельничанья от денежного припасу, что спрятан за иконкой, и рубля не останется. Однако не сразу в голове созрела мысль, что нечего уж «ловить» в городе. Пожалуй, скоро и на порог перестанут пускать. Доколе же терпеть?..

И вот однажды он проснулся с новым, и в малости не саднящим чувством, точно бы, наконец-то, принял решение. Впрочем, так ли это?.. Ну да, увидел во сне бабушку Евдокию. Она привычно, чуть только подрагивая длинными, в розовом опушье, посиневшими губами, улыбалась и ласково смотрела на него. А потом сказала:

– Не надо ни на кого обижаться, в том числе и на себя. Принимай всё спокойно и ровно, помня, что и малость самая в руках Божьих.

Обеспокоило, что она вроде бы не очень-то похожа на себя, в ней появилось что-то привнесённое извне. «Что бы это значило?..» – спросил. И не сумел ответить. А может, не захотел?.. Вспомнил, только раз написал бабушке Евдокии, да и то, когда устраивался на работу. А потом как отрезало. Ну, не привык он сочинять письма.

Сделалось совестно. Всё валилось из рук. Пафнуша, хотя тогда находился в изрядном подпитии, заметил это, спросил:

– Ты часом не приболел? Чтой-то глаза у тебя вроде бы дурнотой облиты.

– Будет врать-то! – оборвал парень напарника и вышел из дому. Долго бродил по городу и раздумывал. Однако утром не мог припомнить, до чего додумался. И всё осталось, как и прежде. Разве что теперь чаще обращался мыслью к себе, к тому, что пребывало возле него. Это не приносило радости. Как, впрочем, и огорчения тоже... Нередко вспоминал бабушку Евдокию. И то, что связывало с нею, теперь сделалось ближе и понятней. Всё же вопросы к ней оставались. К примеру, хотелось бы знать, отчего она однажды как бы невзначай сказала:

– В миру нестойко и вязко. Нынче к одному клонит, завтра к другому. И крутится человек, мечется, не поймёт, к какому пристать берегу. А когда станет и вовсе неумогу, помнится, что он один во всём свете, и никто не пособит ему. Жаль, редко когда окажется подле него тот, кто сказал бы: «Чё изводишь себя? Глянь-ка вокруг, может, чего и узрится? Может, ишо не всё остыло в твоей душе, и потянешься ты к свету?..» Хотелось бы знать, что имела в виду бабушка Евдокия. Но опять же – зачем?.. От разгадыванья чужой мысли у Кирилла порой начинала болеть голова и пропадало настроение.

Бабушка Евдокия в те годы, когда у неё ещё не болели ноги, ходила на дальние лесные полянки. Нередко к ней присоединялся Кирилл. Они на пару облазали всю ближнюю округу. Да только ли ближнюю?.. Нередко, увлечшись, оказывались в изножье сребротелого гольца и удивлялись, как это не заметили, что уже отшагали вёрст шесть?.. Бабушка Евдокия бросала наземь курмушку, садилась, предлагала и внуку присесть, вытаскивала из рюкзака туесок с молоком и протягивала ему:

– Пей... Набирайся сил. Молодому без этого никак. А мне, старой, уж всё едино, – добавляла с усмешкой: – Не в коня овёс.

Кирилл не хотел соглашаться с нею: мол, ты ещё куда с добром, – и она вроде бы даже с ленцой роняла:

– Ну, может, и так. Однако... Однако...

Как-то сказала непривычно строго:

– Шибанёт ветром – и старое, с гнилым нутром дерево, стоит, а молодое, кому жить бы да жить, никнет иль даже переламывается надвое. Пошто так?..

Кирилл не ответил, и недоумение высветилось в его глазах.

– Не знаешь? И я не знаю. Знаю другое: так не должно быть. Всему своё время.

Побродив по тайге, они нередко спускались к морю, долго стояли на берегу, глядя на тихо и умиротворённо плещущие волны и радовались, когда замечали на ближней воде какую-либо посудину, чаще рыбацью лодку или катерок. Бывало, бабка Евдокия говорила, проследив за тем, как чайки зависали над морем:

– Живёт батюшко. Уж много тыщ лет живёт. Видать, зря сказывают, будто де всё на земле смертно. Не может того быть, чтоб однажды море исчерпало себя.

Она любила поговорить и о том, что было не до конца понятно ей. Протолкавшись в мыслях невесть в какую-то тумаракань, и там не испытывала неудобства. Когда бы это было не так, или светились бы у неё глаза, точно бы она подвинулась к чему-то удивительному в себе?

Жаль, в те поры Кирилл не всегда понимал её. Случалось, досадовал и норовил сбечь. Впрочем, досада рождалась не на пустом месте. Так происходило потому, что он не раз слышал от жителей посёлка про старушечьи закидоны. Однопосельчане говорили про бабу Евдокию: мол, чудная какая-то, надо быть, повязана с потайными силами. И, поди, и не всегда с теми, что служат добру?..

Повзрослев и начав соображать, Кирилл поначалу сердился на говорунов. Но потом научился не обращать внимания на их болтовню, хотя порой скребло на сердце. И вот то, что накапливалось в нём, в конце концов отдалило от сверстников. Он мог бы вырасти угрюмым человеком, не способным на добрые чувства. Спасибо бабке Евдокии: отвела от него эту беду. Но заруба на сердце осталась, и она говорила про то, что нужно держать ухо востро: иной раз неприятность приходит оттуда, откуда её не ждёшь. Впрочем, она не так уж часто давала о себе знать, а порой и вовсе превращалась во что-то едва ощутимое, слабое и тусклое, и он не всегда мог сказать: чего это там запоскуливало в душе?.. Последний раз она потревожила, когда он, обойдя конторы в поисках работы и не сыскав ничего, затосковал. Но то и удивительно, что тоска недолго продержалась в нём, хотя в те поры всё в городе сделалось немило, и он не мог понять, почему совсем недавно ему тут что-то нравилось. А что? По кафешкам ходить? «Ну, не дурак ли я был?!..» Доставалось и Пафнуше. Но тот старался не обращать на это внимания. Вдруг да и говорил, привычно схватившись за большую, с круглыми жёлтыми залысинами голову длинными красными ладонями, как если бы только теперь вспомнил:

– Иду это я, значит, по улочке, устланной деревянными тротуарчиками, вдруг вижу: кривоногий, по плечо мне, узкоплечий мужичок в латаной-перелатаной курмушке плетётся встречь мне. Ну, остановился я, жду... Мужичок подходит и говорит, запинаясь об каждое слово:

– Ты и будешь Пафнуша с Подлеморья?..

Я опешил: откуда меня знает? – но взял себя в руки, отвечаю:

– Ну, я...

– И ты приехал в город со своим приятелем Кирюхой?

Он и про это знает! Веришь ли, я растерялся. По сибирской-то земле разные люди ходят-бродят, от их чего угодно можно ожидать. Но осилил нады, не убежал, думаю, дай послушаю, о чём ещё станет говорить незнакомец. А тот вдруг замолчал, надыча, исподлобья посмотрел на меня, как бы перекаывая в башке мыслишку какую. Терплю, стало быть, и тоже не даю языку

волю. Уж потом понял, ладно сделал, что не пустился в словесные перетыки. Мужичок-то глядел, глядел на меня, да и выпалил:

– Встрелся я с тобой во сне, и был ты тогда боёвый и гладкий, и не пахло от тебя водкой. И сказал ты, мол, хочу пожить в городе. Я говорю: «На кой?.. Пропадёшь. Всякому овощу надо расти в своём огороде». Ты обиделся, упрямо замотал головой, потянулся к моему лицу ручищами. Только зря ты: заговорённый я.

Пафнуша вздохнул, продолжил уже без прежнего напряжения в голосе:

– Ну, сказал он так-то и исчез. Я глянул по сторонам. Ничего интересного. Люди всё также ходят по улице, – посмотрел на парня: – Ты слушаешь меня, иль как?..

– Слушаю и думаю: пьян ты был в ту пору, вот и померещилось.

Пафнуша обиделся:

– Ничё такого. Токо пивка выпил пару кружек.

– Ну, ежели так, поедем ко мне в поселё. Места в избе хватит, – легко сказал Кирилл и повёл головой сначала в одну сторону, потом в другую, а оперевшись взглядом в бревенчатые, местами сильно скособоченные стены, добавил: – Изба моя поболее этой развалюхи будет.

«А и впрямь, чего тут глаза людям мозолить? Вернусь на отчину, огородец засажу мелочишкой, в рыбацью артель попрошусь. Надеюсь, не откажут».

Так и вышло, с одной только заминкой: Пафнуша не сразу уехал из города, с полгода проторчал там и уж потом объявился в поселё. И не сказать, чтоб вовсе налегке: кое-какую обувку-одежку привёз, двуствольное дробовое ружьё.

– А это зачем?.. – спросил Кирилл, ткнув пальцем в ружьё, висевшее на плече у Пафнуши.

– Как... зачем? – удивился тот. – В тайге живём. Мало ли чё?.. Да и поохотиться можно.

– Тут не поохотишься. Поселё на заповедных землях стоит.

Кирилл пару седмиц назад похоронил бабку Евдокию. И ещё не отошёл от свалившейся на него беды. Спасибо поселъчанам: помогли вырыть могилу и поминки справили. Кирилл убедился, что живёт среди своих, близких с малолетства людей. И досада, что не сладилось в городе, мало-помалу стала уходить. Время подтягивалось к осени, в здешних местах ветреной, со смурными ночами, с жёлтыми монетами востроглазых звёзд, то и дело падающими на рослые, всё про что-то грустно лопочущие сосны да берёзы, вызывающие у местных жителей сердечную щемоту, от которой хотелось плакать. Даже многоопытные старцы, забредая в тёмноствольный лес, через час-другой начинали ощущать солоноватость в глазах и бормотали невесть что.

– Огород станем расширять, – сказал Кирилл, обнимая за плечи приятеля, – землю копать под посадки, – слегка оттолкнул от себя Пафнушу, спросил с ехидцей: – Чё, не глянется?

Тот хмыкнул:

– Не дождёсся...

Но в тот день они так и не взяли в руки лопату. Потянуло Пафнутия на море:

– Наскучал я по батюшке Байкалу, давай побродим по берегу, подышим здешним воздухом.

Кирилл не стал возражать. До полудня они утаптывали едва видимые в густом разнотравье подлёморские тропы, а потом сели в лодчонку, брошен-

ную кем-то при отъезде из поселя. Лодчонка была шибко разбита: короткие лопастные вёсла едва держались в растянутых уключинах, а на низких бортах появились неглубокие вмятины, должно быть, от сшибки с волнами.

Пафнуша со знанием дела оглядел захудавшую посудину, простучал молоточком днище: вроде бы не пропускает воду. Крякнув, сказал домовито, похозяйски:

— Спытаем. Не впервой...

Не успели отплыть от причального настила, как подул ветер, и не то чтоб буйный, а и его, заколыхавшего морскую рябь, хватило, чтоб Пафнуша сказал:

— Зря мы затеяли прогулку по морю. Видишь чёрное облако, уцепившееся за снежную хребтину дальнего гольца? Худое облако. Через час-другой, огрузнев, лопнет и рассыплется над морем. Подымет хлесткую волну.

Кирилл посмотрел в ту сторону, где небо неспешно исчернялось, и вынужден был согласиться с приятелем.

Когда шли к дому, ставленному на околице поселя близ серебряного ручья в изножье скалы, на вершине которой росла тонкоствольная берёзка, Пафнуша сказал как бы даже с грустью:

— Ты чё без бабы-то? Ну, в городе её не было, понятно, кому мы там нужны, бессребреники? А и тут, вижу, не обзавёлся подругой?..

Кирилл ответил не сразу.

— Как-то не сложилось. Была у меня девушка, когда служил в армии. Звал её с собой на Байкал. Не захотела, — вздохнул. — А тут времени не сыщу, чтоб познакомиться с какой ни то девахой.

— Ишь ты... Я-то всё поспешал, боялся не успеть. Может, и ладно, что поспешал? Ладно, что рядом была Степанида, жёнушка моя. Когда б не померла, иль сорвался бы я с отчины? Мы были всегда вместе, даже в море. Соседи посмеивались: «Скоко лет живут под одной крышей, и всё как нитка с иголкой. Только, кто иголка-то? Надо быть, не Пафнуша. А-а?...»

Опустил голову, остановился, словно бы не зная, куда идти, сказал устало:

— В родном поселе-то у меня никого не осталось. Степанида лежит на ближнем кладбище и уж не встанет, не перешагнёт порог дома. Потому и уехал с отчины. Перед тем пустил в избу бомжей, мужика с бабой. Те жили в ближнем лесочке и кормились чем Бог послал. Подолгу сиживали на морском берегу с удочкой. Вроде, неплохие люди. Надеюсь, может, мне на чужбине полегчает? Ан нет, и там было паскудно, хотя и не показывал виду. Даже тебе...

И верно, он старался. Всё ж от Кирилла не ускользнула частая перемена в настроении приятеля. Порой тот был боек и шустёр и, казалось, всем доволен. Но случалось и так, что смурнел в лице и пуще прежнего подрагивали худые длинные пальцы. Кирилл нет-нет да и встречал тоскливый взгляд приятеля. А ночью слышал, как тот ворочался на койке и вздыхал. Делалось не по себе. Но он ни о чём не спрашивал. И слава Богу! Пафнуша мог бы и сорваться. Уж такой он и есть: вроде бы всё про него понимаешь, ан нет, вдруг посреди небойкого разговора, вроде бы не свично со своей натурой, задумается, и стылая хмурость проступит на длинном узком лице, и в глазах поменяется: уж не углядывается в них прежнего тепла, тускнеют.

С утра приятели вышли на огородец, отыскав в закутье пару изрядно заржавелых лопат и остроносую подовую кайлу на короткой ручке. И так увлеклись, выворачивая камни из земли и стаскивая их за ограду, что про всё забывали. Ещё бы! Нынче не на дядю работали — на себя. Не заметили, как к

низеньким щелястым воротцам, поскрипывающим на слабом ветру, подошла полнотелая круглолицая молоденькая женщина в розовой косынке и долго стояла, с удивлением глядя на то, как приятели управлялись на огороде. А когда стало невозможно молчать, окликнула Кирилла тонким, как бы даже поскуливающим голосом. Тот поднял голову, и не сразу узнал её, и лишь через пару минут, приглядевшись, спросил с засаднившим в груди недоумением, утирая со лба пот:

– Анюта, ты ли?..

– Я тебя тоже не сразу узнала. Худой какой-то стал, и щёки опали. Смотрю и думаю: ты или не ты? Оказалось, ты...

– Я думал, из нашего класса в поселёе уж никого нету. Все разъехались кто куда.

– Это ты, как вернулся из города, в поселёе и глаз не кажешь. А я и не уезжала отсюда. Мне и тут было хорошо до недавнего времени.

– Что так?..

– К тебе что, не приходили люди из местной администрации? Не предлагали переехать в райцентр? Там уж и квартиры жителям поселёе выделили.

– Нет, не приходили...

Он посмотрел на Анюту едва ли не с умилением: так-то вдруг сладостно сделалось на сердце, вместе грустно и жаль чего-то. Вспомнил: Анюта была равнодушна к нему, заглядывалась на него, помогала решать алгебраические задачки. По первости ему это её обожание было до лампочки, когда же пошёл в десятый класс, стало приятно. Но и только-то.

– Ты всё такой же... чудной, – подойдя, сказала Анюта. – Ничего вокруг не видишь. Неужели не обратил внимания, сколько заколоченных домов в поселёе?..

Кирилл развёл руками.

– И зачем ты затеял возню на огороде? – вздохнула Анюта. – Не сегодня-завтра придут трактора и всё сровняют с землёй. Уж на что моя маманя упряма, а и она на неделе ездила в райцентр, чтоб посмотреть, где предлагают ей поселиться с семьёй. Приехала смурная, слова из неё не вытянешь. Всё ж через день-другой начала связывать вещи в узлы.

Кирилл нахмурился, а Пафнутий вдруг сорвался с места. Минут через пять появился на крыльце с ружьём в руках, помахал им:

– Мы никого не пустим на подворье. Есть чем встретить окаянное племя!

Кирилл вроде бы не услышал, постоял на борозде никлый и вялый, а потом подошёл к деревцу, потрогал ветки с рясыными гроздьями оранжево-алой ягоды. От пряного запаха закружилась голова.

Как всё обернулось. Час назад на сердце было легко и ничем не тревожимо, точно бы, наконец-то, отыскал укрепу в жизни, всё виделось в дивном свете, а вот теперь перед глазами померкло. Было горько, что так всё закончилось. Но могло ли закончиться по-другому?.. Совсем недавно был уверен, что могло. Теперь не сказал бы. И, самое обидное, не возникало желания что-то поменять в себе и отогнать душевную оторопь. Он едва ли не с досадой посмотрел на Пафнушу, который размахивал ружьём и выкрикивал надсадно:

– Пушай только сунутся. Встретим! Мало не покажется.

С грустью подумал: «Зачем он? Совсем слетел с катушек, иль не понимает: плетью обуха не перешибёшь?»

До вечера просидел на крыльце. Пафнуша находился рядом, о чём-то говорил, но он не слушал. А когда на подлёморское прилесье, заросшее хилым

кустарником, пали длинные чёрные тени и когда Пафнуша отправился спать, перед тем сказавши: «Не задерживайся. Нам надо отдохнуть. Завтра станем думать, чё к чему», – спустился с крыльца и пошёл на берег моря, а потом долго стоял, привалившись к большому чёрному камню, и смотрел на иссиня-белые волны с каким-то упрямым нетерпением, про которое не сказал бы, откуда пришло. И зачем?.. Он так и не отыскал объяснения этому. И всё твердил:

– И что же дальше, Господи?.. Что?!

Луна, как если бы спотыкаясь, выбрела из-за дальнего гольца, молочно-белая, слабая, какое-то время с откровенно явленной робостью оглядывала ближнее пространство, а не найдя ничего, что могло бы помешать её продвижению по небесной тропе, струнулась с места и медленно поплыла к звёздам.

ИСПОВЕДЬ

Арсений Бородулин, мужчина лет пятидесяти, длиннолицый, с острым подбородком, обильно заросшим густым рыжим волосом, с толстыми синюшными, как если бы отмороженными, губами, неторопливо шёл по узкой каменистой тропке, уцепившейся за вихлястый горный ручей. У него были маленькие круглые глазки, не в меру суетливые, перебегающие с одного предмета на другой, хотя в этом вроде бы не было никакой нужды. Он изредка останавливался и с напряжённым вниманием, словно бы чего-то опасаясь, вглядывался в серый утренний сумерек. А он и впрямь опасался встречи с медведем, появившимся в здешних местах совсем недавно. Хозяина тайги видел однокашник Бородулина, кряжистый седоголовый мужик с длинными чёрными руками, про которые на посёлье говорили, что дивно загребушие. И, видать, не зря говорили. На подворье у Василька Тимонина, так звали бородулинского однокашника, можно было отыскать и малую худобу, без которой не обойтись в хозяйстве. Глаза у Василька во всякую пору сияли ласково. В их тихой синеве каждый мог уловить надобное себе, а чаще доброту, по которой многие нынче скучали. Вызывало удивление, что эти глаза принадлежали человеку настырному и в худшую для себя минуту не забывающему про свой интерес. А ведь кое-что из того, что пылилось на тимонинском подворье, ему самому-то было не нужно. Впрочем, чего же тут такого? Просто мужику глянулось нести на своё подворье всё, что не покажется стоящим. Ну, привычка у него такая. И ничего с нею не поделаешь. Коль скоро он возвращался после обхода окрестностей (в самом-то посёлье уж всё подчистую прибрано им, тут и завалящего гвоздя теперь не найдёшь) с пустыми руками, падало у него настроение ниже нулевой отметки. Про неё он вчера потемну, придя к Арсению, сказывал, называя однокашника, как в школьные годы, Ксюхой.

Почёсывая широкую волосатую грудь, говорил:

– Чё делать-то? Мне и самому иной раз неловко волоочь на своё подворье всякую разъедренность. Но вот беда, ежели не приволоку чего, тоска, Ксюха, нападает, хоть волком вой.

Арсений удивился, что кто-то ещё помнил, как его звали в школе, а потом разобиделся, сказал запальчиво:

– Какой я тебе Ксюха?!

Василёк тоже удивился, но не шибко. Сказал примирительно, блестя глазами:

– Ну, ладно, ладно. Не буду! Эк-ка ты распёрло. А раньше ничё, не обижался.

– То раньше, – буркнул Арсений.

– Ну и чё скажешь про мою беду?.. – жалобно спросил Василёк.

– Ничего. Продолжай маяться дурью. Тебе не привыкать.

Так вот, Василёк Тимонин третьёводни ходил на голец, где росла черемша, там и повстречал медведя. Ну, повстречал да повстречал, мало ли что?.. Да вот напасть: медведь-то вдруг ловчить начал: то наперёд забежит и сядет на землю, пересекая тропу, и глядит угрюмо на человека, как если бы угрожая напасть на него, хотя зачем нападать-то: сытый же, шкура на нём аж лоснится, – а то затаится в чащобе и долго носа не кажет. Но только подумаешь: «Ну, умотал, кажись, восвояси, окаянный», – как он выскочит из чащобы с рёвом. Тут уж у самого смелого челюсть «отвалится».

Арсений не опасался встречи с медведем, тому нынче и впрямь не резон ссориться с человеком, всё ж не хотел бы столкнуться с ним «лицом к лицу». Вот и вглядывался в серую пелену дня иной раз с немалым напряжением, отчего досадовал на себя. Но досадовал легко и ненапористо, словно бы понарошку.

Арсений приехал в посёле неделю назад. Отчего-то потянуло на отчину. И он не сумел совладать с этим чувством и, отпросившись на работе, сел на электричку. Долго не мог понять, что с ним происходило, отчего на сердце сделалось беспокойно и уж не радовало, что в институте складывалось всё, как надо, и дома, слава Богу, наладилось: жена перестала пилить его, если даже он запаздывал. Кажется, наконец-то, поняла, что и ему иногда хочется побыть одному ли, со случайными ли знакомыми (друзей-то у него не было), и уж не ругала последними словами, если даже он приходил домой за полночь. Бог не дал им детей, хотя они и прилагали к этому усилия. Ну, не получалось, и всё тут. Хорошо ещё, что не упрекали друг друга, догадывались: это не поможет, только внесёт в семейные отношения разлад. Привыкши если и не понимать близкого человека с полуслова, то угадывать его намеренья, старались помочь, не делая над собой усилия, а коль скоро что-то не удавалось, не отчаивались и, в конце концов, добивались своего. Впрочем, случалось и по-другому. И тогда супруги ссорились и не хотели знаться ни с кем, точно бы в их размолвке были виноваты те, кто жил рядом с ними. Забавная выработалась привычка: винить в неурядье кого угодно, только не близкого человека. Потому соседи не часто заходили к ним. А что же супруги, неужели не старались помянуть в себе? В том-то и дело, что не старались.

В чём супруги сошлись твёрдо, так это в нежелании иметь дело с чужими людьми. Да и со своими, пожалуй, тоже... Но много ли было своих-то? Где-то на севере тянул лямку племяш Арсения. Приезжал в прошлом году, пожил маленько у них и уехал. Видать, не поглянулось в чужом городе. Ну, имелась ещё у жены сестра. Но она ни разу не выезжала из посёла. Жила с престарелой матерью и сыном-алкоголиком в стареньком покосившемся пятистеннике по соседству с большим бородулинским домом.

Отец у Арсения был справный мужик, от работы не бегал, имел хозяйство немалое, надеялся, что сын пойдёт по его стопам. Но вышло по-другому. Сын не унаследовал от отца ни здоровья, ни крепости духа. После смерти

родителей и вовсе сделался как бы не от мира сего: подолгу просиживал в избе, листая книги, а их у него накопилось немало: отец одобрял сыновнюю тягу к знаниям, – а то уходил из дому, захватив с собой пару-другую удочек, и пропадал с утра до ночи на море. Хозяйством не занимался, не всегда замечал, что у него творилось на подворье. Быть бы худу, когда б не русоволосая крепенькая девица. С нею у Арсения вроде бы складывались какие-то отношения, хотя он про это не задумывался: приходил с погулянок и тут же брал в руки книжку – и начисто забывал про то, что и завтра ему идти на свидание. И не вспомнил бы, если б не девушка...

Приходя к нему в избу, она старалась навести в комнатах порядок. Чуть погода увидела, в каком бедственном положении находилась домашняя скотина, поругала хозяина и, не мешкая, принялась и тут усердствовать. И, надо сказать, неплохо у неё получалось. Коровы перестали беспокойно бродить по подворью, наматывая на крутые прясла потливые шерстяные комья. И козы сделались не так пакостливы, уж не открывали дверь в избу круторогими лбами и не лезли к столу.

А потом... Что же было потом? Да, однажды Бородулин проснулся, глядь, под боком у него женщина посапывает. Не сразу понял, с чего бы она оказалась в родительской кровати?.. Но через день-другой до него дошло, что это его жена.

Арсений встал нынче на таёжную тропу не просто так, без задней мысли, как нередко бывало раньше, а с какой-то целью. Правда, про неё теперь забывал. Так не однажды случалось с ним. И он не мог ничего с этим поделать. Он брёл по таёжной тропе, которая, обволакиваемая утренним туманом, низко зависшим над землёй, была мокрой и зыбистой, часто терялась в белом мареве. И тогда Арсений вытягивал руки, на ощупь обшаривал зависавшие над тропой тяжёлые ветки и удивлялся, отчего те так холодны: лето-то в самой поре. Но удивление скоро пропало, вместо него появилось щемящее чувство близости к чему-то светлому и ясному, о чём вроде бы уже успел позабыть. Впрочем, не совсем... И оттого, что это было так и не как-то иначе, на сердце защемило, а потом сделалось мучительно жаль чего-то. Может статься, того, что затерялось в прошлом и уж не вернётся, даже если бы сильно захотел. Где-то тут протекал горный ручей, и он с пацанами нередко бывал в этом распадке. На берегу ручья они разводили костерок, сидели возле него до позднего вечера и сказывали друг другу байки про лешего, который вдруг да и выходил на тропу, дожидаясь путника и долго водил его по чащобам и смеялся. Чудной леший! Вроде бы ничего худого не делал: ну, побалуует маленько, да и отстанет, – всё ж пацаны не советовали встречаться с ним.

Арсений силился отыскать старую разлапистую берёзу, возле которой тропа сворачивала к ручью, и не мог, и уж подумал, что прошёл то место, когда рука нащупала что-то колкое вместе с мягким и влажным. И, ещё не видя берёзы, понял, что не ошибся, и спустился к ручью.

Небо мало-помалу освободилось от облаков. И вот уж отметилось глубокой синевой и искряными солнечными лучами. Те в последний момент прямо-таки выметнулись из-за гольца, нетерпеливые, словно бы наскучили в ночной неволе. С каждой минутой они крепили, становились длиннее, пока не завладели ближним лесным околотком.

Распадок ожил. В березняке заверещали малые птахи. Неспешно и как бы даже с ленцой зацыкал бурундук. Кукушка вяловато, не отойдя от

ночной дрёмы, принялась отсчитывать то ли кем-то прожитые годы, то ли те, что ещё предстояло отмерить. В небе завис, широко раскидав серебряные крылья, белохвостый орлан. Он что-то выглядывал на земле. Должно быть, добычу. Но, может, и не так вовсе. И ничего он не выглядывал. Вполне хватило куропатки, которая вчера потемну имела несчастье попасть ему в когти. И поднялся он в небо лишь для того, чтоб облететь свои владения, и порадовался тому, как велики они и богаты разным зверьём.

Во всяком случае, так подумал Арсений, наблюдая за парящим в утреннем небе орланом. Чуть погода склонился над бурлящей ручьёвой водой, силясь разглядеть что-то близкое по давешним временам, хотя и не сказал бы, что именно. Всё вроде бы так далеко отодвинулось от него, что и не ухватишь за хвост. Тогда почему после того, как увидал на илистом дне затёртые до тусклого блеска острогрудые валунки, защемило на сердце? Изловчась, дотронулся до них рукой и ощутил под ладонью охлаждающую в теле, привычную по прежним летам стылость, а вместе тихую, как бы скрывающуюся от самой себя радость на сердце и... вспомнил. Он вспомнил, почему любил ходить к лесному ручью.

Ну, конечно же, было по душе наблюдать промеж донных камней иную, не сходную с людской, чистую, ничем не замутнённую, прозрачную жизнь. Та жизнь нравилась тем, что ничего для себя не требовала. Он мог подолгу смотреть, как рыскали по каменистому дну, разрывая илистое покрывало, серебротелые рыбки. Случалось, опускал в воду руку, и рыбки проскальзывали меж пальцев, и малой робости не замечалось в них. Были так же шустры и пронирыливы, порой выпрыгивали из воды и взблескивали в солнечных лучах.

Арсений, увлечшись, не заметил, когда подошёл Василёк Тимонин. Тот остановился у него за спиной и с интересом в жгуче синих глазах наблюдал за давним приятелем.

По тому напряжению, которое обозначилось в широком лице Василька, можно было сделать вывод, что он ждал от него чего-то такого, что сказало бы: и впрямь перед ним нынче Бородулин, Ксюха, как его звали раньше, должно быть, за мягкосердечие и чрезмерную, едва ль не на каждом шагу проявляемую доброту, от которой многих подташнивало. В том числе и его, Василька Тимонина. Ему тоже говорили, что у него добрые глаза. Но потом перестали, это когда он показал, кто он есть на самом деле. Вынудили!.. Хотя чего там, он и вправду не злой, ну, может, и не такой, как Арсений. И всё же... Это ж ему зачем-то надо было хватать пацанов за руку, когда те выцеливали из рогаток зазевавшуюся ворону, иль вмешиваться в их забавы, когда они, словив на «путях» змею, норовили забить её камнями?.. «Он чё, ненормальный? Может, поучить его маленько, авось одумается?..» Случалось, и поколачивали, да толку-то?.. Проходил день-другой, и всё повторялось сначала.

Василёк терпеливо ждал, когда бывший его однокашник выкинет чего-либо. Не дождался. Крякнул, поднеся широкую ладонь ко рту.

Арсений выдернул из воды руку, обернулся, сказал со смущением:

– А, это ты?..

– Я... Кому же ещё быть-то? – буркнул Василёк. Не утерпел, стал говорить про то, что нынче беспокоило.

А беспокоило то, что соседи начали проявлять недовольство им. Уже давно не нравилось, что он несёт на своё подворье всё, что ни попадя. Но молчали. Да, видать, всякому терпению приходит конец.

И вот вчера припёрлись к нему и давай лазать по закуткам и говорить, как у него на подворье дурно пахнет. Да ладно бы, только у него. Дух-то разносит по всему околотку. Скоро, поди, дышать станет нечем. Под конец Васька Рыжий, криворотый мужик с круглой бородавкой заместо носа, болющий за всё поселёе разом, на собраниях, коль таковые случались, первый говорун, сказал, набычась:

– Ты вот чё, паря, прибири-ка во дворе. Сделай так, чтоб не воняло. Не сделаешь, башку свернём набок.

– А я чё?.. – развёл руками Василёк, пытаясь втянуть в разговор старого приятеля. – Я ничё...

Но Арсений как бы не услышал, лицо у него оставалось всё такое же счастливое, слегка смущённое.

– Я, почитай, всю ночь не спал и думал про соседей: ну, пошто такие вредные?.. – сказал Василёк. – Опять же... Может, сходить в соседний улус к бурятам? Есть у меня там знакомый табунщик. Может, попросить у него лошадку?.. Ты как, Ксюха, считаешь?

Арсений поморщился:

– Ну, чего ты всё одно по одному: Ксюха да Ксюха. Я уж давно не Ксюха.

– Это я по старой привычке. Извиняй!

Арсений вздохнул, спросил:

– Лошадь-то тебе зачем?..

– Ну, чтоб вывести со двора навоз. И впрямь поднакопилось там.

– Ну, тогда, конечно.

Арсений поднялся на ноги и, чуть помешкав, начал разгребать золу в кострище, словно бы намереваясь найти что-то. А он и впрямь хотел бы отыскать нечто, что сказало бы о давних летах, когда он с пацанами сиживал на берегу ручья. Повезло. Выгреб из золы обуглившийся ободок от тележного колеса. Повертел в руках, сбивая с хрупкого железа окалину, сказал, блестя глазами:

– Никак от нашей дворовой тележки? Помнишь, катались вон с той горки, связав пару тележек? Ты за красного командира был, я за рулевого.

– Кто, ты, чё ли, за рулевого?.. – хмыкнул Василёк. – Не-е... Такого не помню.

Арсений обиделся. На щеках выступил лёгкий румянец. Толстые губы округлились. Василёк заметил перемену в школьном приятеле, приободрился, сказал, усмехнувшись:

– Ты всё такой же. Чуть чего, в пузырь лезешь. Одно слово, Ксю... – Но тут же и спохватился, прикрыл рот рукой. – Всё. Не буду больше. Вот те крест!..

Помолчал, морща низкий лоб, спросил:

– Ты чё приехал-то? По нужде иль как?..

Арсений вздохнул:

– Иль как, пожалуй... Вдруг тоска навалилась. Всё опостылело. Жена, видать, заметила перемену во мне и предложила взять отгул и съездить на Байкал, проветриться, подкрепить нервишки. «Глядеть на тебя тошно». Ну, я подумал-подумал и согласился с нею. Всё равно терять нечего.

– Это как понимать?

– Так и понимать, – сказал, но тут же и оборвал себя: – Что-то со мной происходит в последнее время. Я вроде бы сбился с тропки и теперь бреду чернолесьем и не знаю, выйду ли к людям.

– Мудрёно говоришь.

– Какая тут мудрость? – вздохнул. – В электричке встретил священника. Он оказался из нашей церковки. Звал меня на исповедь, – помолчал, спросил не без напряжения в голосе: – Ты не знаешь, как там – на исповеди?..

– Чего знать-то? – хмыкнул Василёк. – Придёшь в церковь, и там тебя разденут донага. Ну, не так, чтоб одежду с тела сорвали. По-другому...

– Я, пожалуй, схожу в церковку. Благо, от нас до неё недалеко. Вёрст пять, пожалуй.

Василёк недовольно покачал головой:

– Да на кой те это надо? – оглядел приятеля с ног до головы. – Хотя... Чё с тебя взять? Ты всегда был такой: не разбери-пойми, чё у тебя на сердце.

Долго сидели на берегу ручья и теперь уже мало о чём говорили. Но вот Василёк поднялся на ноги:

– Двинули, чё ли? Нам по пути будет. Ты в церковку, я в улус. После полудня загляни ко мне. Подсобишь.

Спустились к Байкалу, потом долго шли по каменистому берегу, наблюдая за тем, как, взблескивая в нешибких солнечных лучах, волна, жёлтая от уцепившейся за неё тины, накатывала на бурые камни и, шипя, отступала. Возле береговой косы, заросшей худосочным березняком и тонконогой осиною, путидорожки приятелей разошлись. Василёк углубился в ближайший ельник, а Арсений ещё версты две брёл по тропинке, увёртливо бегущей меж камней, пока не разглядел на горизонте церковку с розовыми куполами.

Долго стоял на паперти, не решаясь войти. Может, и не вошёл бы, когда б настоятель, по какой-то надобности выйдя на подворье, не увидел его. Рослый, румянолицый, с изрядно поседевшей бородой, он подошёл к Арсению, сказал:

– Ну, чего ты? Заходи, осмотришься. А я сейчас...

Но Арсений ещё не скоро набрался смелости. Был он в этой церковке лишь однажды пацаном. Матушка, крадучись от батяни, который пуще всего боялся, что скажут люди, взяла сына за руку и привела в церковку. Сделала, как хотела. Но, когда вышли из храма, сняла с шеи сына крестик и спрятала. Арсений до сих пор не поймёт, куда подевался крестик? Впрочем, и после смерти матери он не искал его. Но вот теперь вспомнил, и защемило на сердце, и робость, которая жила в нём, стала ещё больше. Всё же в какой-то момент преодолел её и вошёл в церковку.

Вернувшийся тут же настоятель подвёл его к алтарю. А потом случилось то, чего никак не ожидал. Он вдруг почувствовал себя свободным и ни от кого не зависимым человеком, способным сказать и о том, что было спрятано в нём за семью замками. Он испытал удивительное чувство, подвинувшее невесть к какому порогу. Может, к тому, откуда не будет возврата?.. Но это не испугало, напротив, наполнило сладостным, по всему телу разливающимся покоем. И так было во всё отпущенное на исповедь время.

Осмелев, он сказал и о том дальнем и стыдном, о чём было неприятно вспоминать.

– Знаешь, батюшка, сколько помню себя, – сказал он, – мне всё время казалось, что я живу не так, как надо, как мог бы жить, если бы поменял в душе. Но что-то мешало. Может, робость?.. Нередко случалось, что я улыбался человеку, которого терпеть не мог. Помню, был у нас в классе хулиган и задира. Никто не мог сладить с ним. И я тоже... Он не успевал подойти, как во мне переворачивалось, и я делал всё, чтоб угодить ему. Это ж он называл меня Ксюхой. И я ничего... стерпел, хотя и возненавидел его. Я и своего руководителя кафедры возненавидел, когда тот урезал премию. До сих пор не

пойму, почему он так сделал? Ведь я работаю не хуже, чем другие. Думаешь, я сказал ему об этом? Нет, конечно. Мне иногда кажется, что и женился-то я из-за того, что побоялся обидеть свою бывшую одноклассницу. Когда однажды она сказала, что хотела бы стать моей женой, я только улыбнулся и виновато отвёл глаза. Она приняла это за моё согласие. Через год мы поженились.

Так, или примерно так, говорил Арсений, глядя в синие, облитые тихой грустью глаза настоятеля. Во всяком случае, потом, выйдя из храма, хотел бы думать, что так и было.

Впрочем, было и другое. В какой-то момент его душа открылась священнику, стала легка и прозрачна, без малой утайки. Было приятно сознавать себя частью Божьего мира, подчиняться всему, что исходило оттуда и наполняло сердце радостью! И не той, что являлась раньше. Другой... Она была огромной, как небо, и чистой, как вода в горном ручье. И то ещё радовало, что ничего не требовала для себя, просто пребывала в душе, сияющая. Он прислушивался к ней и хотел бы сказать, как хорошо у него на сердце. Но поделился другим:

– Знаешь, батюшка, – сказал он, – мне иногда кажется, будто я живу чужой жизнью. Иной раз хожу по тесной городской квартирке, спотыкаясь на каждом шагу, а то выйду на улицу и брожу, едва ли что-то видя перед собой. И такая тоска наваливается – быть охота.

– Грешно напускать на себя тоску, – негромко ответил батюшка. – Надо уметь преодолевать её.

– Пробовал. Не получается. У меня много чего не получается. Но это не огорчает. Что-то произошло со мной, отчего сделалось всё безразлично.

Когда это началось? Пожалуй, лет пять назад. Тогда и те из людей, кто был интересен мне, стали говорить о деньгах. Сначала как бы вскользь, с неохотой, но с каждым днём всё спокойней. Я раньше думал, что деньги интересуют только мою жену. Но вот увидел, что не только её, и затосковал.

Священник выслушал и ни разу не перебил. Это понравилось Арсению. Он, может, и замолчал бы, если б священник как-то выказал своё неприятие того, о чём он говорил. Но в его глазах было только недоумение, которое мало-помалу переросло в жалость. То и взбодрило и наполнило не знакомой раньше силой.

– Что же делать? Как быть?..

Он спросил и тут же почувствовал, что человек, облачённый в священническое одеяние, не знал ответа. Тем не менее, когда тот сказал: «Всё в руках Божьих, сын мой, надо уметь ждать...», – он охотно согласился:

– Да, конечно! Нужно научиться ждать. Пожалуй, это то, чего мне не хватает.

После исповеди Арсений, подойдя к алтарю, низко склонил голову, поднёс ко лбу руку и стал молиться. Он делал это впервые, но не почувствовал неуверенности. Напротив, чувство, что зародилось во время исповеди, как бы даже окрепло.

До позднего вечера он просидел в родительском доме, прислушиваясь к себе и радуясь тому, что в нём совершалось. Но вот вспомнил про обещание помочь Васильку и вышел на крыльцо. Долго стоял и смотрел, как над морем зависали облака, а меж них скользили, опираясь на длинные крылья, орланы. А потом пересёк отчее подворье, которое изрядно пообносились: вон и жерди в заплоте повылазили, и низенькая, плетёная из черёмуховых веток калитка скособочилась.

Ему бы теперь занять себя на своём подворье, а он потащился на окраину поселя, где стояла тимонинская изба, изрядно просевшая: земля тут мягкая, зыбистая, чуть что – страгивалась с места и покачивалась. Пахло гнилью, она окутывала избы и амбары, уцепившиеся за длинный холмистый распадок, скатывающийся к морю.

Арсений чуть не задохнулся, когда оказался на подворье у бывшего одноклассника. Подворье было завалено разными железяками и тёсинами, гниющими неошкуранными обрезами. Жуткая вонь висела в воздухе. Он не сразу понял, откуда идёт этот запах. А когда понял, удивлён был. Неужели хозяин, который держал корову и пару поросят, так и не сообразил, что за домашней скотиной требуется каждодневный уход? И подумать не мог, что Василёк Тимонин способен был всё так запустить.

С грехом пополам, перешагивая через вывороченные корни деревьев, через брошенные наземь толстые, согнутые в три дуги, почерневшие ветви, Арсений добрался-таки до того места, где хозяин загружал в телегу всё, что попадало под руку.

– Ну, ты даёшь, – сказал, подойдя и утирая со лба толстые капли пота. – Как же ты умудрился так испоганить двор?.. Хотел бы знать, через какие ворота ты запускаешь в стайку корову?

– Через огород, – хмыкнул Василёк. – Через него и запускаю.

Он вроде бы даже не удивился вопросу приятеля.

– Ну, а коровьи лепёхи зачем надо было раскидывать по двору?

– Э, тут, паря, своя история, – медленно сказал Василёк, положив большую чёрную руку на круглую потную шею пеганки. – Видишь ли, избы в околоте стоят на болотах. Дедам надо было сначала насыпать побольше земли, а уж потом подымать дома. Не дотумкали. Но, может, тогда болота были не так сильны? Короче, надумал я укрепить грунт и стал разбрасывать навоз по подворью. Прошёл год, другой... Толку никакого. Болота не отступали.

– Теперь ясно, откуда этот запах, – сказал Арсений. – Не зря взбунтовались твои соседи.

Разошлись за полночь. Арсений едва передвигал в усмерть уставшие ноги. Зато на душе было легко и... немного тревожно, как если бы то, что снизошло на него во время исповеди, каким-то образом выказало свою недолговечность. Но ведь это не так! Тогда почему на сердце то и дело пощипывало, подталкивало к чему-то смутному, не обозначенному в ближнем пространстве.

А потом случилось то, чего он боялся. Пришла шальная мысль: «Почему я ни с того ни с сего заговорил в церковке о том, о чём никому не сказал бы? Чего меня понесло-то?»

Придя домой, скинул старую кожаную куртку, сапоги. Отнёс в чулан. Налил в пузатую фарфоровую чашку холодного чаю. Долго сидел за узким кухонным столом и всё прислушивался к себе, и на длинном, с рыжими оспинками возле ушей, остроносом лице недоумение сменялось досадой, а потом обидой непонятно на кого, но, скорей, на себя – за то, что он такой нескладный, всё чего-то выискивающий даже там, где не надо бы ничего искать. «А что, если священник расскажет кому-либо о том, что услышал. Нет, я, конечно, понимаю: сказанное на исповеди есть тайна. Ну, а вдруг? Мало ли куда повернёт?..»

И понесло, и поехало. Теперь уж он, как если бы запомнив о том, что наполнило душу чудным светом, думал: «Может, старый приятель прав, и зря я дал раздуть себя донага?» Но тут же и обрывал вносящее в душу смущение, го-

ворил: это всё от лукавого, и кому верить, если не человеку в священническом одеянии?.. В какой-то момент вспомнил, какая у него была лёгкая рука! Стоило закрыть глаза, тут же ощутил тепло, исходящее от неё.

Арсений ещё долго пребывал в смущении. И лишь когда первые лучи солнца вытолкнулись из-за гольца, прошёл в комнату и, не раздеваясь, лёг на кровать.

И был сон. Станный какой-то. Порой опускал его в чёрную бездну, откуда, казалось, нет возврата, а то возносил высоко, так что у него начинала кружиться голова.

Потом приснилась бабка Фёкла, она умерла, когда ему было семь лет. И сказала она тихим голосом, приблизив к нему своё маленькое веснушчатое лицо, на котором одни глаза и светились:

– Под матрасом, в изголовье, найдёшь иконку Божьей Матери. Ты отыщи её и помолись. Глядишь, и полегчает на сердце, и всё дурное отступит от тебя.

Арсений откинул одеяло, проснувшись. И был удивлён, обнаружив под матрасом старенькую, изрядно потёртую иконку. Долго разглядывал её, ощущая в теле трепет, и радуясь, и удивляясь, а потом поставил иконку в красивый угол на полочку: «Тут она, пожалуй, и стояла. Больше нигде».

Помолился.

Почувствовал, как то, что беспокоило, отступило, и на сердце вновь появилось дивное чувство слиянности с Божьим миром. Долго ли пребудет в нём? Кто скажет?..



«Отшельник»

Графика Евгения Тихонова

со страницы автора tixtixtix в социальной сети для творческих людей

«Неизвестный гений... может стать известным»

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ПРОСМОТРА

Книгу «Любовь земная» один из лучших писателей как минимум Сибири Анатолий Константинович Горбунов надеялся увидеть изданной ещё к своему 70-летию в 2012 году. Но, то ли поздно спохватился, то ли были ещё какие-то причины, сколько ни обивал он иркутские чиновничьи пороги, финансов для юбиляра не нашлось. Помогли старые земляки. Откликнулся на «глас вопиющего в пустыне» Пётр Николаевич Неупокоев – мэр Киренского района, почётным гражданином которого и самого г. Киренска является наш автор, родившийся в здешней деревне Мутиной 16 марта 1942 года. По словам Горбунова, Пётр Николаевич – это человек, «которому не безразлична русская культура и судьба народа».

Естественно, что в бюджете Киренского муниципального образования денег на всякий пожарный случай тоже не было. Однако глава района смог задействовать рычаги социального партнёрства и привлёк к финансированию литературного проекта ООО «Алексеевская РЭБ флота» в лице заместителя генерального директора Сергея Ивановича Белозёрова, также к русской культуре небезразличного.

Пока всё это тянулось, юбилейное время было, конечно же, упущено. Но главное – книга всё-таки увидела свет – в июне 2013 года.

Автор озаглавил её так же, как в 1988 году назвал раздел в сборнике «Перекааты», изданном в серии избранных произведений «Сибирская лира». Наверное, это не случайно, ведь новая – тоже избранное: стихи и сказки, созданные им в разные годы плодотворной творческой деятельности.

Творчество Анатолия Горбунова не раз было отмечено различными премиями и дипломами. Началось с того, что в конце 1960-х годов он получил диплом I степени на областной конференции «Молодость. Творчество. Современность», а его рукопись «Чудница» была рекомендована к изданию. Правда вышла эта книга не сразу, только в 1975 году, зато в столичном издательстве «Молодая гвардия». В том же году её автор стал лауреатом Всесоюзного литературного конкурса им. Н. Островского с вручением медали и участником VI Всесоюзного совещания молодых писателей. Такое начало давалось очень не многим. В 1977 году Анатолий Горбунов был принят в Союз писателей СССР, после чего, в 80-е годы у него вышли книги стихов «Осенцы», «Звонница», «Перекааты» и – очерков: «Тайга и люди». Потом был перестроечный провал в издательской деятельности, за время которого накопился материал на вышедшие в 2000-е годы «Журчинки», «Серебряное эхо»,

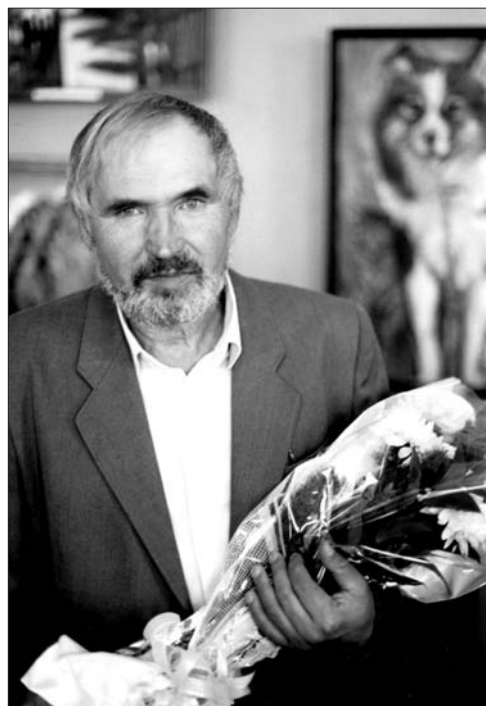


Пётр Николаевич Неупокоев

«Рыбаки-охотники»; за книги «Сторона речная» и «Ключики-замочки» Горбунов в 2006 году был удостоен Губернаторской премии.

Книга «Родины свет», изданная в 2011 году, ничем не отмечена, хотя именно про неё председатель правления Иркутского регионального отделения Союза писателей России Василий Константинович Забелло написал в «Восточно-Сибирской правде», что это книга, «которую без натяжки можно назвать энциклопедией для детей, книгой для семейного чтения». Аналогично высказалась и член Союза российских писателей Любовь Иосифовна Сухаревская в газете «Байкальские вести»: «...Настоящая энциклопедия сибирской жизни, изложенная, словно в картинках, в многочисленных стихотворных сюжетах». Да, по этой книге можно изучать природу родного края, и, кроме «словно картинок», в ней есть замечательные иллюстрации художника Алексея Дурасова, который, кстати сказать, согласился сделать их, из уважения к Анатолию Константиновичу, за смешную для иллюстраторов сумму, поскольку средств на книгу было выделено явно недостаточно с учётом того результата, который был достигнут. Кандидат филологических наук Ирина Георгиевна Бухарова на сайте Иркутской областной детской библиотеки им. Марка Сергеева опубликовала замечательную статью о Горбунове и его книге, которую закончила такими словами: «Нельзя не отметить редакторскую и дизайнерскую работу коллектива издательства «Иркутский писатель», поскольку книга стала культурным событием, которое случается, когда к делу подходят не формально, а радостно, ответственно и с любовью».

Наверное, для Анатолия Константиновича такие отзывы тоже имеют немалое значение. Однако мы ещё не сказали, что в разные годы он получал премию Международного конкурса детской и юношеской книги имени А.Н. Толстого и Всероссийскую литературную премию имени Ершова; становился лауреатом Всероссийского конкурса, посвящённого 200-летию со дня рождения Андерсена, конкурса литературного творчества «Золотой листопад» имени Юрия Черных и др. Кроме того, А.К. Горбунов – один из немногих писателей, награждённых Знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре».



Анатолий Константинович Горбунов после вручения Знака Министерства культуры РФ «За достижения в культуре»

«Любовь земная» вышла тиражом тысяча экземпляров. По оформлению она аналогична книгам «Сторона речная» (Издательский центр журнала «Сибирь», 2004) и «Рыбаки-охотники» (АНО Издательство «Иркутский писатель», 2008). Редактуру и подготовку к печати осуществил С.В. Корбут, уже работавший с автором над книгой стихов «для детей и их родителей» «Родины свет».

ЛЕСНАЯ СТОРОНКА

Деревенька в сугробах на горке.
И привязанный к облаку дом.
Седоусым налимом на зорьке
Вьётся речка под самым окном.

В ясный полдень на зыбких голицах
Из ограды скатись в березняк –
Изумлённо в глазах заискрится
Ослепительным звоном куржак.

Лунной ночью ушастые зайцы
Греют кровь по раздольным полям.
Ухнет в ельнике филин глазастый –
У зверушки душа пополам.

Юркнет с вербушки тень горностая –
Пискнет тоненько мышь у гумна...
Хороша ты, сторона лесная,
Хороша ты во все времена!

ТИХАЯ ДЕРЕВНЯ

Смотрю на дикие поля,
Ловлю глазами птичью стаю.
Деревня тихая моя,
Тебя весёлой вспоминаю.

Здесь столько лет Кузьма, Филат
Пахали, сеяли, косили!
Ни привилегий, ни наград
У государства не просили.

Кормили хлебушком народ.
Хозяйство крепкое стояло.
Пожаров не было, а вот
Сельчан по свету разметало.

Как будто им с гнилой ольхи
Накликал ворон хворь и голод –
И потянулись от сохи:
Кто в леспромхоз, кто в душный город.

Кого винить? Кого жалеть?
Прости, деревня, я бессилён
Пустые избы обогреть –
Их много нынче по России.

Не вспыхнут радостно огни,
Не всхлипнут в сутеми колёса.
В траве обломками лыжни
Белеет палая берёза.

А рядом кустик молодой
Пророс сквозь древние салазки,
Дремучий пень, как домовой,
Его баюкает под сказки.

Смотрю на дикие поля,
Ловлю глазами птичью стаю.
Деревня тихая моя,
Тебя весёлой вспоминаю.

Молчишь. Надеешься и ждёшь,
Что сыновья к тебе вернутся,
Посеют солнечную рожь
И первым всходам улыбнутся.

КОНИ

Кони – вьюга! Уносят, уносят...
Гривы, вспыхнув, звенят на ветру.
Эй, залётные! Волюшки просят.
Воли дай – разобьют на юру.

Всё, как было, пороша и хромка,
Полушалок цветной до бровей.
Лунным вихрем клубится позёмка
От подкованных свистом саней.

Коренник рвёт поводья, рыдая.
Пристяжные хрипят по бокам.
Искроглазка моя дорогая,
Я тебя никому не отдам.

За любовь, за народные песни,
За себя мы ещё постоим,
На руках твоих древние перстни
Отогрею дыханьем своим.

Нам по нраву ожоги позёмки
И к лицу деревенский наряд.
Нашу борзую тройку в потёмки
Зря мечтает угнать конокрад.

Погляди – над полями, лесами
Расступается дрёмная мгла!
Соловьём заливаются сани.
Кони – вьюга! В крови удила.

ВЕЧЕР В ТАЙГЕ

У ключа, в седом распадке,
Прячет мгла зимовье наше.
От дымка берёзы сладкой
Снег на крыше в бурой саже.
Чуть подальше от кострища
Вьются лайки у корыта:
На ночь кормим их досыта,
Вспыхнет день – в тайгу усвищут!
Нам таких как раз и нужно –
Хоть на зверя, хоть на птицу!
В низких сенцах наши ружья
Дулом вверх висят на спицах.
Хорошо у нас в зимовье!
Печь в углу красна от жара.
И к столешне изголовьем
Возле стен приткнулись нары.
Сохнут шкурки на тычинках,
Обезжиренные ловко:
Что ни белка – в серебринках,
Чернохвостки и огнёвки.
Сохнут мокрые обутки,
Рукавицы, опояски...
Сыпь, напарник, прибаутки,
Я – охотничьи побаски!
Вечер долог. Спееет ужин.
Мы патроны заряжаем.
И глядит в оконце стужа
Любопытным горностаем.

БЛАГОДАТЬ

Весь день пронзительно и ясно
Струится в окна синева.
Дырявым неводом на прясле
Висит увядшая ботва.

Осел на голом огороде
Дымок вчерашнего костра.
Свершилось таинство в природе –
Утихла страдная пора.

И успокоенностью веет,
И светлой радостью земной...
В ботве картошина желтеет,
Как самородок золотой.

ПРИГОВОРЁННЫЕ

Лесоповальные кочевья
Устало спят в искристой мгле.
С тайгой прощаются деревья,
Приговорённые к пиле.

Они, живые, понимают,
Что вспыхнет день – и рухнут в снег...
Друг друга молча обнимают,
Как человека человек!

ГАРЬ

Больно, и горько, и грустно
Видеть оследья пожарищ.
Жёлтыми птахами грузди
В страхе к берёзе прижались.

Ищут сгоревшие гнёзда
С жалобным свистом синицы.
Будто ступаешь на гвозди
В прах кашкары иль брусницы.

Светится в сумерках мутно
Пепла дрожащая проседь...
Родину ль нашу кому-то
Вздумалось выжечь и бросить?

ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ

Николаю Рубцову

Любовь земная, ты неугасима!
Лес, увядая, вспыхнул от мороза.
Гори, гори, осенняя осина,
Гори, гори, осенняя берёза.
В такое время громче зов природы.
Бурлят в реке зловещие закаты.
Как мало вас, оставшиеся годы,
Как много вас, разлуки и утраты.
Ловлю рукой огонь на ветках тонких
И говорю: о, молодость, воскресни!
А мне в ответ, блуждая как в потёмках,
Выводит ветер жалобные песни.
Но журавлей своих не окликаю,
Их не обманет древняя дорога.
Я всё, как есть, на свете принимаю,
Познав тоску отцовского порога,
Любовь земная, ты неугасима!
Лес, увядая, вспыхнул от мороза.
Гори, гори, осенняя осина,
Гори, гори, осенняя берёза.

ЗАРЕВОЕ

Вниз по Лене качусь, как с горы.
Лёгкий шитик летит, как стрела.
Невесомые капли зари
Ветер ловит губами с весла.

На стремнине играет ленок.
В струях утра поры благодать.
На кипящей развилке проток
Табунится утиная рать.

Ты, ленок, на стремнине играй.
Ты, утиная рать, табунишь.
О задумчивый северный край,
Заревая небесная высь!

Брошу камешек в розовый свет,
Своему озорству улыбнусь.
Нежно скажет река мне в ответ
Молодое и вечное: Русь...

ОСЕННИЙ РОМАНС

Твои глаза – пронзительная осень.
Сияй, сияй, прощальный свет любви!
Летит с ветвей осиновая озвень,
Но ты её разлукой не зови.
Перебирает солнечные струны
Задумчиво и скорбно старый лес.
Кружа листву, поют речные струи,
Что создан мир из боли и чудес.
Бессмертна жизнь, а время быстротечно,
Как музыка серебряного дня!
Взойдёт звезда – и ты уйдёшь навечно,
Прощальным светом ослепив меня.
Забуду я о грёзах летней сени,
В чужом краю меня забудешь ты.
Рассеет ночь по травам наши тени –
И нежно вспыхнут поздние цветы.

У РОДНИКА

Что молчишь, туманный мальчуган?
Расскажи: о чём болит душа?
Надломился дедовский таган,
И погас костёр у шалаша.

Спит давно в земле наивный дед –
Так и не дождался светлых дней;
Ты его дыханием согрет,
Был он самым добрым из людей.

Помнишь, как тебя из туеска
Хвойными отварами поил?
Ты пришёл сюда издалека,
Чтобы вновь набраться свежих сил.

Сколько вёсен, сколько родников
Отбурлило в сердце с тех времён!
Надышался зноем городов,
Сединой до срока опалён.

Обнови надломленный таган,
Оживи костёр у шалаша.
Что молчишь, туманный мальчуган?
Расскажи: о чём болит душа?



Гоняет январский студёный ветер друг за другом тьму со светом, взбалтывает их в серый день и ясную лунную ночь. Катится в этой стуже людская волна смертей и рождений: где-то кто-то умер, а где-то кто-то родился.

На одном краю России умер пролетарский вождь, и в ту же минуту на другом краю родился ребёнок, которому было суждено жить под тенью умершего, которая ещё долго крыла, казалось бы, призрачным, на самом деле, реальным и тяжёлым весом огромный кусок человечьей земли. Словно

скрепляя незримую связь между этой смертью и новой жизнью, нарекли младенца неведомым ранее и не прижившимся после именем Пролетарий. Едва пополз Пролетарий по избе, как набил шишку на лбу, врезавшись в лавку, и заревел, а кто из родных первый придумал, то ли прикрикнув, то ли пожалев, вариацию «Пролетарка» – не известно. Но так и осталось с ним на всю жизнь это чудное имя.

Пролетарий Чикильдин увидел свет в отдалённой забайкальской деревеньке, крепко вцепившейся двумя десятками изб за подошву небольшого увала с севера и далеко глядевшей на три других стороны широчайшего степного раздолья. Бедная деревенька далеко отстояла не только от больших, но и от малых дорог, поэтому приходилось её обитателям выживать, надеясь, прежде всего, только на себя. Свой хлеб, своё молоко и мясо – худо-бедно, но поначалу, до тридцатых годов, вроде, всего хватало. Правда, бегали деревенские детишки без штанов чуть ли не до подросткового возраста, одеваясь в длинные рубахи до колен, перепоясанные верёвочками. С весны ранней до осени поздней – босиком, наращивали на ступнях свои собственные подошвы, легко ступая потом по степным колючкам.

Семья Пролетаркина могла быть большой. Сколько братишек и сестрёнок появлялось в доме, он по малолетству и на памяти не удержал, да все умирали в младенчестве. К его шести-семи годам остались из детей они вдвоём с сестрёнкой Октябриной. Видимо, пролетарский бог метил своим вниманием только их за угодные ему имена.

Октябриня тогда уже ходила в школу, и одни на двоих унтишки больше доставались ей. Пролетарка же почти целыми зимними днями проводил время на русской печи. За неимением игрушек гонял тараканов взад-вперёд, нисколько их не боясь и не брезгуя, сызмальства помнил – они всегда были перед глазами. Иной раз удавалось Пролетарке завладеть пустым спичечным коробком. Тогда он до отказа набивал коробок тараканами со своей печи, выскакивал босой, в одной рубашке на крыльцо и мчался по снегу через улицу в соседний дом к своему дружку Кольке Косареву, точно так же коротавшему зиму на своей печи. Одним махом Пролетарка взлетал на печку к Кольке и первым делом грел схваченные морозом бока и ноги. Потом они выпускали из коробка

по одному Пролетаркиных гостевых тараканов. А те мгновенно осваивались в новой обстановке и мчались прятаться кто куда. Ребятишки лучинками гоняли их по всей печке, потом ловили местных тараканов и смешивали с пришлыми – женили. Наигравшись, набирали в Пролетаркин коробок новую партию – на развод, – и тот мчался обратно к себе.

В сумерках долго не зажигали лампу, берегли керосин. Только ближе к ночи мать, словно исполняя ритуал, поджигала фитиль, накрывала воспаривший огонёк ламповым стеклом, и изба озарялась неярким тёплым светом.

Отец возвращался уже к зажжённой лампе, и семья Чикильдиных садилась ужинать. Еда была простая, но её хватало. Ужинали обычно, доедая обеденные щи, зимой с мясом, летом на сале. Всегда парила отварная картошка, солёные огурцы и капуста не сходили со стола. Вдоволь напивались молока. По утрам макали испечённый пышными ковригами хлеб в сметану, разбавляли творог мёдом. Обедали опять щами, картошкой, жареной на сале до тёмной позолоты и сладкой хрупкости. Кусочками мягкого хлеба вымакивали растопленное сало, дочиста вытирая сковороду.

Пролетарка иной раз, за особо вкусной едой, глядя в Октябринкину миску, жадновато тянул: «А Рянке-то больше, а Рянке-то больше!» Отец тогда, облизнув деревянную ложку, щёлкал ею сына по лбу: «Не жадись!» Через какое-то время урок отцовский забывался, и Пролетарка опять получал ложкой по лбу.

Когда заводилась в деревянном ушате квашня для нового хлеба, наступал праздник. Пролетарка в такой день не сходил с кухни, наблюдая чудо-подъём теста. Оно незаметно заполняло ушат до краёв, потом пышной шапкой взбухало и пыталось выплыть наружу. Мать кулаками вминала тесто обратно, но оно опять упрямо шло вверх и стремилось сбегать из ушата. Иной раз, углядев такое, и Пролетарка мял тёплое тесто, а оно в ответ тяжело вздыхало, как живое.

Потом стряпались ковриги. Круглыми белыми пологими сопочками они на деревянной лопате уходили в самый жар русской печи. Пролетарка с Октябриной мостились где-нибудь в уголке и ждали выхода в свет пухлых, уже как крутые коричнево-седые сопки, свежих ковриг. Едва дав им остыть, хватали по большому куску этой несравненной пышноты и вкусноты и наслаждались поеданием хлеба, запивая молоком от своей добрейшей коровы Ночки. Хлеба со временем черствели, но никогда не портились, не плесневели, до последнего кусочка находили применение, заканчивая бытие вкуснейшими сухариками.

Любил Пролетарка смотреть, как мать доит корову. Раннюю, первую дойку он всегда просыпал. Но вечером, под самый закат, Ночка сама приходила к дому, гулко мычала, тыча рогами в ворота, и быстро шла к стойке, качая тяжёлое вымя. Мать обнимала корову, гладила её, что-то шептала, а та глядела на неё тёплыми выпуклыми глазами, помахивая хвостом и гоняя мух. Потом мать садилась на маленькую табуретку, и тонкие струйки начинали звенеть в ведро.

Иной раз корову доил отец, всегда маскируясь, надев женин фартук и её платок. Пока он доил, Ночка, повернув голову, внимательно и недоуменно смотрела на него. Молока отец всегда надаивал меньше, чем получалось у матери.

Когда и как учредился колхоз, Пролетарка как-то упустил из памяти. Об этом времени осталась в воспоминаниях только суета взрослых. Они то сбивались в кучки, то расходились. О чём-то спорили мужики, окутываемые махорочным дымом, толковали меж собой хозяйки. Но хорошо запомнил, как еды

вдруг стало меньше: картошка да капуста, а по воскресеньям – мурцовка: разведённая в квасе тёртая редька с сухарями и варёной картошкой, одобренная ложкой подсолнечного масла.

Молока и сметаны не стало после того, как всех деревенских коров свели в колхозное стадо, загоняя их на ночь под дыроватую крышу сколоченного кое-как коровника. Долго ещё коровы после выпаса в летние дни упрямо тянулись по своим дворам. Ночка по привычке стучала рогами в ворота Чикильдиных и недоуменно мычала: почему не выпускаете? Мать выбегала к ней, обхватывала за шею, приникала к голове, плакала и причитала, называя доченькой. Пролетарке чудилось, что и Ночка плачет, и у неё в глазах слёзы.

Осенью от дождей и ветров, прошивавших коровник и сверху, и с боков, коровы начали болеть, и их опять раздали по прежним хозяевам на зиму. От простуды Ночка долго хворала, а мать не находила себе места, всё старалась скормить ей что-нибудь получше и напоить чем-нибудь тёпленьким.

Голод тридцать третьего года в Забайкалье не был таким жестоким, как на Украине и в центре России. Но и здесь подтянуло животы у всех. Пришлось попробовать хлеба с лебедой да супа из крапивы. Впервые Пролетарка по-настоящему ощутил, что такое голод. Не тот, который время от времени, а постоянный, кажущийся навсегда, доводивший до отчаяния и страха, что этот кошмар уже на кончится...

Однако по осени голодуха отступила, и в девять лет Пролетарка пошёл в школу. Теперь у него были настоящие штаны, рубаха-косоворотка с пояском, а на зиму – унты и телогрейка.

В деревне на двадцать дворов была школа-четырёхлетка. В избе, где жила учительница, в два ряда стояли несколько парт. В одном ряду – первый и второй классы, в другом – третий и четвёртый. Какое образование было у самой учительницы, бог весть, но за четыре года ей удавалось обучить всех читать и писать, знать четыре правила арифметики и кое-что по истории, географии и литературе.

Учебники перед каждым сентябрём привозила автолавка, и кто покупал, тот и мог их читать сколько влезет – по желанию, так как двоек учительница никому не ставила, как, впрочем, и пятёрок, и исправно переводила всех учеников в следующий класс. А так – не знал урока, ну и ладно. Шлёпнет по лбу линейкой, и на этом конец. Пол-урока с младшими, пол-урока со старшими. Знаний, конечно, особых не приобреталось, но и желающих обучаться по-другому тоже не было. Так что однажды на уроке по природе края старшие ученики вполне серьёзно отнесли к хищным зверям наряду с медведем и волком некоего бабайку. Однако объяснить, кто это, не смогли.

Учительница жила с семьёй в другой половине избы. Как и у всех, мужик работал в колхозе, а огород был на ней. Так что продолжительность уроков она устанавливала сама. Когда хотела, объявляла, что урок окончен и все могут идти по домам. Впрочем, часов всё равно ни у кого не было, и временем она распоряжалась по вольному. Тут же в классе учился и её сынишка, так же, как и все. Единственно, что иной раз она устраивала ему выволочку прямо на уроке за домашние провинности. А однажды, за какую-то особую его шкоду, выхватила невесть откуда ремень и гонялась с криками за ним по всему классу. А он бегал вокруг парт и тоже орал благим матом. Другие же детишки только головами крутили за этой каруселью.

Школа-семилетка располагалась в другой, большой деревне, но никто и никогда туда не стремился.

После четырёх лет учёбы тринадцатилетний Пролетарка оказался на подсобных работах. В основном, в то лето он пас деревенское маленькое коровье стадо и свою Ночку. Вставать приходилось очень рано, ещё затемно, уводить стадо и в туман, и в дождь. Во всякую погоду бегать за коровами, сгоняя в кучку и по камням, и по колючкам, выгонять из реки – не дай бог какая потонет или в яму забредёт – ноги поломают. Держи тогда ответ, Пролетарка! Почти в темноту он пригонял коров обратно. Намучился за это лето, сказать как нельзя.

Особенно досаждала одна коровёнка, Пеструха. Она постоянно пыталась уйти то в огороды, то ещё куда. Однажды в погожее утро как-то дружно вели себя коровы, спокойно пощипывали траву, нехотя двигаясь по теплу. Пролетарка присел на бугорок, откинулся на плотный тальниковый куст, как на подушку, придремнул, а потом и вовсе – как провалился в глубокий сон. Очнувшись от толчков под бок и шумного пыхтения. Открыл глаза и от досады и злости закричал что есть мочи. Оказалось, во сне он скатился на бок, а там, где сидел, остался завёрнутый в тряпицу кусок хлеба и бутылка молока. Пеструха подобралась к нему, учуяла хлебный запах, растолкала носом тряпицу и зажевала всю Пролетаркину еду на целый день. Да ещё столкнула с бугорка бутылку с молоком, та покатила вниз, бумажная затычка выскочила, и почти всё молоко вытекло на землю.

Пролетарка хлестанул Пеструху бичиком, та заревела и помчалась на огороды. Он, пытаясь остановить её, схватил за хвост и пробежал за ней несколько шагов. И тут Пеструха выстрелила в него из-под хвоста жидкой струёй, окатив с головы до ног вонючей жёлто-коричневой липкой смесью. Пролетарка выпустил хвост, упал в траву и зарыдал так, как никогда не плакал, от жалости к самому себе. Больше пожалеть его было некому. Только остальные коровы, перестав щипать траву, подняв морды, вопросительно уставились на пастушка. Потом Пролетарка долго стирал в речке одежонку, оттирая коровьи испражнения песком, мылся сам. Целый день ходил голодный и во всём мокром. Вечером, чтобы никто ничего не заметил, наспех поел варёных картошек и упал спать на свой топчанчик, положив одежду, ещё не совсем просохшую, подальше от глаз матери и отца.

Давно уже запала ему в голову мечта о заправской солидной одежде: синих брюках-галифе, хромовых мягких сапогах, кителе-сталинке и фуражке с околышем, как у уполномоченного из района, которого он видел один раз, когда тот приезжал в деревню. Легко спрыгнув с брички, уполномоченный сурово глянул на председателя сельсовета, а тот подобострастно в чём-то начал оправдываться. Сапожки поскрипывали, галифе раскинули лопасти-крылья – казалось, не сам он шёл, а они понесли уполномоченного по деревне. Пролетарку, одетого в одну длинную рубашонку, без штанов, босого, неведомая сила долго гоняла вслед за этими расчудесными синими галифе. А после досадного случая с Пеструхой мечта стала неотвязной.

На следующий год Пролетарка считался уже полноправным колхозником, как, впрочем, и его сверстники, и выполнял вместе с ними любую работу. Видимо, от раннего труда и не очень сытной колхозной еды – все они остались малорослыми и худоватыми.

Так и шла Пролетаркина жизнь: поле, огород, скотный двор, где он уже к шестнадцати годам числился опытным свиноматом. Вечером простая еда, не всегда в досталь, картошка да капуста, а больше и ничего. Даже снов он практически не видел ночами. Нечему было сниться. Ничего не видел в своей краткой ещё жизни Пролетарка, да и особо не слышал ничего, кроме разговоров о

хозяйстве и нищем житье-бытье. Единственно радовался он, не зная почему, когда приходилось по какой-либо надобности выходить в степь. Тогда вдруг распаивался перед ним необычайный степной простор, весной и в начале лета весь зелёный с оранжевыми полянами жарков и красными – маков. Любил он и сухую июльскую и августовскую желтизну степи. Потому что в любое время года стояло над головой голубое чистое забайкальское небо, золочённое жарким солнцем и лишь слегка забелённое лёгкими пенками облаков.

Хорошо ему было и сладко дышалось даже в осеннее ненастье, когда холодные ветры гоняли по степи шары перекасти-поля, а птицы сбивались в стаи и с хорошо слышимым шуршаньем сотен крылышек пикировали то на речной берег, то ещё на какое, ведомое только им место. Даже гортанные хриплые крики вороньих стай не пугали его. Только томила сердце какая-то неизъяснимая грусть – сладкая и тоскливая одновременно.

Потом началась война. До деревни, где тогда не было радио, эта чёрная весть пришла только через два дня. Два дня на западе страны всюду гуляла смерть, а здесь, в забайкальской глуши, задержалась мирная жизнь.

После митинга у сельсовета человек из района раздал повестки двадцать третьему году и ниже. Как кто слизнул лучших мужиков, отца Пролетаркиного тоже, оставив подростков и женщин с малышней.

Через какое-то время пошли похоронки. А в сорок втором призвали на фронт и двадцать четвёртый Пролетаркин год. Небольшой кучкой, всего-то несколько человек, добирались они на телегах почти три дня сначала до райцентра, а оттуда до железнодорожной станции, где формировался военный эшелон.

Здесь Пролетарка впервые увидел железную дорогу. Из книг, учебников, он представлял её себе металлической, плоской и широкой лентой, опоясавшей страну, по которой катят паровозы на колёсах, вроде как автомобильных. А тут перед ним лежали две параллельные металлические макароны с деревянными поперечинами, вправо и влево уходящие за горизонт.

Пролетарка, присев на корточки, долго щупал рельсы и не мог понять, как же это по такой нелепой дороге может двигаться паровоз. Только когда подогнали эшелон, он кое-как усвоил эту на самом деле простую и гениальную технику.

Тут же, у вагонов-теплушек, которые потом, когда набили их народом до отказа, иначе как вагонами-толкушками никто и не называл, всех новобранцев обмундировали, и Пролетарка впервые в жизни надел брюки-галифе. Конечно, эти, солдатские, были далеки от предмета его мечтаний: синих диагоналевых галифе-крыльев, но всё же отдалённо их напоминали. Они оказались ему велики, хоть в длину, хоть в ширину, превратили его не в крылатого орла, а в мятую фигуру, отдалённо напоминающую шар. Всё было не по росту. Брюки пришлось в поясе стягивать так, что и спереди, и сзади они сидели на Пролетарке узлами-мотнёй. Ноги в ботинках болтались, обмотки на его тонковатых и мосластых ногах никак не ложились ровно. Гимнастёрка висела до колен, а шинель доставала чуть не до пят, благо ещё стояло лето. Зато она хорошо укрывала его по ночам, как одеялом. В общем, когда вставал Пролетарий Чикильдин во весь свой немудрящий рост, то выглядел не солдатом Красной армии, а карикатурой на него. Вся одежда была ношенная, много раз стиранная, нижнее бельё из белого давно стало серым.

Потянулась дорога. Не ясно были мысли, пустыми и легкомысленными разговоры. Никто не хотел будить страх и тревогу войны.

Наконец прибыли на какую-то прифронтовую станцию. Долго стояли. Здесь всех построили, разделили повзводно, представили командиров, выдали винтовки, показывали, как их заряжать, целиться и стрелять. Потом снова погрузка по вагонам, и паровоз, пустив пары, без гудка двинулся дальше. Близость войны, казалось, сделала осторожной и эту железную машину. Пролетарке представилось, что паровоз крадётся, пригнувшись всеми трубами, тендером и даже вагонами.

Где-то через час послышалась стрельба, потом – едкий вой, грохот, вагон подбросило, состав резко затормозил. Что было в следующие несколько минут, осталось в памяти Пролетарки отрывочными кадрами. Вот он вместе со всеми выпрыгивает из вагона... вот со страшным грохотом и огнём вздымается земля... низко, прямо над головой проносится самолёт с крестами на крыльях... искажённые ужасом лица... горящий вагон валится на мечущихся солдат... Потом самолёты внезапно исчезли, сквозь треск пламени, крики и стоны слышались команды: собрать оружие, раненых, убитых.

Пролетарка то кидался к разбитым вагонам, помогая вытаскивать из-под обломков покалеченных и обгоревших, то тащил в указанное место подобранные вдоль насыпи винтовки и коробки с патронами, то брался помогать санитарам, которые сосредоточенно и без паники перевязывали раны. Здесь он и услышал, что паровоз разбит прямым попаданием бомбы, железнодорожный путь разрушен, и что делать дальше, пока никто не знает, потому что связи нет, а раненых и убитых очень много...

Откуда взялись фашистские бронетранспортёры, почему никто не обратил внимания на шум моторов, бог весть, но истошный крик: «Не-емцы!» – резанул по слуху вместе с глухим треском пулемётов. Приказ укрыться за насыпью и отстреливаться успели выполнить далеко не все: кто-то уже сломя голову бежал к лесу, кто-то рухнул наземь, скошенный первыми пулемётными очередями. Пролетарка неожиданно ловко скатился за насыпь, укрылся за колесом вагона и начал стрелять в выскакивающих из бронетранспортёров солдат. Приклад сильно бил в плечо при отдаче, он прижал его плотнее, уложил левую руку под цевьём на рельс и, кажется, попал. Фашист, в которого он целился, взмахнул руками и упал в траву. Слева и справа от Пролетарки тоже наладилась стрельба, и немцы залегли.

Командир приказал санитарам взять несколько солдат и относить раненых вглубь леса. Ещё двоих отправил за оставленными на той стороне насыпи боеприпасами. Сам же быстро оббежал залёгших бойцов, распорядился зря не высовываться, стрелять наверняка, беречь патроны. Запас их был невелик, всего ничего, что было дано эшелону в дорогу.

Немцы атаковать не спешили, ждали, как оказалось, подмогу. Вскоре на их стороне появилось небольшое орудие, которое прямой наводкой один за другим разнесло оставшиеся вагоны, взрывы и осколки отняли немало жизней. Укрывавшиеся за насыпью бойцы без команды бросились к лесу. Пролетарка пару раз выстрелил в орудие и покатился шаром вниз, одеждой цепляя кусты. Немцы быстро добежали до оставленных позиций и стали обстреливать наугад лес, где укрылись наши бойцы. Туда же полетели и снаряды. Эта пальба разметала толком не состоявшихся красноармейцев в разные стороны, так что были потеряны и раненые, и командир.

Пролетарка и ещё трое таких же бедолаг долго бежали по чащобе неизвестно куда, расхлёстывая ветками лицо и руки в кровь. Наконец они выбрались на какую-то лесную дорогу, едва заметную двумя колеями в траве.

Посоветовались и решили двигаться по ней на восток, к своим. Заночевали в стороне от дороги, а утром опять зашагали по ней в том же направлении, уже мучаясь от голода, благо хоть вода была в изредка попадававшихся на пути мелких ручейках.

Удивительно, но никакого страха Пролетарка не ощущал. Ни во время бомбёжки, ни во время перестрелки. Ему не было страшно, когда стреляли в него, спокойно пускал и он свои пули во врага. Как будто бы это была просто работа. Обычная работа, к которой он привык с ранних лет. Больше того, когда началась стрельба, на него нахлынула такая яростная злость, такое пренебрежение к смерти, что даже стало зло-весело, и он криво заулыбался, хрипло матерясь и стискивая зубы.

Где-то к полудню они присели у дороги передохнуть и задремали, кто как повалившись на траву. Тут и застигли их немецкие мотоциклисты, резво выскочившие из-за поворота. Только один успел вскочить и вскинуть винтовку, но его тут же прошили очередью из автомата...

Оставшимся велели снять ремни и погнали их перед мотоциклами бегом в обратную сторону. Пролетарка задыхался, истекал потом, исхлётанное вчера до крови ветками лицо немилосердно жгло. Вскоре он стал спотыкаться, путаясь в своей непомерно большой одежде, и, наверное, упав, оборвал бы тем самым нить уготованной ему непростой судьбы. Но лесная дорога неожиданно вывернула на шоссе, где уже толпились другие пленные. Словно только и ждали прибежавших, всех построили в колонну, повели на запад. Пыль и жара повисли над ними. Лица быстро потемнели от грязи, исполосованной струйками пота. Сухо стучали по дороге их башмаки, стонали раненые. Падавших и обессилевавших тут же пристреливали. Страшно мучили голод и жажда. Пролетарка брёл как в тумане, ни о чём не думая, глотая пыль и пот.

Наконец их довели до большого поля, окружённого высоким рядом колючей проволоки и наполненного массой пленных солдат. Внутри колючки она шевелилась, как жидкая каша в котле. То там, то тут вспухала и опять опадала. Втолкнули в эту кашу и Пролетарку. Мгновенно растворилась там его колонна, как подброшенная в котёл горсть зерна.

Где-то под вечер подвезли бочку с водой. Никакой посуды не было, набежавшая толпа подставляла под струю из бочки пилотки и ботинки. Пили, хрипя и рыча, как зверьё, втыкая друг в друга горящие нечеловечьим огнём взгляды. С другой машины двое немцев начали раскидывать в толпу сухари. Один кидал, а другой бил палкой куда попало особенно распалённых в образовавшейся давке пленных. Оба хохотали от этой забавы.

Через несколько дней погнали дальше. Кто мог идти – шёл. Многие остались лежать на земле то ли больные, то ли мёртвые. Вскоре за спиной колонны послышалась стрельба...

Попал Пролетарка в перевалочный лагерь где-то в Белоруссии. Пленных загнали в дощатые бараки без окон, с квадратными маленькими проёмами вверху, затянутыми колючей проволокой. Сарай сараем: пол, стены, крыша. Сидеть и лежать пришлось прямо на полу. Вечером прошёл дождь, и сочившиеся сверху струйки ловили жадными ртами, отталкивая друг друга. Так, без еды и питья, прошло два дня. Опять ночью спасал дождь и дырявая крыша.

Наутро всех выгнали из бараков и выстроили в линейку. Подошла группа офицеров, один из них по-русски объявил, что они пленные. (Будто сами не знали!) Сейчас будет отбор на работу в Германии, на заводы и в сельское хозяйство. Возьмут тех, кто пробежит сто метров. Немец показал рукой в сторону,

где стояли группой солдаты с автоматами. Кто не сможет – концентрационный лагерь. «Айн, цвай, драй»! – скомандовал он. Толпа ринулась бежать, казалось бы, такие короткие сто метров, но голод и раны сделали своё дело – добежала едва ли половина. Пролетарка с ними. Остальных пинками подняли с земли и загнали обратно в барак. А тех, кто добежал, повели в другую зону и выдали по черпаку баланды и куску хлеба с опилками.

Эшелон с пленными пересёк границу Германии. Это было заметно по особому аккуратному обустройству местности, практически не тронутой войной, по надписям и указателям на немецком языке. На станции вагоны растащили по разным тупикам для распределения.

Пролетарку вместе со всеми вытолкали из вагона. Подошёл офицер и несколько гражданских. Гражданские были одеты как на подбор: простые брюки, заправленные в сапоги, жилетки поверх курток, и все в короткополых шляпах. Но главное в их фигурах, скорее пузатеньких, чем подтянутых, глазах и спокойных лицах – сквозило впервые замечаемое во врагах какое-то любопытство и даже дружелюбие.

Офицер едва понятно на русском языке прокричал, что нужны сельхозработники. Кто обманет, что он крестьянин, расстреляют немедленно. Строй пленных качнулся было весь, но, уже наученный неотвратимостью немецких обещаний, удержался, выпустив из себя только группу доходяг, в том числе и Пролетарку. Гражданские подошли ближе и стали что-то говорить переводчику.

– Свиноары ест? – крикнул тот.

Пролетарка шагнул вперёд. К нему придвинулся один из толстячков и через переводчика спросил, что надо делать с боровом, пока он не пошёл в рост.

– Рвать клыки и кастрировать, – на автомате ответил Пролетарка.

– Гут, – одобрил немец, а солдат из конвоя дулом винтовки подтолкнул Пролетарку к толстячку. Тот с офицером о чём-то поговорил, что-то подписал, они пожали друг другу руки.

– Ком, ком, Иван, – новоиспечённый хозяин кнутовищем, как когда-то Пролетарка лучником таракана на печке, направил его к лошади, запряжённой в телегу.

Так Пролетарка оказался в хозяйстве герра Лишке, и счастливейшим образом спас себя от неминуемой смерти в концлагере.

Во всей его короткой восемнадцатилетней жизни это была вторая редкостная, одна на тысячи, удача, если первой считать рождение, что, впрочем, позже он порой, наоборот, расценивал как самое большое своё несчастье. В те же часы тряского пути по брусчатке Пролетарка думал только о том, когда его накормят и позволят глотнуть воды. Последний раз черпак баланды и кусок опилочного хлеба был в его желудке так давно, что он и не помнил.

Когда приехали – уже стемнело. Хозяин повёл Пролетарку среди каких-то построек, поправляя его шаг кнутовищем, похлопывая им по бокам. Вскоре они оказались в просторном свинарнике, где в углу за загородкой был топчан, покрытый сеном.

– Иван, ком, – проговорил немец, подтолкнув Пролетарку к топчану, а сам вышел, но вскоре вернулся, бросил на топчан верблюжье одеяло и большую старую солдатскую шинель. Главное же принёс фляжку с водой и небольшой кусок хлеба, помазанный слегка джемом.

Пролетарка проглотил этот хлеб из чистого пшеничного зерна, почти не жуя, и запил водой. Его желудок, который давно отвык от такой еды, тот-

час растворил пищу полностью, извлекая всё, что там было полезного. Спал Пролетарка глубоко и без сновидений. А рано утром хозяин поднял его тычком кнутовища, с кнутом он, видимо, не расставался никогда, показал свинарник, лопату, вилы, тачку, другой нехитрый инструмент, махнул возле клеток со свиньями рукой: «Ком, Иван, шнелле», – мол, давай, работай.

Дело простое. Пролетарка знал, что к чему. Уж в свиньях он разбирался! Схватив лопату, он влез в первую клетку и начал выгребать навоз. После долгой езды на фронт, бомбёжки, боя, бегства, а потом плена и всех его ужасов, здесь Пролетарку охватил азарт простого труда. Он кинулся в работу, как в праздник, и уже больше никогда не терял этого весёлого чувства, дававшего лёгкость, силу и даже радость от нахлынувшего покоя, такого чувства, какого он потом не испытывал никогда, но запомнившегося до конца жизни.

Полное отсутствие какой-либо охраны Пролетарка долго не замечал, упиваясь сладостью простого крестьянского труда, а другого он просто и не знал. Всё же скоро пришла мысль о побеге. Он вспомнил приказ номер 270 «Ни шагу назад», где плен приравнивался к измене Родине, что долгими днями продвижения к фронту тщательно вдавливал в головы новобранцев политрук.

Бежать было легко. Да вот беда: не знал Пролетарка, в какой стороне Советский Союз, где он сейчас находится, далеко ли до фронта. Куда бежать? Не учил он географии, пользуясь попустительством учительницы, ничего не знал о сторонах света, материках и континентах, странах и их границах.

Пока размышлял, случилось страшное. Герр Лишке как-то со злым лицом заговорил с ним:

– Нихт, Иван, – показал он пальцами бегущую фигуру. – Нихт лауфен...

Кое-как понял Пролетарка, что где-то в соседней деревне сбежал от хозяина пленный. Его быстро поймали, избили палками и лопатами, переломав все кости, а потом ещё живого закопали в яме, сверху землю разровняли. И нет человека. Лишке строго погрозил Пролетарке пальцем.

Потекли дни. Большой свинарник герра Лишке, на взгляд Пролетарки, был невероятно чист и опрятен. В полном порядке подразделялись по возрастам свиньи и поросята. Отдельно солидно и лениво возлежал огромный серый боров-производитель, похожий на длинную толстую бочку. С утра пораньше запарить им еды: картофеля, ботвы или травы, – намешать с комбикормом, натолочь, потом разложить по кормушкам строго по ранжиру и расписанию. Потом уборка начисто несколько раз на день, да недельное мытьё свиней и поросят – вот и все обязанности.

Пролетарка теперь всегда высыпался, хоть и вставать приходилось рано. В работу бросался, как в состязание, энергично и быстро делал все дела, так знакомые с детства. А главное, старательно и качественно. Лишке сразу заметил такое Пролетаркино рвение и уже скоро панибратствовал с ним. Дружески похлопывал по плечу и говорил: «Я читать Пучкин, сказка. Карашо».

Когда Пролетарка начал понимать по-немецки, то их разговоры бывали и подольше и разнообразнее.

– Пусть бы Сталин и Гитлер сошлись бороться сами: кто кого побьёт – тот и начальник, – любил повторять герр Лишке.

Раз в месяц Пролетарке выдавались деньги на сигареты и ещё что-нибудь, вроде семечек или яблок. Тогда он отпускаясь свободно на маленький деревенский рынок, где за аккуратными прилавками сидели, как сошедшие с картины, румяные опрятные фрау. Весов ни у кого не было, а возле чашек с продуктами имелись таблички: вес и цена. Проверять не требовалось. Всё заранее взвешив-

валось грамм в грамм и оценивалось до пфеннига абсолютно точно. Никто не торговался, а продавец и покупатель дружелюбно улыбались друг другу.

Хозяйское добродушие герра Лишке к Пролетарке объяснялось ещё и тем, что его взрослый сын не на Восточном фронте служил, а стоял в пограничной страже на тишайшей швейцарской границе, а дочь с мужем по его делам жили вообще в Южной Африке. Но у многих в деревне сыновья и мужья топтали украинские, белорусские и русские земли. Чем дальше, тем больше похоронных известий приходило с Востока, и хозяин перестал вообще отпускать Пролетарку со двора. Да и он сам уже чувствовал к себе неприязнь со всех сторон.

Всё шло своим чередом, Пролетарка привык, что его теперь зовут Иваном, привык к простому, но тёплому и сытному быту, простой и удобной одежде. Завтракал жареным на маргарине картофелем, обедал супом, иногда с мясом, вечером опять картошка с салом и всегда много овощей и молочных продуктов. Всё свежее, вкусно приготовленное и опрятно поданное. Иногда Пролетарку посещала не очень приятная мысль, что в плену ему живётся лучше, чем когда-либо.

Но не умел он много думать, больше любил смотреть на что-нибудь или слушать. Только всё чаще испытывал острые, изматывающие душу тоской чувства. Так хотелось обратно в Забайкалье, в степь, к родным: к матери, отцу, сестрёнке. Вот на возвращение своё, а был уверен, что всё равно вернётся, думалось Пролетарке развести такое же хозяйство, как у герра Лишке: свиней десяток, две коровы, овец. Жить своим хозяйством, не знать начальства, уполномоченных всяких, агитаторов и пропагандистов. Вставать утром до зари, кормить животных, потом чистить их, пасти, опять кормить, сбивать сливки, сметану, масло, садить большой огород, чтоб картошки хватало на прокорм и себе, и скотине. Праздники справлять, гулять по деревне: ранней весной на Пасху, по ясному солнышку, на Покров – по первому снежку; ну и, конечно, выпивать с соседями, такими же трудягами, по чарке.

Сбудется ли это когда-нибудь, не знал Пролетарка, но только от одних таких мыслей сладко становилось на душе.

Война тем временем уже давно покатила на запад, и никто в немецкой деревне не сомневался, что скоро Гитлеру капут. Герр Лишке стал разговаривать с Пролетаркой о ближайшем будущем. Что делать? Ждать и надеяться на милость Красной армии, или перебираться ближе к американцам? Или вообще через Швейцарию – к зятю, в Южную Африку? Если уезжать – хозяин сманивал с собой и Пролетарку:

– Ты работник хороший, честный, везде проживёшь и бедным не будешь. Говорить научился немного. Женишься на какой-нибудь вдове с хозяйством, что ещё нужно. В России пропадёшь, Сталин сразу тебя расстреляет.

Пролетарка ни о чём не хотел думать. Было так хорошо и легко: просто жить и всё, и больше ничего не надо.

Но ни герр Лишке, ни многие другие так никуда и не уехали до самого подхода Красной армии, которая поджала фашистов к самой деревне, и она наполнилась солдатами, орудиями и беженцами, разместившимися почти в каждом доме.

Когда бой пошёл уже за деревню, Пролетарка остался один. Лишке и его жена куда-то исчезли, бросив абсолютно всё, словно испарились. Пролетарка залёг в свинарнике, слушая стрельбу и справа, и слева. Внезапно в свинар-

ник вбежала эвакуированная с войсками немка, которая остановилась в доме Лишке.

– Иоганн, Иоганн! – закричала она, увидев Пролетарку. – Майн беби! Майн кляйнес кинд! – плача, она тыкала рукой в хозяйский дом, по стенам которого щёлкали пули, рассадив все стёкла в окнах. – Беби! Кляйнес! – беженка хватала Пролетарку за руки, показывала на дом.

Он сообразил, что в доме остался её грудной ребёнок и его нужно оттуда вынести, так как какой-то немецкий солдат, забравшись на чердак с пулемётом, поливал плотным огнём наступающих красноармейцев. Видно было, как они со своей стороны, прячась за дом соседа, выкатывали на прямую наводку пушку. Как когда-то в сорок втором, в бою на насыпи, Пролетарку вдруг охватила лихая яростная радость игры со смертью. Он выскочил из свинарника и, петляя как заяц, помчался в дом, там быстро сориентировался на плач ребёнка, схватил его и рванул обратно. Видимо, кто-то свыше берёт его, а может, просто он уже не интересовал как мишень ни тех, ни других. Посвистывая, пролетали пули со всех сторон, Пролетарка ещё не добежал до свинарника, когда ухнула пушка, снаряд вонзился в дом, разорвав его, как ватную тряпку, осыпая кирпичами и осколками то место, где секунды назад был он с ревущим младенцем на руках.

Выхватив ребёнка, беженка упала на колени и стала целовать Пролетарку руки.

– Данке! Данке! – захлёбывалась она в плаче. – Данке, Иоганн!

Но едва он отнял от неё руки и не успел толком взглянуть на дом, как она исчезла, словно испарилась. Больше он никогда её не видел. Возможно, хозяин на всякий случай, тайно от Пролетарки, подготовил где-то схрон, о котором знали только немцы.

Так и остался Пролетарка сидеть в свинарнике до того момента, когда уже последний немецкий солдат был или добит, или выгнан из деревни.

Заслышав почти забытую за три года русскую речь, Пролетарка вышел на свет и сразу же наткнулся на группу красноармейцев.

– Халът! – закричали они, наставляя на него автоматы с висящими бубликами патронных дисков. Он такие видел впервые. И, словно впервые, он увидел и своих русских солдат, совершенно не похожих на тех новобранцев из сорок второго года. Перед ним стояли уверенные в себе, в своих силах, плотные, крепкие мужики в доброй, хоть и простой одежде, все в сапогах, спокойно и даже с какой-то озорной, насмешкой глядевшие на него, обряженного в немецкую одежду и с пирожком солдатской пилотки на голове.

– Я свой, русский, здесь был в плену, – торопливо заговорил Пролетарка, дивясь и уважая их стать, всем, даже мелочами, говорившей о том, что они – победители.

– Пленный, говоришь? А вот в Смерше поглядят, какой ты пленный, паря Ванча, – задиристо проговорил один, видимо, старший.

Он скомандовал, двое солдат повели Пролетарку с собой, и он навсегда оставил своё тихое пристанище, в этой бойне послужившее его спасению от смерти, какая могла настичь за годы войны сотни раз и каждодневно от любого движения тех, кто владел его судьбой.

В Красной армии уже был полный, приспособленный к войне порядок. Кому надо воевали, кому надо обстирывали и кормили, лечили, носили почту и меняли обмундирование. Кому надо жёстко фильтровали рассыпанных по Германии и другим странам своих соотечественников, просеивали сквозь

сито суровых допросов и проверок, не доверяя ни одному человеку и ни одному их слову. Казнили обидными, тяжкими фразами, упрекая за плен и за жизнь, не утруждаясь даже обвинить в чём-то конкретном. Это была, хоть и оправданная, кажется, гордыня победителя, реально бившегося с врагом, перед уклонившимся от битвы, неважно по какой причине. Но это была гордыня, избегать которую просил каждого христианина Господь, истина, забытая потерявшими веру людьми.

Кому дано право мерить вину землян? В своей суете, круговороте друг за другом, впустую, за призрачными ценностями, бьющими или милующими себя и других?

Конали, песочили особисты и Пролетарку. Других слов, кроме этих, он не находил для характеристики тех допросов, которые испытал на проверках своей простой личности. Однако офицеры контрразведки так не считали, цеплялись за каждый штрих его жизни, подозревая не только в предательстве, но и в шпионаже, особенно изощрённой маскировке батраком бауэра.

— Сытый и упитанный, рожа сальная — какой ты пленный. Из лагерей скелеты вытаскиваем, а ты, как боров, ткни иголкой — сало потечёт, — уверенные, что он врёт, особисты постепенно от издёвок переходили к жёстким вопросам: «Почему не застрелился? Почему не сдох за колючкой, не уморил себя голодом, жаждой? Не бежал от бауэра, а работал? Уже в этом изменил родине. Предатель, и точка».

С такой записью в сопроводительной бумаге покати́л Пролетарка из Европы в Россию. В вологодском фильтрационном лагере работа шла на два канала. Один узенький — на свободу. Туда попадали единицы. Другой — широчайший, на Колыму, для всех остальных. В него засосало и Пролетарку. Без объяснений и даже допросов. Видимо, всё выяснили на фронтовой фильтрации. Вызвали по фамилии — и всё, грузись в эшелон.

Эшеленом напрямик в порт Ванино. С краткой остановкой в пересыльно-фильтрационном лагере. Потом пароход, Магадан, опять пересылка на берегу, туман, дождь. Наконец, Колымская трасса, прииск Красноармейский. И десять лет — кирка, лопата, тачка. Голод и холод. Гордись, красноармеец, — на Красноармейском руднике служишь.

Перед глазами жуткие картины. Постоянное «трюмление» вновь пригнанных зеков бандами лагерных хитрованов — «придурков»-сук, ловко устроившихся при обленившейся администрации, справляя хлебные службы: банщика, нарядчика, хлебореза, повара. За это у них задание оперов — с первых минут ломать новых зеков. Трюмиловка — жёсткое избиение, просто так, ради интереса, со скуки. Палками, ногами, да чем попало, резня ножами беззащитных новичков. А после: «Становись на колени, целуй нож и будь сука!» Кто сопротивляется, хватают за ноги, за руки и подбрасывают, но не ловят. Бейся о бетонный пол. И так шесть раз. Подбрасывали и Пролетарку. Но он, усохший как личинка, падал легко. Да как-то скучно, молча. С застывшим от ужаса в изумлении лицом. Удивлённый: зачем и ради чего? Так что бросили его пару раз и отстали, дурак дураком, ни взять, ни дать.

В голове одна мысль у Пролетарки: может, умереть скорее, всё равно свету впереди не видел. Да не умиралось что-то. В памяти только деревня, зимняя тёплая печь и тараканы в спичечном коробке.

За что отнята свобода? За что мучают и тело, и душу? Сколько ещё будет длиться эта жуткая, нереальная жизнь? — Пролетарка не знал. Приговор не зачитывали, забыли в гулаговской суматохе, причин неволи не объясняли. Да и

не было, наверное, приговора, какая-то записка тройки, вот и всё. Везли – не знал куда – будкой автозака, вагоном, трюмом; трясло, швыряло, било по рёбрам, вытягивало от голода наружу живот. А вокруг такие же, как он сам: то ли люди, то ли звери. Молчаливо мигают искрами в темноте голодные глаза, вокруг липучий запах. Люди уж точно так не пахнут. И шуршание в вагоне, как будто шуршат тараканы в спичечном коробке. Схваченные безжалостно и ни за что посаженные в коробок. Сиди теперь. А что дальше будет, неизвестно. Может, вывалят в грязный снег – замерзай, или просто растопчут, а, может, в печь, в огонь вместе с ненужным коробком. Сгорел – и нет тебя, и никогда не было, и никогда больше не будет.

Пролетарка всем своим существом, интуитивно, понимал: держись от начальства подальше, ни о чём не спрашивай, не пререкайся. Тем более в тюрьме, в лагере. Но иногда опер вызывал кого-либо на беседу. Пришла очередь Пролетарки. Это было уже на Колыме. И он, робея, спросил:

– Сколько мне сидеть присудили, гражданин начальник?

Тот поражённо глянул на него:

– Дурак дураком. Сам знать должен, откуда я знаю.

Опер уже давно служил в Колымских лагерях. И сам того не заметил, как переродился в иного, чем был с детства, человека. От мальчишки из подмосковного городка, озорного, улыбчивого, от парня даже доброго и щедрого – не осталось и следа. Теперь это была жуткая нечеловеческая завязь сторожевой собаки и колючей проволоки. Злой, беспощадный к заключённым, равнодушный к их тяжкой судьбе, боли, страданиям и смерти, он стал таким и для всех близких, забыв о матери, отце, вспоминая их только в отпуск, когда ехать на юга приходилось через Москву.

Однако Пролетарке как-то этот опер был даже симпатичен. Они по росту сходились. Больше того, опер всегда носил синие диагоналевые галифе – недостижимая Пролетаркина мечта, – втянутые в ноги хромовые сапоги всмятку и с блеском, зелёный китель, туго обтягивавшей крепкое тело, а на широко развёрнутых плечах золотились лейтенантские погоны.

– Дурак дураком, – повторил опер, – тебе чего, и приговора не объявили?

– Нет, из камеры с вещами вызвали, и сразу грузиться на отправку. Так уже три года здесь обитаю...

– Десятка у тебя, радуйся, изменник родины, что не четвертак или вышка. Так что кайли, давай ударный труд.

Пролетарка засмутился, улыбнулся виновато, глотнул голодную слюну. У опера на углу стола парил чайный стакан в подстаканнике, а рядом лежал кусок чёрного свежего хлеба, покрытый белоснежной пластиной сала. Пахло это для дико голодного Пролетарки до дурной мысли: схватить бутерброд, сунуть в рот и сжевать. И будь что будет, хоть смерть. Но он сдержался. Тихонько встал и, пятясь на полусогнутых слабых ногах, сминая необыкновенно чудовищной формы лагерную тряпичную шапочку, вышел.

Опер проводил его взглядом, который впервые за много лет вдруг ожил и, всегда немигающе овчарочий, на миг наполнился обыкновенным человеческим состраданием. Ему вдруг стало жалко этого маленького исхудалого мужичка, терпеливо тянувшего лагерный срок, а какой – даже не знал. И понятно было оперу, что ни в чём не виноват перед родиной Пролетарий Чикильдин. Но махнул через секунды опер толстопалой холёной рукой перед своим лицом. Отмахнулся от этих мыслей и снова одеревенел. Мигнул раз-другой веками – и опять из-под бровей овчарка глядит. И не ищи сострадания.

После этого Пролетарка совсем как бы устранился от жизни, полностью отдался судьбе – и потёк по годам, как щепка по речке. Освободился от мыслей, от мечтаний и фантазий, какие до этого нет-нет да и появлялись в его голове.

После смерти Сталина минули ещё годы, пока не пришло время Пролетаркиного освобождения. Почти полностью десять лет провёл он на Колыме, и не умер только потому, что каким-то непостижимым образом выключился из жизни его мозг, а тело автоматически двигалось, организм функционировал, довольствуясь тем малым, что для жизни предоставлял лагерь. Сон – впадал в него Пролетарка без сновидений, мгновенно, расслабляя и освобождая от каких-либо чувств все части тела, не ощущая ни холода, ни тепла. Замирал, как отдаётся сезонной спячке примитивный организм. Еда – скудная и однообразная, но удалось Пролетаркиному желудку всасывать из каждой проглоченной крошки, из каждого выпитого глотка все полезные вещества без остатка. Выручил малый рост и легковесное телосложение – им достаточно было малого.

Дотянул до освобождения Пролетарка. Фактически находился в рабстве на чужбине и на родине больше двенадцати лет и забыл, чем пахнет и цветёт свобода. Пока добирался до дома, поражался всему, что видел вокруг. Портовому хозяйству в Находке, городам, не видавшим войны, людям, на его взгляд, роскошно одетым, а, главное, сытым, в поезде расточительно обходящимся с продуктами. Они оставляли хлеб недоеденным, чай недопитым, остатками мясной пищи, куриными крыльями и шеями заполняли мусорный бак в конце вагона. Но ни у кого ничего не просил Пролетарка. Доехал до Читы, питаюсь лагерным продуктовым пайком, выданным в дорогу. А от Читы до дома больше суток добирался вообще без еды, ничуть не страдая, настолько привык к голоду.

Все эти годы Пролетарка никому не писал писем, ни от кого их не получал. Живы ли родные, как они живут – не знал. Страшился явиться перед ними таким, каким стал. Уходил на фронт бойцом-красноармейцем, а возвращается зеком. Как встретят? Что скажут? Застесняются перед односельчанами, застыдятся. Не рады ему будут. Но некуда было податься Пролетарке, хоть и подпадал он под лозунг: пролетарии всех стран, соединяйтесь. Документы на проезд были выписаны по точному адресу: Читинская область, деревня такая-то. Точка. Шаг вправо, шаг влево – снова тюрьма.

Когда вышел из автобуса, поразился снова. Вместо маленькой деревни вокруг располагался большой посёлок с новыми двухэтажными домами, правда, сильно смахивающими на бараки. Улица была заасфальтирована, а на столбах висели фонари с отражателями.

С трудом выбрался Пролетарка на свою улицу, ставшую окраиной посёлка, подошёл к родному дому, остановился от сердечного боя в груди. Сердце тяжело билось внутри него, и слёзы подступили к глазам уже не внутрь лица, как в лагере, а наружу, на щёки, по-человечьи. Стоял, не решаясь войти, пока его кто-то не заметил через окно. На крылечко вышла женщина, и Пролетарка, несмотря на годы разлуки, узнал Октябринку, свою сестрёнку Рянку. А она не признала его сразу, настороженно и как-то осторожно ступая, вышла за калитку, уже догадываясь, кто перед ней. Не побежала навстречу, не кинулась на шею, так как встречали фронтовиков, а подошла и молча обняла его, целуя мокрое от слёз лицо, смешивая свои слёзы с его слезами. Потом уже в доме, сняв сапоги и телогрейку, Пролетарка долго не мог успокоиться. То ходил по

старым половицам, и ноги сами вспоминали их тихое живое покачивание и поскрипывание, то присаживался на лавку у печки, ощущая спиной прежнее, как в детстве, родное тепло, то вставал с ней рядом, заглядывал на лежанку, где ему было так хорошо, как никогда и нигде больше.

Оказалось, что отец погиб на фронте, а мать умерла два года назад.

– Ждала тебя, знала, что живой. Так и говорила: в плену, мол, он и скоро вернётся. Чувала сердцем, что упрятали тебя в лагерь после войны. Хоть писем ты не писал, а всё мама знала, живой ты. Плакала только много.

Октябрина была уже замужем за их деревенским парнем, который по-доброму поглядывал на Пролетарку и с охотой старался поддержать любой разговор. Сам сразу же изложил краткую свою биографию: колхоз, фронт, ранение, работа на шахте. Оказалось, что пока Пролетарка мытарствовал в рабстве, рядом с деревней открыли большой рудник по добыче свинца и олова, деревня быстро переросла в посёлок, который теперь называется «Рудничный», а названия деревеньки уже нет. Так, по старой памяти кличут, чтобы понятней было, кто где живёт и куда идти... А детишки у них почему-то не рождались. Октябрина на эти его слова опять всплакнула.

В общем, приютился у сестры Пролетарка. Тоска давила на сердце за мать и отца, но и нереально хорошо и спокойно ощутил он себя в родном доме, с благодарностью за Октябринкин и Гришкин приём – так много радости ему привалило, что он от неё словно поперхнулся.

Но на следующий день, уже вышколенный лагерем, с утра первым делом заторопился в отделение милиции.

Прошло десять лет после войны, но она словно ещё не кончалась, так близки и значимы были её события. Любой человек имел какую-нибудь связь с войной. Кто воевал, кто потерял на фронте своих, кто выживал в тылу. Но и теперь в каждом человеке, кто бы он ни был и чем бы ни занимался, общим знаменателем в сознании жила война.

С тем и встретил Пролетарку начальник паспортного стола поселкового отделения милиции, словно недовольный своевременным приходом на регистрацию – придаться не к чему. Тем не менее, ворчал о предателях, о врагах народа, хоть и Сталина уже разоблачили, раздражённый уже тем, что Пролетарка перед ним появился.

Так с первого дня на родной земле ощутил он к себе неприязненное отношение, которое надолго прилипло к нему. Пролетарке казалось, что все вокруг знают, что он был в плену, а потом в лагере на Колыме, думают о нём, как о предателе, и презируют его, а родные стыдятся. Он уже не мечтал развести своё хозяйство по примеру немецкого: свиней, коров, разную птицу. Лагерь сломал в нём всякое желание к самостоятельной жизни. Не высовывайся, и не заметят тебя: ни свои, ни чужие. Так надёжнее, целее будешь, потому что на самом деле ты не нужен своим, а чужие таят лишь одно желание – пожить за твой счёт, а ты – хоть умри. Это даже лучше, претензий предъявлять не будешь.

Получив после долгих унижений паспорт с пропиской, пошёл устраиваться на работу, в шахту, на большие деньги. Кадровик, осмотрев паспорт, поняв, что выдан он на основании справки об освобождении из лагеря, ухмыльнулся и заявил:

- Врага народа на режимный участок не пропущу!
- Куда идти?
- В жилконтору дворником. Улицу мести врагу народа можно.

Пролетарка внутренне был готов к чему-нибудь такому, поэтому согласился сразу. Уже на следующий день получил от бригадира участок и необходимый инвентарь: метлу, лопату, тачку. Но напрасно злорадствовали злопыхатели. Любую работу любил Пролетарка. Он, по малому своему образованию, конечно, не понимал причин этого, но по своей биологической сущности человека ощущал удовольствие от труда. От движения рук, ног, всего тела, созданного природой не для того, чтобы протирать штаны в кабинете и ковырять в ушах спичкой, пыхтя папиросой и целый день вдыхая табачную отраву.

«Но враги просчитались, оцепление пробито, кто смертей не боится, того пули щадят!» – крутились в его голове, пока он яростно налегал на метлу, две строчки, которые он запомнил из длинной, задорной лагерной песни.

Скоро участок у Пролетарки стал заметно лучше других. Чище, аккуратнее, потому что он с удовольствием ухаживал за газонами, правил кустарник, ровнял бордюры, старался выровнять и траву. Хотя и не было тогда никаких косилок, Пролетарка брал обычную косу-литовку и, прежде чем мести улицу, подрезал траву. А она по бокам улиц и тротуаров росла самая обыкновенная: лебеда, полынь, кашка, лютики, подорожник – в общем, всякая разная, какая низенькая, какая тычками. Если не трогать, то вид неприглядный, особенно, когда пыль траву покроеет. Даже заходить на такой газон не хочется. А Пролетарка подровняет края газона лопатой, подкосит траву под один рост, да ещё и пыль метлой смахнёт – сразу другой вид у улицы.

Зимой ещё с большим азартом, чем летом, действовал Пролетарка. Пешнёй скалывал плотные снежные натопыши, вскрывая чистый тротуар, зачищая обочины. Люди ходили и его хвалили. В других местах всё по-иному. Зарастали тротуары коростами слежавшегося снега, образовывались ледяные прокаты – не ходить, а ковылять приходилось.

Заметило начальство Пролетарку. Но тем нарушилась лагерная заповедь: будь от начальства подальше, иначе хорошего не жди, одни неприятности. Так и тут. К Первомаю готовились, в конторе премии делили, решили Доску почёта обновить. Кого туда разместить? Конечно, Пролетария Чикильдина – первый работник. Вызвали его и велели назавтра приодеться получше для фотографии на Доску почёта.

Почистился Пролетарка. Галифе из синей диагонали и зелёный френчик-сталинку он уже раздобыл. Кроме как на паспорт, ни разу не фотографировался. Волнительное это дело для него стало. Пока на стуле перед аппаратом гнезвился, опотел весь, чубчик, который направо должен на лбу висеть, налево ушёл. Впервые его отмечают, с похвалой, с уважением, за всю жизнь, не считая детства, только ругань в свой адрес слышал, тычки да окрики, радость теплом по нутру разливается, аж лицо покраснело.

Отбыл Пролетарка номер, тут ещё передовики производства фотографировались. Хотя особо ни о чём не поговорили, но покурили вместе. В общем, он приятно время провёл.

Дальше – беда. Стыд и позор. В канун праздника народ на собрание пришёл, на новую Доску почёта глядит с интересом, кого отметили, с того магарыч причитается. Пролетарка, вроде ему безразлична эта суета, раз-другой мимо туда-сюда прошёлся, хоть и есть волнение, а виду не показывает, косится на стенку, где фотографии. Но что такое? Нет его, как и не бывало. Все, кто с ним фотографировался, висят, а его нет. Не выдержал, подошёл вплотную, раздвинул людей, росту не хватает через головы смотреть: нет фотографии. Враз настроение упало: почему? А тут и ответ пришёл. Бригадир рядом оказался:

– Не ищи себя, Пролетарий. Обсуждали на парткоме кандидатов. Не можем тебя в почётные зачислить. Всё же ты сидел, вроде как предатель родины, – говорит, как извиняется, а сам, чувствуется, злорадствует. Интуиция у Пролетарки лагерная, пронзительная. Обошёл его Пролетарка в рабочем деле меньше, чем за год. Крыть нечем, так хоть этим заколоть.

Не ушёл сразу Пролетарка из конторы, ходил, чего-то разговаривал на крыльце, курил со всеми, в зале сидел, доклад слушал. Как автомат, будто кто-то другой ходит, слушает. В передовых его фамилию не назвали, озвучили тех, кто подметал и убирал хуже его. И премии не дали. Обидно – не то слово. Тоска, стыд, отчаяние – всё вместе взболтано. Все чёрные чувства в одно, как в каше, замешаны. Легче умереть, чем так жить.

Но жил. Спустя год женился. Девушка по нему вся. Зовут Ньюша. Тоже из бедняков: ни кола ни двора, всю родню война выбила, выщелкала. Работала в пекарне, должность самая маленькая. Поэтому её зарплата да зарплата дворника – капитал крошечный. Когда комнату отдельную, в бараке поначалу, дали, нечего было в неё занести, только самих себя впустить и поставить посередине, под лампочкой в двадцать пять ватт.

Когда стол и два стула купили, то иной раз ужинали последним куском хлеба. Ньюша его Пролетарке толкает, он – ей. Так и гоняют горбушку взад-вперёд, пока не разломают напополам и враз съедят, друг на друга глядят – не наглядятся. Хоть и голодно, а весело.

Дочка родилась, назвали Ириной. Оба любили её без памяти, как могли, лелеяли. Да и Октябрине, сестре племянница знатно жизнь украсила. Они с Григорием половину забот об Ирине на себя взяли. Хоть эта маленькая жизнь жила в радости.

Попрёки же от народа, тычки словесные за плен и лагерь получал Пролетарка и дальше. Хоть и не часто.

В посёлке была «Чайная» – днём столовая, а вечером вроде как ресторан: в одном лице – только цены разные. Деревянное сооружение, обшитое досками по горизонтали внахлёст. Когда-то крашеное, а со временем от снега и дождей серое, краска оставалась лишь кое-где, лупилась пузырями, коростами. Окна были обычные, избяные, со ставнями и примитивными наличниками. Старое же крыльцо на четыре ступени с шаткими перилами и с щербатым подходом к двери, обитой войлоком и дерматином. Внизу – вколоченная в бревно металлическая полоса скобкой для очистки обуви от грязи и корыто с водой. Отскрёб сапоги подошвой о скобку, побултыхал в корыте, и входи.

Мужики иногда после бани, в воскресенье или в другой какой день просто так обедали или ужинали здесь с обязательной стопкой водки-сучка, самой дешёвой, приготовленной из древесного спирта, которую приносили с собой и, как бы тайно, разливали, выпивали. После закусывали котлетами с макаронами, начинали свои простецкие разговоры о житье-бытье. Но всегда, ещё до того, как выпить, как пароль спрашивали друг у друга: «Ты фронтовик или нет?»

– Фронтовик, – гордо отвечал один и сам спрашивал: – А ты фронтовик?

Если оба оказывались фронтовиками, то радостно хлопались звонким и крепким рукопожатием, тиская пальцы, обнимались и выпивали, бывало, затягиваясь воспоминаниями о военных буднях и подвигах. Дальше дело доходило до песен. Пели сначала тихо, а потом, разойдясь, уже в полный голос.

Пролетарке тоже приходилось бывать в «Чайной», иной раз и в компании. Чаще всего такой обед или ужин превращался для него в пытку и унижение. На вопрос о фронтовике, он качал головой, мол, нет. Могло этим и

кончиться. Мало ли приходилось кому мантулить в тылу. Все знали, что и тут было не сладко. Но иногда собутыльники продолжали тянуть из него: что, да как, да где? Тут уж надо было опять что-то уклончивое искать, уловку какую: «Трудился, вкалывал. Всё для фронта, всё для победы».

Но почти всегда в компании отыскивались знакомые, давно и всё про Пролетарку знавшие:

– А он, паря, из предателей, на немчуру вкалывал, за то десятку на Колыму получил.

Тогда компания, если и не ела его злыми подковырками под каждый взмах ложки и подъём стакана, то всё равно отстранялась; как-то, даже не отодвигая стульев, – сразу чувствовался провал вокруг него. Надо было быстро уходить, иначе рядом с ним у других фронтовые разговоры не клеились.

В праздники или где на именинах-свадьбах – то же самое. Пока не подопьёт компания – вроде ничего, он свой. Но как только заусило, опять про фронт разговоры и тосты за погибших.

Годы пятидесятые. Телевизоров в посёлке далёком ещё нет, радио еле шепчет что-то, патефон и то редкость. Поэтому концерты всегда сами ставили. Уже после второй затягивали песни. А если гармонист был, то и после первой. Репертуар известный: «Катюша», «На позицию девушка», «Землянка» и так далее. Редко кто вклинивал лирику, успевая начать «Уральскую рябину» или «Ой цветёт калина». У кого-нибудь особо задиристого взгляд вдруг упирался в Пролетарку:

– Стоп машина! – кричал он, перекрикивая и гармониста, и гомон людей. – Пролетарий, а ну отсядь в сторону, не порть песню присутствием. Раз предатель, то петь тебе с нами нельзя.

Иной раз и под бока попадало. В таких случаях, что делать? Глотай обиды и чеши отсюда. Отсаживался Пролетарка в сторонку. А как новая песня вскипала, так незаметно уходил.

Камень тяжкий многие годы не падал с Пролетаркиной души. Единственно находил он какое-никакое смягчение в выпивке в одиночку. Брал чекушку сучка или самогонки нагонял и после изгнания из компании выпивал один. Подпив, вглядывался в пространство своей квартиры и, словно среди своих, тех, пострелянных в первом же бою парнишек, ещё и не солдат вовсе, вёл с ними беседы в полный голос, как будто они были здесь, рядом, – о том, как ехали в поезде к передовой, о бомбёжке, перестрелке... Кричал: «Ложись, ребята! Фрицы обходят!»

Потом стал выпивать с Нюшей и говорил, говорил, но не с ней, а с видимыми только ему однополчанами. Курил в такие моменты махорку, сворачивая солдатскую самокрутку «козью ножку» из куска газеты, хоть папиросы и были на столе.

С каждым годом страна всё торжественней справляла День Победы. Этот праздник стал самым главным. Щедро одаривались фронтовики подарками и медалями. Ходили маршами по городам и посёлкам, модели и хмелели от почёта и радости за себя и за всех ими действительно спасённых. Пионеры на дома ветеранов набили маленькие красные звёзды. В лучших парках и скверах вставали памятники погибшим. К ним шли люди в будни и праздники. Все свадьбы в обязательном порядке несли цветы к подножию, а молодожёны обязательно фотографировались рядом. Пролетарка в такие дни не знал, что делать. Ходил и он на люди. Только держался в сторонке, старался быть неза-

метным, сжимал свой и так маленький рост в гармошку. Не смел подходить к полевой кухне, с которой brave, крепкие, полнолицые солдаты щедро раздавали армейскую кашу всем, кто хотел. Он хотел. Но не мог. И от обиды горькие слёзы струились у Пролетарки снова внутри глаз, и внутри лица, какое на люди глядело спокойно и строго. Так, как привык он скрывать свои чувства в неволе.

На тридцатипятилетие Победы посёлок подключился к телевизионному каналу «Орбита», и можно было смотреть парад и салют из Москвы. А в канун праздника много было разных фильмов и передач, торжественных и печальных – всё про войну и про Победу. Видел Пролетарка новую Германию, Берлин, Трептов-парк, где свободно и вольно на высоком холме взойшёл на каменный постамент и застыл в бронзе советский солдат со спасённой от войны немецкой девочкой на руках. Видел, как наши и немцы несут к солдату цветы и венки. Как молчат и замирают, глядя на памятник. Хотелось Пролетарке понять, о чём немцы-то думают в эти мгновения. Какие мысли таят, какие чувства испытывают. Казалось ему, что уважение, страх перед Советским Союзом парализует их, а последние реваншистские силы иссякают.

Много чего думал Пролетарка, глядя через экран на памятник в Трептов-парке. Уважительно слушал диктора, пояснявшего, что запечатлён там подвиг сержанта Николая Масалова, который в апреле сорок пятого года вынес из-под обстрела немецкую девочку. Только ни разу не замкнула в нём искоркой мысль о том, что и он в то же самое время, в апреле сорок пятого, рискуя жизнью, вынес из-под огня немецкого ребёнка. А опасность была двойная, стреляли по нему и свои, и чужие. Так что, может, это и не Масалов, а он, Пролетарий Чикильдин мог быть прообразом памятника. Только Масалов стал героем, а Пролетарку загнали неизвестно за что в предатели.

Последней каплей стала Иринкина обида в школе. Где-то в классе уже шестом, когда она подросла до девичества, и на неё ребята стали поглядывать, беспокоить её ровнёхонькое житьё-бытьё вниманием, пока не понятным, но уже и не надоедным, не обременительным. Только дети ещё не знали, как общаться нужно, чтобы понравиться, не оттолкнуть, а приблизить, завлечь друга друга. В ход всё шло: дёрганье за косички, подталкивание, шутки и насмешки. Бывало, обидные. Однажды не со зла, а только чтобы внимание обратила, кто-то из сорванцов выкрикнул: «Твой отец – предатель!»

Долго плакала потом дома Иринка. Время было такое, все на Победе воспитывались, всех она сплывала, не было никого, кто бы хаял её имя. Поэтому самое обидное – это оскорбить предательством, оттолкнуть от всех в сторону ненавистных врагов.

Для Пролетарки тяжелее и сложнее всего было хлопотать о чём-либо в чиновничьих кабинетах. Стоять у дверей, ждать: примут – не примут. В любом присутственном месте неприступные, как ему казалось, служащие смотрят на тебя, как на надоедливую муху: зачем пришёл, чего надо? Ходят всякие, от дел отрывают, которых неуправляемо, столы бумагами завалены – не до людишек мелких, вроде Пролетарки.

Но дочкины слёзы добились Пролетарку. Сначала он впал в отчаяние от своего бессилия что-то изменить. Горько стало ему за свою судьбу. Почему так она сложилась? Почему бы не жить ему простой крестьянской жизнью в деревне с отцом, матерью, сестрой, со своей семьёй. Сам бы себя кормил-поил. Ни у государства, ни у всяческих начальников ничего бы никогда не просил.

Топтался Пролетарка вечерами по квартире, уже отдельной, двухкомнатной, топтался, думал, с Нюшей советовался. Решился. Взял отгул, поехал в райцентр, в военкомат. Слышал, что плен уже не считают изменой, что, вроде бы, тех, кто был в плену, оправдывают. Хотел, конечно, давно к тому и себя приобщить, да тяжело было идти куда-то и хлопотать. Легче весь посёлок одному подметать и убирать, чем под дверьми просителем ёжиться.

Не знал, да и откуда мог знать, что ещё в пятьдесят шестом году постановлением великой партии и правительства реабилитированы бывшие военнопленные. Только постановление было секретным, не публиковалось, и ни в одном официальном публичном источнике его текст не найти.

Откуда ему было знать, что в далёкой враждебной Америке вскоре учредят орден за нахождение в плену и буду праздновать День военнопленного. Та Америка представлялась здесь всеми способами как чудовище, страна, невозможная для проживания нормальных людей, а живут, значит, там одни ненормальные, «чиканутые», как любил повторять политинформатор из района.

Прибыл в военкомат Пролетарка с дрожью в ногах. Кое-как объяснился в приёмной, кто он и зачем, и был перенаправлен во второй отдел – солдат запаса. Постучал, зашёл, да, видимо, не вовремя. Хотя, может быть, для канцеляриста посетитель всегда не вовремя. В данное же время в комнате два офицера о чём-то любезно разговаривали с девушкой делопроизводителем.

Извиняясь на каждом слове, Пролетарка изложил просьбу, выразившись в том смысле, что он не предатель родины, а честный пленный, и нужен об этом документ. Офицеры, явно не мыслители, с трудом соображали, что сказать. Потом один, постарше, пошлёпал губами.

– Знаешь что, друг, иди-ка ты куда подальше. Судили? Судили. Сидел? Сидел. Свободен? Свободен. Ну так и гуляй, пока снова не забрали. Спасибо скажи, что не расстреляли. Иди, иди, не мешай работать.

Поплёлся Пролетарка прочь на полусогнутых ногах. Ещё больше запутался в своей судьбе. Правда, и офицеров винить полностью в таком невнимании не стоило. Не смог он как следует объясниться. Всё повторял одно и то же: плен, плен, изменником признали, в лагере сидел. А главного, того, что в бою был, хоть в одном, но в настоящем бою, со смертями, так и не выговорил.

Мысли только его одолели. Всякий канцелярский, бюрократический народ представлялся ему злобной к людям, враждебной стаей, которую нужно бояться и обходить стороной. Как только сунешься на их территорию, так сразу набрасываются они на человека и грызут; без потерь и ран от них не вырвешься. Волки даже безопаснее. Человека всегда стороной обходят. Когда они сыты, то вообще никакую живность не трогают. А чинуша, тот хоть всегда сыт, да всегда ненасытен: едят тебя, хоть от сытости лопнут.

Вроде того думал обо всём, что вокруг, Пролетарка, искал для себя справедливости и не находил. Смирился из-за этого и ещё глубже в работу ушёл, никого и ничего вокруг видеть не хотелось.

Такое состояние ощущал в себе Пролетарка, словно вся огромная страна обрушилась против него и давит всей своей миллионнопудовой силой на маленького, как козявка, человека в смешных широких галифе и сталинке, похожего на перевёрнутую лопату с короткой рукояткой и широким лемехом. Словно, как червяк, попал он в плотную, спрессованную глинистую почву, тяжело обволакивающую его. И не даёт она ему ни минуты расслабиться от этого всеобъемлющего давления. А он всё ещё жив, медленно извиваясь и ше-

велясь в этой оболочке, в пространстве, равном только самому себе – червяку. Сам один. А вокруг – враждебная масса.

И страх и отчаяние. Вроде воздух вокруг. Маши рукой – легко, ступай ногой – легко, кричи – далеко слышно. Глаза видят, уши слышат, ноги идут. Легко. Но в то же время, как в паутине – от всеобщего презрения и брезгливости. Кто так устроил в стране? Кто это учинил? Ведь вины нет на то Пролетарки. В бой пошёл. На пули и снаряды – на верную смерть. Но пошёл, не испугался. Окружили и поймали враги, как зверька в сетку. Не молил о пощаде. Будь что будет, себе сказал. Уцелел в плену. Но ведь не просился на облегчённую каторгу, судьба сложила дорогу. И не предавал никого и ничего. Нечего было предавать, поскольку не знал никаких секретов, а его воинское подразделение погибло, кто-то был схвачен в плен вместе с ним, и кто где – он не знал уж точно. Как в лагере на Колыме мучился, это вообще страшный сон. Не бывает такого мученья наяву, среди людей, потому как вряд ли кто на сто процентов поверит в те ужасы. Самому Пролетарке иногда начинало казаться, что всю его жизнь кто-то придумал и ему рассказал, а он и поверил, а свою настоящую счастливую жизнь – забыл.

Долго тянулась чёрная полоса его жизни. Но и у самого разнесчастного человека бывают светлые проблески. Стал замечать Пролетарка, что к соседке Валентине народ поселковый зачастил. Как выходные дни, так дверь не закрывается. Полнобопытствовал. Оказалось, что её младший брат в большом городе институт окончил юридический, теперь в их райцентре адвокатом работает.

Вся семья у Валентины – добряк на добряке, настоящие забайкальцы. Кто бы ни заглянул – без чая с ватрушкой не отпустят. А тут – крупная ватрушка, мёдом знаний намазана, юрист, тоже открытая душа, кто бы с каким переживанием ни пришёл, пока не разберётся, не разъяснит всё, как надо, брат Валентины не успокоится. Да ещё не только подношений не принимает, ещё и наугощают просителя, не одну, а пяток ватрушек скормят.

Иван Георгиевич, узнал Пролетарка, молодого народного радетеля почтенно народ величает. Мялся, мялся, надумал сам со своей тяжёлой бедой к нему подойти. Может, посоветует что?

Выбрал выходной и тихонько к Валентине поскрёбся. Та впустила:

– Ты чего, Пролетарий? Нужно, что ли, чего? Или Нюше какая надобность потребна?

– Нет, Валя, я до Иван Георгича, можно ли посоветоваться?

– Проходи, спрошу. Поговорит, конечно, с тобой, а уж дальше не знаю. Чай ставить?

– Не до чая, соседка, разговор у меня тяжёлый и долгий.

Тут и Иван Георгиевич выходит из спальни. Сели в зале за стол друг против друга. Смотрят и молчат оба. Пролетарка начать с чего не знает, а тот и просто так молчит, ждёт, когда гость заговорит. Но не выдержал.

– Говорите, Пролетарий, какой вопрос беспокоит, по порядку, не торопитесь, не смущайтесь.

Прокашлялся Пролетарка и всю свою судьбу Ивану Георгиевичу изложил. Откуда столько красноречия взялось. Обычно двух слов связать не мог, а тут извлекает из себя целые картины. Видимо, душа его заговорила. В конце – со слезами:

– Не знаю, что делать, как жить...

Молодой адвокат слушал, не шелохнувшись, только очки поправлял. Они у него криво сидели, так как одно ухо выше другого казалось. Вроде как дефект небольшой. Но главное не ухо. Что ухо, фигурный лоскуток кожи. Главное глаза. Они словно втягивали в себя всю несчастную Пролетаркину жизнь, осмысливали и готовили ответ. И ещё глаза Ивана Георгиевича таким доброжелательным светом Пролетарку обласкивали, что тому хотелось говорить без конца.

Иван Георгиевич достал бумагу, ручку, долго что-то писал, дал ему подписать. Потом объяснил:

– Заявление я составил от вашего имени в областной военкомат для того, чтобы признали вас участником Отечественной войны. Если признают, то это значит полная реабилитация, а, значит, вы такой же ветеран, как и все, и имеете право на льготы.

Конечно, сказать легко, написать потруднее, но ждать вообще невозможно. А время шло. Адвокат, приезжая, разводил руками. Только когда Пролетарка ждать перестал, тогда и пришла бумага из военкомата. Короткая по написанным словам, но такая значимая по смыслу. Реабилитирован Пролетарий Чикильдин. Обвинение в измене родине снято. Оказалось, что он вообще не судим. Нет приговора суда, нет даже постановления тройки – особого совещания НКВД, ничего нет. Личное дело есть, а документа об осуждении нет.

Как, почему оказался в лагере после войны Пролетарка? Так и осталось загадкой. По какой бумажке десять лет каторги отбывал – неизвестно. Но нет приговора – нет обвинения. А раз нет обвинения, значит, не переступил запретной черты Пролетарий, не виновен ни в чём, ни в самой малой малюсенькой измене. Не было её. Согласно же воинским архивам, действительно, часть, где был прописан Пролетарка, приняла бой, вся погибла, а он сам с сорок второго года числился пропавшим без вести.

И чёрным по белому было в бумаге написано-напечатано: «В настоящее время Пролетарий Чикильдин является участником Великой Отечественной войны».

С этой бумажкой Пролетарка долго носился по посёлку, показывая её каждому встречному-поперечному, до тех пор, пока не отобрала её у него Ньюша и не припрятала надёжнее для сохранности.

Ну а вскоре вызвали Пролетария в райвоенкомат и вручили уже официальные корочки участника войны.

Человек преобразился. Всё в нём стало другим. Посветлело лицо, фигура выпрямилась, и даже любимые им галифе расправились, словно крылья. В довершение своего наряда Пролетарка купил шляпу с узкими полями и тульёй-торбочкой. Главная же перемена произошла в нём самом. Гордо подняв голову, он больше не опускал глаз при встречах и разговорах. А на дворников и разнорабочих своей бригады стал покрикивать, и нотки власти и строгости то и дело срывались с его языка. Исчез извиняющийся и просительный тон.

Теперь по воинским и советским праздникам Пролетарка смело становился в шеренгу ветеранов, не опасаясь вопросов, да их и не было, весть о его полной реабилитации в мгновение обошла посёлок, где его, вообще-то, любили, сочувствовали, жалели. Так что приняли ветераны Пролетарку в свой, редевший с каждым годом запасной взвод как давно своего.

С этого времени он стал регулярно получать юбилейные медали. Скоро его китель-сталинку уже украшало их несколько штук. А с другой стороны

груди приладились значки ударника коммунистического труда, народного дружинника, ещё какие-то знаки.

Когда получил значок ударника, произошла курьёзная история. Пролетарка поставил бражку, хотел по радостному поводу угостить соседей. Настой получился таким приятным на вкус, что Пролетарка от избытка удовольствия предложил попробовать его весёлой, пьющей вдовушке из соседнего дома, Людмиле, зашедшей зачем-то к Нюше. Та не отказалась. Пролетарка наставил бражку в большом баллоне, который держал для тепла в шифоньере с одеждой. Усадив Людмилу за стол, он с заговорщицким видом извлёк тёплый стеклянный баллон, разлил по стаканам светло-палевую, сдобренную конфетами бражку, произнёс свой коронный тост: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – и, счастливый, наблюдал, как его нечаянная собутыльница с удовольствием смакует этот народный напиток.

А Людмила – бабёнка ушлая: ночью, когда Пролетарка с женой углубились в свои домашние сновидения, она тихонько с завалинки забралась, ловко, как ящерица, через форточку, словно исполняя привычное дело, в комнату. Сползла на пол, подкралась на цыпочках к шифоньеру и изъела драгоценную бражку. Обратно с баллоном выбраться не получалось. Тогда Людмила рискнула выйти через дверь. Пролетарка с супругой, несмотря на хрупкое телосложение, храпели в два голоса, забивая любые другие звуки. Лёгкое бряцанье щекотки, скрип и стук входной двери даже не поколебали их стойкого сна.

Утром Пролетарка, выпучив глаза, стучал к соседке Валентине.

– Слышь-ка, Валя, бражку украли из шифоньера. Чуешь! Кто бы мог?

– А ты кому показывал, с кем, может, выпивал?

– С Людкой вчера по стаканчику пропустили. Но нет, она не могла. Пойдём, посмотрим место преступления.

Валентина вслед за Пролетаркой зашла к нему в квартиру. Коридор, справа кухня и спальня, а в конце – отдельно зал. Там круглый стол со стульями, диван и шифоньер – вся мебель.

Валентина обратила внимание на распахнутую форточку:

– На ночь-то закрывали?

– Нет, всё время открыта была.

Вышли на улицу и тут обнаружили под окном спавшие с ног похитительницы женские тапочки.

– Дай-ка мне их, – предложила Валентина. – Иван приедет, расследует.

Но сама уже поняла, кто здесь наследил. Это мужики в небо глядят, что под ногами, не замечают. Бабы – они зорче, внимания к мелкому больше. Так что, чьи тапки, Валентина сразу поняла. Вчера они их на Людкиных ногах видела. Следствие, не дожидаясь Ивана, сама навела. Прямоком от Пролетарки направилась к Людке. Та, уже прилично приняв бражки, не только не отпиралась, но со смехом принялась рассказывать, как ночью ходила на дело со взломом.

– Ты только не говори никому, Валя, – попросила Людка.

– Бесполезно, ты вещественные доказательства оставила, тапочки.

– Ах, ёлки-мotalки, – опять весело заматерилась Людмила. – Придётся идти виниться. Простит, простит Пролетарка, он теперь добрый. Да и бражки ещё полбаллона осталось, пойду, отнесу.

Пролетарка действительно не сердился, тем более что в этот день дочь Ирина привела на побывку внучку Октябринку, названную в честь сестры. Детсад закрыли, так как электричество отключили по посёлку на день для ремонта. Очень внучку любил Пролетарка, и она ему отвечала такой искрен-

ней детской любовью и лаской, что иной раз пускал он наружу слезу, особенно когда внучка обнимала его за шею и целовала лёгкими детскими губами. «Плолеталка, Плолеталка», – звала она его, долго не выговаривая букву «р». А за дочь беспокоился, переживал. Не всё у неё в жизни складывалось так, как хотелось. Замуж вышла за приезжего с Украины по фамилии Черноморец, её после свадьбы все в округе стали звать Пролетаркина Черноморка. Он – Черноморец, она – Черноморка. Но дело не в фамилии. Просто не получилось как-то у них семьи. Разными оказались.

– За местных замуж надо, – повторял не раз Пролетарка, когда у них наступал очередной разлад.

В конце концов уехал на свою Украину Черноморец, а вскоре заявление на развод прислал. Развод сделали. Правда, алименты аккуратно на дочку присылал, не по исполнительному листу, добровольно.

Так и шло Пролетаркино время. Ирина снова замуж вышла, за местного, на грузовике работал. Хоть фамилию мужа, русскую, взяла, но так и осталась Пролетаркиной Черноморкой. Сын у неё родился, так что невеста от чего Черноморцем кликать начали к неудовольствию родного отца.

Всё же хорошо, ровно новая семья жить начала, да видно горе их всё равно караулило, за углом стояло. Года четыре спустя поехали Ирина с мужем на его машине дров привезти к зиме. Лесозаготовки далеко были от степного посёлка, через несколько увалов дорога лежала. На самый крутой поднялись, да заскользила машина по сырой после дождя разбитой глинистой дороге. И повалилась в овраг. «Выпрыгивай!» – закричал муж Ирине, а она чуть замешкалась, и выпрыгнула позже, чем следовало, так что перевернувшейся машиной её и придавило. Ещё несколько кувырков машина сделала, до самого дна оврага. Помощи уже никому не потребовалось. Муж в помятой кабине умер, изуродованный, а Ирине при падении голову как ножом открытой дверью отрезало. Хоронили обоих в закрытых гробах, и чудилось Пролетарке, что головы Ирины нет под крышкой. Долго он потом не мог избавиться от этого видения.

Остались двое круглых сироток. За дочкой Черноморец вскоре приехал, забрал на Украину, ну а внука пришлось деду Пролетарию и бабе Ньюше усыновлять. Горе было такое, какого, как казалось Пролетарке, он никогда не испытывал. Ни в плену, ни в лагере на Колыме, когда мог умереть в любую минуту, когда от голода живот мог дрожать, и хотелось проглотить хоть землю, хоть камень – лишь бы унять эту дрожь. Единственный настоящий бой со свистом пуль и осколков над головой – и тот был не таким страшным Пролетарке, как жуткая смерть дочери, а потом и отъезд внучки.

Но маленькое счастье всё же улыбнулось Пролетарке. Черноморец написал письмо с Украины: никак не приживается Октябрина в новой семье. К мачехе, его новой жене, не подходит и не разговаривает, а со сводным братом только ссорится, до драки дело доходит. Просится назад, в Забайкалье. Если возьмёте, то приезжайте за ней.

«Что значит – если? Бегом побегу», – подумалось Пролетарке. За пару дней собрался, телеграмму отбил Черноморцу, и в путь.

Ехал той самой дорогой, что в сорок втором втянула его в войну, а дальше плен, дальше лагерь, так и по сей день словно и не сходил со своих рельсов Пролетарка, пробиваясь через несчастья, лишь кое-где встречая остановки радости.

Черноморец и вся его семья, большая украинская родня, встретили Пролетарку приветливо, с искренней радостью. Искренность в человеке научил-

ся чувствовать Пролетарка, жизнь его непростая науку преподавала такую. Закормили и запоили, а в обратную дорогу загрузили торбами фруктов, солений и копчений так, что едва он этот груз мог тащить.

Но главное – внучка! Как повисла на нём в первые минуты встречи, так и не отходила ни на шаг, словно боясь, что, не дай бог, испарится дедушка.

Много разных рассказов о войне услышал от украинцев Пролетарка. Пострадал народ, хлебнул горя полное корыто. Многие в плену были. Тут и услышал он о том, что есть в Германии фонд «Взаимопонимание и примирение», который выдаёт бывшим военнопленным денежные компенсации. Сначала не особо придал этому значение Пролетарка. Но когда приехал домой, обустроил внучку, на неё опекунство оформил, стал о том фонде подумывать.

Радости внучатам не было, казалось, конца от встречи. Октябринка – уже подросток, как-то незаметно все заботы о братишке в свои руки забрала. Стирала и на себя, и на него, кормила. В общем, стала ему как мать. Парнишка, чувствуя искреннее её сострадание, как к матери, к ней прилип. Ни ссор, ни ругани какой между ними, как это бывает часто у брата с сестрой, не было.

Пролетарка долго раздумывал, но всё же опять стал ждать, когда навестит их посёлок горячо им уважаемый, а тайно вообще обожаемый адвокат Иван Георгиевич, чтобы потолковать о той немецкой компенсации.

Адвокат обычно приезжал из района на выходные. В очередной такой его приезд Пролетарка скараулил его на лавочке у дома. Тот с удовольствием присел рядом с ним, закурили. Георгиевич поправил очки, которые, как всегда, криво висели на его мощном носу, выслушал, сказал:

– Лады, Пролетарий Батькович, видать, хорошо подумал, не буду патристическую мораль читать. Пошли к тебе, заявление строить.

Писал, как всегда, вдумчиво, не спеша, с черновиком. Знал, что делал, уже не первый бывший пленный к нему обращался. Только ответа на письма пока не было, о чём Пролетарке не говорил.

Долго тянулась потом переписка, года три, пока все справки не были собраны, в том числе и выписка из Военной коллегии Верховного суда РСФСР о реабилитации. Но, главное, удалось там, в Германии, в той деревне, где был в плену Пролетарка, найти свидетелей, кто его помнил. Затруднения возникли из-за того, что у герра Лишке в батраках был Иван, а писал Пролетарий. Не помогла и фотография, так сильно изменила его жизнь. И только воспоминания о немецком ребёнке, которого он спас из-под пуль, представленные как редкий, мало кому известный факт, вовсе не как подвиг, но факт в деревне запомнившийся, дали последний штрих немецкой педантмашине принять положительное решение.

После этого получил Пролетарка хорошие деньги, переведённые «заботливым» советским банком в рубли и взявшим за это бессовестным образом комиссионные.

Всё равно денег было достаточно. Все их до копейки пустил Пролетарка на внуков, хорошо поправив их молодой внешний вид, так нужный им в эту самую пору.

Неотвратимо наступала новая жизнь. Непонятно почему исчезли продукты: мясо, масло, крупы, мука. Невозможно было купить ни одежды, ни обуви, пропадало даже мыло. Начались битвы за водкой, порождённые глупостью власти. В недостатке было всё. Прибавлялась только озлобленность людей и безысходность в мыслях.

Засевшая, казалось, глубоко внутри Пролетарки память плена и лагеря тихо и незаметно всплыла в нём, поставив заслон тревогам и страхам. Он, как никто, наверное, ощущал ценность того, что можно было по-прежнему просто жить. Было только беспокойство за внуков, как они смогу наладить судьбу в это смутное время.

Но, как удар, которого не ждёшь, поэтому и падаешь и бьёшься особенно больно, подстерегла Пролетарку смерть жены. Он испытал ощущение, как будто кто-то оторвал ему и руку, и ногу, как будто он потерял не половину свою по совместной жизни, а половину себя, даже половину зрения и слуха, так горе затмило всё вокруг и заглушило звуки.

Когда Пролетарка ушёл на пенсию, а ему было тогда почти семьдесят лет, он опять словно потерял что-то. Сколько себя помнил – столько был занят трудом. Начиная с огорода и пастьбы коров, ухода за свиньями, рабства и неволи на грани жизни и смерти, заканчивая нескончаемым, но для него увлекательным, очищением поселковых улиц – последнее было единственным содержанием его общественной жизни. Брюки галифе и китель-сталинка, оказалось, далеко не самый главный его антураж. Главное – это необходимость обустройства всего вокруг для благополучной человеческой жизни, цену которой Пролетарка научился ценить уроками войны, неволи и ненужного, необоснованного всеобщего озлобления против него после войны. С тех пор, когда по-настоящему свободным стал, взял в руки метлу и сделал ею первый взмах, собирая в кучку мусор, а потом ликвидируя его долой с людских глаз, оставляя за собой аккуратные дорожки и газоны, – до самой пенсии не покидало его чувство радости за пользу своего труда, пусть кому-то казавшегося незначительным.

Теперь содержанием его жизни окончательно стали его внуки, да только времени для этого доброго счастья Пролетарке оказалось отмерено мало. Он это чувствовал и ласкаясь к внукам, уже большим, не особенно подходящим для его собственных ласк. Обнимая их, Пролетарка повторял только одну-единственную фразу:

– Внуки, мои родные внуки, помните всегда дедушку, как он любил вас, будете меня помнить – я всегда рядом окажусь, где бы ни упала моя голова.

Плакал украдкой по ушедшей жене, по неясному продолжению жизни внуков. Дивился своей собственной судьбе, страданиям, долгим годам на краю гибели, позднему счастью. Как будто прожитая жизнь была не его, а всё, что в ней случилось, было не с ним. Повторял про себя, всё чаще и чаще замирая взглядом на затяжных и далёких по забайкальскому горизонту степных зорях: «Всё прошло...»

Давно уже нет Пролетарки, упокоился на новом кладбище, на горке, где во все стороны, насколько глаз хватало, лежит его любимая забайкальская степь.

Хоть и удалось вытянуть из себя жгучую, горькую занозу, успокоить душу от яда, травившего его многие годы, да последние всё равно погубило его.

Наконец душа вышла из тела, воспарила свободно в небеса и успокоилась.



*Сыну Дмитрию,
с любовью и благодарностью за подсказку.*

В квартире на четвёртом этаже висела тишина. Лишь в прихожей неразборчиво шепелявила радиоточка.

Антон Матвеевич Синицын сидел на кухне и наблюдал, как чайник на газовой плите начинает закипать. Вечер завершался. Оставалось попить чаю, читая на диване журнал из подшивки, и ложиться спать. Хотя в центре, в получасе езды,

жили дети и внуки, здесь, на окраине, они показывались редко. Жёну Антон Матвеевич проводил навсегда ещё до пенсии. И сегодня он вновь коротал обычный вечер одиночки.

Прохаживаясь по комнате с чаем в стакане с подстаканником в руках, в раздумьях, Синицын обратил внимание на окна девятиэтажки, что выросла полгода назад в сотне метров от его дома. В одном из окон на пятом этаже ритмично гас и снова зажигался свет. Антон Матвеевич пригласил ночник и стал наблюдать, изредка отпивая чай. Прошло десять минут. Мигание не прекращалось. Чай остыл. Синицын задернул штору, отнёс стакан на кухню и отправился спать.

Новый день Антон Матвеевич начал короткой пробежкой по тропинкам парка. Ещё рано утром проморосил дождь, и поэтому ноги вымокли. Из-за боязни простудиться ему потом пришлось долго стоять под горячим душем.

Пять лет назад выход на пенсию был для Синицына обретением свободы. Он, наконец, получил право распоряжаться своей жизнью полностью. Но со временем проявилось чувство растерянности. Ему приходилось прилагать усилия, чтобы не поддаться страху неопределённости. Так складывался новый распорядок, новые привычки и разные занятия, которые он в шутку называл «наживками». Сегодня, по плану, он собирался пойти в шахматный клуб, завсегдатаи которого собирались в парке культуры на лавочках перед старой эстрадой. Синицын неплохо играл в шахматы. Он быстро стал в клубе своим и с удовольствием коротал здесь время. Так и сегодня, за игрой, пересудами и кофейком с коньяком, провёл день.

Перед телевизором, поддевая вилкой макароны, Антон Матвеевич вспомнил о вчерашнем окне с мигающим светом. Он встал с дивана, поставил тарелку на телевизор и, прижавшись лбом к прохладному стеклу, вгляделся в вечерние сумерки. За деревьями парка, за детской площадкой девятиэтажка мерцала окнами: в одних слабо синел отблеск телеэкранов, в других – свет настольных ламп; отдельные окна сияли празднеством люстр, а другие слепо смотрели на мир прямоугольниками темноты.

Синицын, разглядывая дом, старался вспомнить то место, за которым он наблюдал вчера. Но пятый этаж светился только двумя окнами посередине

дома, и вспомнить, откуда вчера маячили сигналы, сразу не получилось. Антон Матвеевич уже стал оправлять занавеску, как в доме напротив мигнуло и погасло в окне. Старик застыл, смотря туда, и удивился неожиданному биению собственного сердца, словно он наблюдал что-то необычное и загадочное.

Свет мигал с равными промежутками. Затем гас и через несколько секунд темноты повторялся снова.

Антон Матвеевич ощутил почти детскую колющую зависть. Было чувство, что его не позвали в какую-то тайную игру, и ему теперь со стороны приходилось наблюдать за увлекательным занятием кого-то другого. Хотя, конечно, он не знал, кто подаёт сигналы. Может, прикованный к коляске инвалид или влюблённый юноша. А, может, школяр, наугад сигналивший в мир звёздному небу, инопланетянам.

Второй час ночи Синицын встретил, сидя в темноте на застеленном диване. Он не мог уснуть. В душе щемило чувство, которое родилось этим вечером. Стена комнаты, на которой уныло отсчитывали время круглые часы, была наполнена ночными бесформенными узорами из теней листвы и световых точек, что пробивались сквозь неё и шевелились на обоях причудливыми пятнами. Синицын вглядывался в них и ощущал, как он всё больше оказывается на обочине мира. Тот, кто посылал сигналы, участвовал в каком-то деле, ему или ей необходима была связь, он или она упорно, каждый вечер находили для этого желание, силы и время. Были увлечены и уверены в себе. А он, Синицын, сидел в темноте на своей постели где-то в стороне и ощущал своё бессилие и слабость. В увлекательную игру жизни он уже поиграл, и больше его туда никто не позовёт.

Он проснулся очень рано. За окном висел туман. Так и не забравшись под одеяло, он проспал в пижаме, полусидя, привалив голову на спинку дивана. Мышцы затекли. Настроение было омерзительным. Во рту кислило.

Сегодня не хотелось ничего делать. Антон Матвеевич, не снимая пижамы, позавтракал и уселся перед телевизором. Так и просидел до обеда, нажимая кнопки каналов. Первый раз за последние годы он по-настоящему не знал, что делать дальше. Чем заняться. Ближе к пяти часам переоделся в брюки и свитер. Кряхтя, завязал ботинки и вышел на прогулку, на ходу надевая пальто.

Немного пройдясь, он увидел перед собой тот самый дом, из которого шли сигналы. Две, казалось, бесконечных стены смыкались под тупым углом, и поэтому он напоминал огромную раскрытую книгу. Девятиэтажная машина нависла над Синицыным и, как многоглазое существо, рассматривала его одновременно сотнями прямоугольных глаз на застывшем плоском сером лице. Антону Матвеевичу стало нехорошо. Ему вдруг почудилось, что сейчас эта многоглазая книга неожиданно захлопнется, и он останется высыхать меж бетонных плоскостей, раздавленный, словно клоп.

Синицын качнулся, глубоко вздохнул и пошёл в сторону своего дома. Не хотелось быть тем, кто не может ничего совершить. Вся натура сопротивлялась ночным мыслям. Хотелось показать если не миру, то себе, что он может сделать ещё один решительный шаг. И что он тоже ещё умеет играть в странные детские игры, в которых есть общие секреты и пароли, доступные лишь тем, кто принят в игру.

И тут его осенило! Как он не догадался об этом раньше? Куда он смотрел и о чём думал? Он знает, как поступить. Решение вот оно, в его руках, в его сердце. Сегодня же вечером он поддержит сигналы. Он ответит на них. И примет участие в этой нужной, спасительной для него игре. Сегодня же. Этим вечером.

Вечер оказался невыносимо тягучим. Синицын мерил квартиру шагами и с тоской смотрел на медленные сумерки за окном. Село солнце. Стемнело. Антон Матвеевич стоял у двери на балкон и напряжённо наблюдал, как загораются окна. Стало окончательно темно. Прошёл час. И вот – мигнуло. Он бросился в угол комнаты к выключателю и положил палец на его клавишу.

Вспышка – тьма – вспышка – тьма.

Он почувствовал, как по спине потёк пот. Щёлкнул несколько раз в ответ, обратив внимание на то, как туго подаётся клавиша выключателя. У Синицына не получилось просигнализировать так же проворно, как его сосед из дома напротив.

Но случилось главное. Его заметили. И ответили двумя вспышками. Антон Матвеевич, волнуясь, мокрым от пота пальцем два раза перещёлкнул клавишу.

Окно мигнуло один раз. Один раз ответил Синицын. Потом была одна вспышка и через паузу две. Антон Матвеевич боялся поверить, но ему показалось, что один сигнал это – «Я», а две вспышки – «Ты». И тогда получалось, что одна и две вспышки означает «Мы». Он старательно отбил один сигнал, добавил два, а затем один и два через короткую паузу.

Издали, сквозь сумерки, ответили одним длинным сигналом, и наступила темнота. Синицын включил через некоторое время свет и посмотрел на часы. Стрелки показывали всего-то половину двенадцатого ночи.

Антон Матвеевич ощутил прилив сил. Тело было пружинистым, сердце колотилось, разнося по телу кровь. Хотелось сделать ещё что-нибудь. Смелое и неожиданное, как в молодости. Но ничего не пришло в голову. Он выпил валерьянки и пошёл спать.

Отныне день превратился не просто во времяпрепровождение, а в наполненный смыслом ожидания отрезок жизни. Синицын сходил в магазин электротоваров и заменил на стене тугой старый выключатель на более современный и податливый. Потом целый день читал книгу о различных способах связи на расстоянии. Там описывался и африканский «тамтам», и индейские способы костровой передачи сообщений, и световой семафор Морзе. Но азбука Морзе не подошла. Загадочный собеседник то отпускал чёткие сигналы, то, в следующий момент, в его окне появлялось мерцающее свечение, меняющее интенсивность. Впрочем, по прошествии недели Антон Матвеевич начал воспринимать все эти вспышки как определённые фразы. Он ощущал себя человеком в чужой стране без переводчика, которому ничего не остаётся, как научиться понимать новый язык. И он старательно всё запоминал, записывал в тетрадь и до глубокой ночи разбирал сообщения.

Ещё через некоторое время он съездил к сыну и попросил у него старую видеокамеру. Теперь, записывая на неё сеансы связи и просматривая их, стало легче познавать странный световой язык собеседника. Синицын соорудил нечто вроде светового передатчика, который позволял при помощи реостата выдавать пульсирующие световые вспышки. И наконец наступил вечер, когда Антон Матвеевич смог вступить в полноценный разговор.

Ночь. Во всей квартире он выключил свет и сидел за столом, на котором стоял тщательно проверенный «передатчик». Под правой рукой Синицына находилась присоединённая к настольной лампе кнопка дверного звонка для подачи сигналов, а левая сжимала ручку реостата. Раструб плафона был направлен в темноту, на улицу, в сторону огромного дома с огоньками окон. Видеокамера тоже была на столе и уже десять минут работала.

И вот – вспышка! За ней несколько пульсаций.

Синицын уже знал эту «фразу». Его приветствовали. Он уже слышал в голове перевод: «Я знаю, ты здесь». Синицын, нервничая, боясь ошибиться, просигналил то, что он старательно составил сам: «Кто ты?» В ответ – пульсации: «Сосед». Антон Матвеевич ощутил вдохновение и, уже не думая как, ответил: «А я – пенсионер».

Наступила темнота. Прошла минута. Сердце колотилось, а по спине тёк пот. И ответ: «Наверное, одиноко?» У Синицына ёкнуло: «Одиноко». И тут же ответ: «Мне тоже; я тоже – как бы пенсионер».

Антон Матвеевич увидел в своём воображении тёмную комнату, в которой сидит такой же одинокий человек, прикованный, скорее всего, к инвалидной коляске. Какой-нибудь молодой парень после Чечни, а, может, и уже стареющий солдат Афганистана. Сидит у стены и нажимает на выключатель. Подумав, Синицын отправил вопрос, продиктованный не столько любопытством, сколько чувством, похожим на ревность: «Тебе больше никто не сигналил?» Ответ был такой: «Нет. Похоже, больше никто не заметил». И прощание: «Извини, мне пора». Темнота в окне.

Дрожащими руками Антон Матвеевич взял в руки видеокамеру и остановил запись. Затем, не включая свет, налил себе холодного чая. Дом напротив гасил, смыкая, окно за окном. Люди ложились спать.

Утром, просматривая запись на откидном экранчике камеры, Синицын подумал о том, что надо бы навестить своего ночного собеседника, познакомиться, может, чем подсобить... Но тогда потеряет свой таинственный смысл игра, в которую он с таким рвением вошёл... Антон Матвеевич зашагал по комнате. В самой глубине души начало тихо щемить. Подойдя к трюмо, он остановился, взглянул в своё отражение, встряхнул головой и решил, что «перестукиваться» бесконечно несерьёзно. С людьми надо знакомиться, общаться. Значит, всё-таки будет резонно нанести визит, и лучше – сюрпризом. А для этого надо определить, в какой квартире живёт собеседник.

Собираясь на улицу, Синицын задел взглядом коробку с недавно купленными туфлями. Он хмыкнул, снял ещё не зашнурованные ботинки и надел туфли.

Высматривая окно, определяя подъезд и угадывая расположение квартиры на площадке, Синицын пару раз обошёл дом кругом. Здание было новой планировки, и сразу вычислить искомое не удалось. Но, потолкавшись у подъездов, через полчаса он уже знал даже номер квартиры. После этого с воодушевлением отправился прогуляться, обдумывая детали своего визита.

Вечером сеанс связи не состоялся. Антон Матвеевич просидел у окна допоздна. Но свет загорелся только раз. Замигал, пульсируя, а потом несколько раз включился на несколько секунд и погас совсем. Ни одного сигнала в этом не прочитывалось. Скорее всего, просто включали свет. В этот раз Синицын засыпал трудно и печально. Обидно было сорвать такое хорошее начало. Но назавтра он твёрдо решил нанести визит.

Утром, приняв душ, Антон Матвеевич побрился с настроением. План был готов. Ближе к вечеру, часов в шесть, он нанесёт неожиданный визит. Чем встреча закончится – неизвестно, но есть возможность представиться и завести новое знакомство.

Позавтракав, Синицын сбегал в гастроном за тортом. Попутно купил гвоздику, сказав себе в оправдание: «На всякий случай». Думал купить шампанское, но не решился. После этого он готовился. Гладил брюки, рубашку и старательно чистил туфли.

В шесть часов вечера Синицын, парадно одетый и в приподнятом настроении, волнуясь, вышел из своего подъезда. Путь его лежал через парк и детскую площадку к дому, где жил, как его уже по привычке называл Антон Матвеевич, «Связной».

В лифте с разрисованными фломастерами стенами Синицын отыскивал обугленную, в сажу, кнопку с цифрой «пять». Кнопка продавилась, и лифт пополз вверх... Выйдя на площадку этажа, Антон Матвеевич огляделся. Справа от него, рядом с лестницей, находилась дверь нужной ему квартиры. Синицын подошёл к ней и, собираясь с духом, остановился. Краска на двери кое-где потрескалась. Номерок квартиры на краях был загнут так, словно шурупы доколачивали молотком. Из-за двери доносились глухие голоса. Судя по всему, разговаривали на повышенных тонах. На Синицына навалилась нерешительность. Вся затея показалась бессмысленной. Сейчас всё происшедшее с ним представлялось глупым мальчишеством, озорством. Ещё оставалась возможность развернуться и уйти. Но рука сама собой потянулась к звонку.

Звонок отозвался шепелявым треском. Голоса за дверью притихли. Через несколько секунд щёлкнул замок, и дверь распахнулась.

Перед Антоном Матвеевичем в дверном проёме стоял мужчина. Чуть позади него была видна женщина, а из-за ног мужчины выглядывал заплаканный мальчуган лет трёх-четырёх. Все они молча смотрели на Синицына.

Мужчина и женщина были неопрятны. С одного взгляда на их лица Антон Матвеевич понял, что алкоголь в этом доме частый гость. Мужчина был одет в линялую жёлтую футболку и старое китайское трико, что лоснились от грязи. А женщина с небрытыми волосами теребила рукой воротник старого бесформенного халата.

Синицын так и застыл с натянутой улыбкой на лице. Пауза затягивалась. И он наконец выдавил из себя: «Здравствуйте». Хозяева в дверях недоверчиво тоже его поприветствовали. Нужно объяснить, зачем он здесь. Развернуться и уйти оказалось непросто.

– Я живу в доме напротив, – неуверенно начал Антон Матвеевич.

Они снова промолчали.

– Так вот, я живу в доме напротив. И однажды обратил внимание, что из вашего окна по вечерам видны сигналы. Кто-то мигает лампочкой. Я долго наблюдал за ними, – тут Синицын стеснительно кашлянул, – и даже пытался на них отвечать.

– Ну, и... – недружелюбно произнёс мужчина.

– Да, как вам сказать, – Антон Матвеевич всё труднее подыскивал слова. – Я подумал, что кто-то в беде, в одиночестве. И вот, пришёл познакомиться. Торт купил.

– Чего-то я ничего не понял, – хозяин посмотрел на женщину, – какие сигналы? Кто кому мигает?!

Женщина нахмурилась, посмотрела на Синицына, потом на супруга, и тут её лицо озарилось догадкой. Она закивала головой, и было видно, что она начинает распаляться.

– А я вот всё поняла! Я поняла, что это за сигналы! Я сколько раз говорила, что надо выключатель на кухне отремонтировать. Вы понимаете, – она обратилась к Антону Матвеевичу, – у нас на кухне выключатель «контактит». Вот этот лентяй запойный только одно слово знает: «контактит», – а отремонтировать, понимаете, кишка тонка. Вы уж его, пожалуйста, простите, безрукого-то. Никто никаких сигналов не посылал. А просто, у кое-кого,

выключатель на кухне «контактит». Мы на кухне даже ужинать перестали. Терпения нет сидеть при мигающем свете.

– И что, у вас всё в порядке?

– Ну, если не считать, что ещё унитаза из ведра сливать приходится...

– Извините, я имел в виду, что никто не болеет, нет одинокого неприкаянного человека?

– Ну, у нас есть один больной на голову, – дама в халате уже игриво глянула на кавалера в трико, – но его неприканным не назовёшь... Правда, Пусик?

– Ты вот что, дед, иди, откуда пришёл. Нет у нас ни радистки Кэт, ни Штирлица, – хохотнул, завершая тему, Пусик и победно глянул на жену.

Антон Матвеевич растерялся. Вот как всё повернулось. Оказывается, ничего не было.

– Простите, как же так. Я получал сообщения, я изучал код, на котором со мной выходили на связь... – Последние слова он говорил уже не тем, кто стоял у порога, а себе. Он протянул торт женщине и сказал: – Вашему мальчику.

Спускаясь по ступенькам, Антон Матвеевич даже не услышал, как на лестничной площадке хлопнула дверь. Выйдя из подъезда, Сеницын увидел, что держит в руке гвоздику. Он положил её на скамейку.

Весь вечер Антон Матвеевич пролежал. Подскочило давление, и несколько раз пугало сердцебиение. Было смешно и грустно думать, что он дожил до такого состояния, когда можно начать верить собственной выдумке. И как это получилось, было для него загадкой. Загадкой, которую он отгадает позднее или не отгадает никогда.

Около одиннадцати, решив попрощаться со своей старикинской затеей, он поднялся, выключил свет и встал у окна. В кухне, где нерадивый хозяин не мог отремонтировать выключатель, было темно.

Антон Матвеевич постоял, тяжело вздохнул и стал опрашивать шторы.

В доме напротив вдруг мигнуло. Сеницын взглянул и горько усмехнулся: «Кто-то из хозяев появился на кухню». И стал смотреть, как в окне пульсирует свет.

«Я знаю, ты здесь», – высветилось в ночи. Антон Матвеевич подумал, что окончательно сходит с ума, но решил досмотреть до конца.

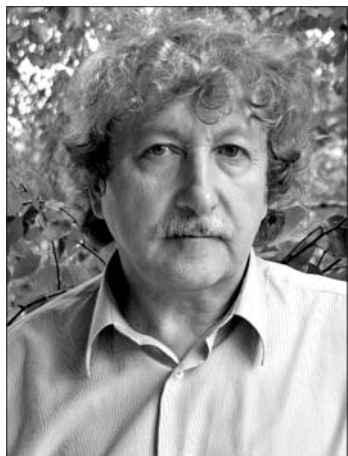
«Прости, что так получилось», – просигналило окно.

Темнота. Долгое, как век, молчание. Потом: «Больше меня не будет. Пора уходить».

И словно через раздумье: «Прощай навсегда».

Окно погасло.

Сеницын стоял и плакал. Словно и вправду ушёл хороший добрый друг, с которым он так и не увиделся.



Вечер подходил к концу, я пожелал спокойной ночи дочери и уже подумывал о том, чтобы пойти спать, как вдруг в прихожей раздался телефонный звонок.

– Воспитанные люди в столь позднее время беспокоить не будут... – проворчал я, обращаясь к жене.

– Это уж точно! Одиннадцать часов, – отозвалась с кухни супруга и тут же, повысив голос, добавила: – Да подойдёт же кто-нибудь к телефону, пока он всех не перебудил! Мне – в такое

время! – звонить не будут.

Я нехотя поднялся с кресла...

С моей женой не поспоришь в двух случаях: когда она не в духе и когда она спешит по делам. Весь сегодняшний вечер мы жили по первому варианту, и я вёл себя предельно осторожно, чтобы не разжечь ссору из-за какого-нибудь пустяка.

– Слушаю вас, – традиционно вежливо произнёс я, поднеся трубку к уху.

– Петрович, привет, – послышалось из телефона. – Не узнал?

– Да нет, почему же, узнал...

Это был Станислав Михайлович, можно сказать, старый приятель, с которым я когда-то работал на заводе. Петровичем только он меня и называл, да и то лишь здороваясь, а так – по праву старшинства – просто Серёжей.

Знанием этикета он похвастать никогда не мог и в прежние годы звонил, бывало, гораздо позднее, всегда находя для этого какой-нибудь оригинальный повод.

Надо сказать, он вообще был оригиналом. Его не волновали ни карьера, ни заработная плата, ни профессия. Этим он и отличался от всех. Михалыч готов был работать в любой должности, придерживаясь повсеместно насаждаемого в советское время мнения «не место красит человека». К тому же он не желал быть лучше кого бы то ни было, работал ровно, не напрягаясь. «Моё от меня не уплывёт», – шутил он и верил в судьбу.

Любимый начальством и коллегами за добрый нрав и несклочный характер, он довольствовался малым и при этом всегда оставался в прекрасном расположении духа. Лишили премии – нет проблем! Вечером рыбалка, а поэтому Михалыч и не думал расстраиваться, мысленно он уже был в ожидании рыбацкой ухи и положенных к такому случаю ста грамм водки. А раз так, то фиг с ней, с премией, рыбалка поважнее будет!

Развёлся с женой – да разве других нет?! Вон их сколько! Главное не забыть в газету объявление подать: «Так и так. Одинокий. Без вредных привычек. Для серьёзных отношений познакомится...» Спустя некоторое время на его рабочем столе появлялся нехитрый расклад вырезанных из тетрадных

листочков небольших карточек с именами, возрастом и телефонами, некоторые и с фотографиями женщин, откликнувшихся на его приглашение к знакомству.

Прелюбопытная картина, доложу я вам! Не было в обеденный перерыв интереснее занятия, чем наблюдать, с каким серьёзным видом Михалыч пытается разгадать этот дамский пасьянс – соискателей места супруги было не меньше десятка. Тут не расслабишься! Надо и повстречаться с каждой, и на интимные дела «проверить», а если вдруг не легла на сердце, то постараться не обидеть и вежливо отказать. В общем, всё бы ничего, да времени мало! С одной прогуливается по парку, вторая ужин готовит, третья на телефоне ждёт. И при этом ни одна из них не должна догадаться о существовании конкуренток! Когда уж тут грустить о прошлом!

Вот так и жил Михалыч, всегда находя для себя в жизни новый интерес и увлечение, ничуть не огорчаясь от случавшихся с ним неудач.

– Плохо мне, Серёжа. Приехал бы ты ко мне, поговорить надо, – слабым голосом попросил он. – Чайком тебя угощу. Варенье есть. Пять сортов... Приедешь?

– Что случилось? Голос мне ваш не нравится.

– Умираю я, Серёжа. Приезжай, чем скорее – тем лучше. Завтра можешь?

– Приеду. В три часа нормально?

– Нормально. Жду, – неожиданно быстро закончил разговор Михалыч и положил трубку, оставив мне немало вопросов.

«Вот дела! – думал я. – Почему умирает? Выглядел всегда молодцом. Лет-то ему сейчас не больше шестидесяти пяти. Может, пока не виделись, что-нибудь случилось? Завтра будет ясно».

Минут через тридцать я уже спал, но перед сном спланировал весь следующий день «под Михалыча». Жил он в общежитии на окраине города, и поэтому нужно было не меньше двух часов, чтобы поговорить с ним и вернуться назад.

На следующий день точно в назначенный срок я направился к Станиславу Михайловичу. От яркого солнца начинал подтаивать снег, образуя на дорогах первые лужи. Соскучившись по теплу, я неторопливо вёл автомобиль, успевая поглядывать по сторонам и радостно отмечать появившиеся повсюду ранние признаки весны.

Вспомнилась первая супруга Михалыча, о которой он всегда отзывался с уважением и гордостью. Некоторые, познакомившись с его женой, начинали ему завидовать. И красавица, и умница, да ещё при должности и связях. Во времена повального дефицита она могла одеть мужа не хуже иного щёголя, к тому же недорого. Легко было догадаться – такое возможно, если имеешь отношение к торговле.

Станислав Михайлович говорил о ней всегда с подчёркнутой теплотой и нежностью:

– Леночка просила придти пораньше, уж извините, – и уходил с иного праздника в самый разгар веселья. – Делаю это не из страха перед женой, а из уважения, – объяснял он, если коллеги начинали над ним подшучивать.

И вдруг, неожиданно для всех, увлёкся другой женщиной. А поскольку скрывать ничего не умел, благоверная быстро узнала о его страсти и указала на дверь. Имущество разделили без споров: Михалыч ушёл жить в общежитие, ему оставили лишь крохотную дачку на острове, рыболовные снасти и моторную лодку.

К трём часам я подъехал к общежитию. Пятиэтажка встретила меня грязным подъездом и запахом сырости из подвала. Я поднялся на второй этаж, прошёл по коридору и, не обнаружив звонка, громко постучал в металлическую дверь.

– Иду, иду. Серёжа это ты? – послышался из-за двери голос Станислава Михайловича.

– Я. Как договаривались.

– Сейчас, сейчас, подожди, ключ найду, – послышалось недовольное ворчание, это хозяин вслух сетовал на свою забывчивость. К счастью, ключ был найден довольно быстро, и через минуту я уже стоял посреди его комнаты.

– Вот видишь, как теперь живу. Куда ни глянь, лекарства, – устало сказал Михалыч, присаживаясь на кровать, но тут же подхватился, пододвинул мне табуретку. – Ты садись, садись, сейчас чаёк поставлю.

Действительно, комната походила на маленький аптечный склад, везде аккуратно разложены и расставлены коробочки с таблетками и пилюлями, пакетики со сборами трав, пузырьки с каплями и бутылочки с микстурами.

– Станислав Михайлович, неужели это всё ваше? – удивлённо спросил я.

– Конечно, моё! Без них меня бы уже не было. Давление за двести! Есть, как раньше, по-человечески не могу, сижу на кефире и жидких кашах, – грустно поведал он, выставя из тумбочки на пластиковый кухонный стол печенье, чашку и баночки с вареньем. В маленькой комнатухе всё было под рукой.

Потом Михалыч снова опустился на кровать – так, словно проделал тяжёлую работу. Заметив, что я меряю его жильё взглядом, прокомментировал:

– Три в одном – кухня, спальня и гостиная.

– Вам бы ещё и женщину найти, чтобы одна за трёх: и любовница, и врач, и повариха, – пошутил я.

– Есть у меня врач, Серёжа, ангел-хранитель мой, Любовь Михайловна. Без неё помер бы давно, а так, видишь, живу, – с теплотой в голосе отозвался он о неизвестной мне женщине.

– Вы дружите?

– Только дружу. Ведь у неё семья. Помогает мне совершенно бескорыстно.

– А для души?

– Ну, как тебе сказать, познакомился недавно с одной. Машей звать. Лет пятидесяти. Устал я от неё. Зануда, каких свет не видел. Начнёт говорить о своих подругах – не остановишь! Терплю, поскольку других нет.

– Ясно. А меня-то зачем позвали?

– Хочу я, Серёжа, попросить тебя присмотреть за мной. Плохой я сильно стал, бывает, так прижмёт, что кажется всё – не выкарабкаться. Вчера в аптеку пошёл, так там чуть и не остался. Девчонки-продавщицы выручили, час меня отхаживали, не мог домой уйти, давление двести сорок! Представляешь?

– Ну, а я-то чем помогу?! Я на другом конце города! Да и времени свободного нет совсем. Сегодня еле-еле два часа выкроил...

– Ты не понимаешь. Мне не это надо. Ты бы только иногда звонил мне и спрашивал, как дела, здоровье? С одной только целью – узнать, жив я или нет. А потом, когда помру, похоронишь.

– Ну, ты даёшь, Михалыч! С виду-то не так плох, как говоришь.

– Молодец, что на «ты» перешёл. Не люблю я, когда старые друзья ко мне на «вы». Ты мне – как друг. Помнишь, запрошлой осенью, попросил тебя ко мне в больницу прийти, домашней едой накормить? Всем некогда, а ты сразу откликнулся. И как здорово рыбу приготовил! До сих пор вспоминаю...

– Это когда ты обследование проходил?

– Вот-вот, – наливая чай, подтвердил Михалыч, – я и подумал, кроме тебя, некого попросить. А вид мой только снаружи такой. Умереть могу в одночасье. Видишь, холодный пот на лбу проступил – слабый я совсем. Жить мне осталось месяца два, три. А ты говоришь!

– А родня? – с надеждой спросил я, всё ещё надеясь отказаться.

– Какая родня?! Нет у меня никого. Все разъехались. Да и не стал бы их просить, не нужен я им... Варенье-то попробуй, вкусное, Маша делала. Жаль, что зануда... – вздохнул Станислав Михайлович и достал из ящичка стола листок бумаги. – Ты вот послушай, как я всё продумал. Комната моя триста тысяч рублей стоит, я её на тебя перепишу, ещё до своей смерти, чтоб родне моей ничего не досталось. Я один раз им уже всё отдал, ты знаешь. Поэтому комната к ним никакого отношения иметь не будет, так я решил. Когда умру, ты меня похоронишь, поминки проведёшь. Всё за свой счёт. Потом продашь комнату и деньги вернёшь. Я тут написал, кому и сколько денег после продажи комнаты отдать. Тебе, Серёжа, половина причитается. Хватит?

– Конечно, хватит, – быстро ответил я, растерявшись от неожиданного поворота событий.

– Нет, Серёжа. Тебе – семьдесят процентов, – после небольшой паузы продолжил он, – остальным далее по списку. Здесь те люди, которые мне оказывали различную помощь, и я им хочу за это заплатить. Ты меня не обманешь и всё сделаешь, как я попрошу. Верю тебе на сто процентов. Держи моё завещание, – Михалыч вручил мне листочек с фамилиями, адресами и цифрами.

– Разве это завещание, ни подписи нотариуса нет, ни печати! – сказал я, разглядывая листок. – Суммы прописью нужно ставить... И ещё, я помню, у вас дача была и лодка, здесь про них не сказано.

– Хибарку мою я вместе с лодкой продал, когда комнату приватизировал. Знаешь, небось, во что бесплатная приватизация обходится. А за нотариуса ты у меня будешь. Компьютер у тебя есть?

– Есть.

– Вот и пересчитай всё под свои семьдесят процентов, остальным – по пропорциям прикинь, кому сколько останется. Напечатаешь на компьютере и цифрами и прописью – так, правда, солиднее будет, а я подпишу. Только не тни с этим, не ровён час помру...

Я невольно расстроился:

– Михалыч, не торопи события. Рано нам тебя хоронить.

– Серёжа, никто не запрещает мне прожить ещё сто лет. Но делать будем, как договорились. Ещё чайку налить?

– Нет, спасибо, – отказался я, – ехать пора, дел много.

Станислав Михайлович проводил меня до дверей, но потом, вспомнив что-то, остановил и пригласил снова в комнату.

– Серёжа, совсем забыл. Смотри сюда, – сказал он, снимая с книжной полки стопочку из нескольких, «карманного» размера, книг. – Здесь, на полке под книгами, моя заначка. Три тысячи рублей. Отложил на чёрный день. Если неожиданно загнусь, возьмёшь для начала на похороны. Мне много не надо. Я же болею, ем мало. И одежда у меня есть. Хоть и старомодная, но добротная, ноская. Так что, деньги будут здесь, не забудь.

– Хорошо Михалыч, не забуду, – сказал я и заторопился к выходу.

Уезжал с двойственным чувством. С одной стороны, взвалил на себя обязанность по присмотру за больным стариком, который и другом-то никогда

не был, да ещё и живёт далеко. С другой стороны, кто-то ведь должен помогать, если родни и друзей не осталось, да и, как оказалось, не бесплатно. «Похороны семьдесят процентов стоимости комнаты не съедят, даже если за триста продать не удастся. Оставшиеся деньги пойдут на оплату обучения сына в институте...» – прикидывал я в уме, словно оправдывая себя за то, что согласился, хотя поначалу ведь и не хотел, зная несколько случаев из жизни знакомых, когда пожилые люди могли запросто отказаться от обещаний, без особых на то причин. Так и приехал домой, с подсчётами и грустью из-за неожиданной болезни Станислава Михайловича.

На следующей неделе комнату переоформили на моё имя, и жизнь вновь потекла своим чередом, добавив обязанностей по ежевечерним звонкам моему подопечному и поездкам к нему «на чашечку чая», когда он просил провести его из-за плохого самочувствия или просто от скуки.

Уезжал я от него обычно сильно усталым. Говорить с ним о политике, выслушивать его причитания и жалобы на жизнь, на глупых женщин, за которыми он ухаживал, и болезни, было тяжело. Зато Станислав Михайлович ко времени моего ухода становился весёлым и бодрым, словно и не болел никогда.

Так прошли лето, осень, зима. Он и не думал умирать. Гипертонические приступы теперь почти прекратились, но Михалыч всё также продолжал жаловаться на отсутствие здоровья. За это время дважды было подкорректировано завещание. Один раз он увеличил денежное вознаграждение Любови Михайловне, докторше, назначившей ему лечение. С двадцати тысяч рублей до тридцати, при этом сообщил ей о своём решении лично. В другой раз «лишил наследства» двоих старых друзей, не удосужившихся хотя бы разок позвонить ему за полгода, и тем самым увеличил моё вознаграждение. Также он составил и корректировал список людей, которых нужно будет пригласить на его похороны и поминки...

К весне я ещё больше стал уставать от общения с ним. Мне уже и денег было не нужно, так он меня утомил своими звонками и историями из жизни, а были это, в основном, истории о женщинах, которых он периодически менял, когда что-то вдруг не складывалось с предыдущей подружкой. Интересы наши явно не совпадали, и мне было скучно. Но что поделать?! Договорились, терпи!

Однажды Станислав Михайлович позвонил раньше обычного, часа в три:

– Серёжа, срочно приезжай! Есть разговор.

– К чему такая срочность? Давай вечером, – предложил я, занятый делами.

– Отложи дела. Вопрос жизни и смерти! – настаивал он.

– У тебя все вопросы жизни и смерти! – не сдавался я.

– Серёжа! Какие могут быть возражения?! Меня сейчас давление шибанёт, и крышка! Приезжай срочно!

– Хорошо, сейчас приеду.

Попробовали бы вы возразить человеку, который намекает на твою причастность к своей возможной гибели?! Вот и я не смог. Уже через час мы сидели в его комнате и вели беседу, перевернувшую впоследствии всю его дальнейшую жизнь.

– Что случилось?! – начал я с порога.

– Письмо я получил. Прочёл – и ночь не спал, думал! Теперь вот решение принял: продавай комнату, я уезжаю! – выпалил Станислав Михайлович на одном дыхании и протянул мне конверт.

Я глянул на обратный адрес: Брянская область, посёлок...

– Михалыч, от кого? Ничего не понимаю.

– Нина Максимовна. Главный бухгалтер! Теперь, как и я, на пенсии. Уехала к детям и меня зовёт! Замечательная женщина! Я с ней одно время дружбу водил. Задаток за дом внесла. Просит продать комнату и приезжать, на дом денег не хватает. Пишет, будем в этом доме вдвоём жить. Огородик есть, грибы в лесу, рыбалка. Представляешь?! – Михалыч был сильно возбуждён, а весь вид его словно предупреждал: возражений быть не может!

– Хорошо. Комната, хоть и переоформлена на меня, но она твоя, поэтому сделаю, как скажешь. Только выслушай, – промолвил я, почти не надеясь на возможность отговорить его от этого шага.

– Давай, Серёжа! Слушаю тебя.

– Три замечания. Первое. Твоё здоровье. Оно, с твоих же слов, «никакое». Ты сам себе отмерил несколько месяцев. Извини за грубость – ты туда умирать едешь? За домом уход нужен. Ты и головой иногда повернуть не можешь, а тут придётся и за инструмент браться, ремонт делать. Я жил в частном доме, знаю. Второе. Ты старый ворчун, тебя ни одна женщина не устроит. Кто она такая, эта Нина Максимовна? Вдруг опять не сложится? Куда поедешь и с чем?! Третье. Климат тебе подойдёт? Так быстро решения не принимаются.

– Решения принимаются всегда быстро, Серёжа. Начнёшь думать, будет сто доводов, чтобы отказаться. Посмотри на меня. Я от одной только мысли об отъезде помолодел! Что мне тут делать? Ты на другом краю города, а там рядом со мной Максимовна будет. Она правильная женщина, мы друг за другом присмотрим, не беспокойся. Я ей, как тебе, верю. Не хочу даже и думать, что не получится. А климат нормальный, подойдёт. У меня там от одного только воздуха силёнок прибавится. Так что, продавай комнату. Деньги срочно нужны. Хозяин дома долго ждать не будет. В три недели продать нужно, начиная сегодня же. Дай объявления во все газеты и цену высокую не ставь. Не успеем – мне смерть! Я тогда точно жить не буду.

Мне ничего не оставалось, как только помчаться в город размещать в газетах объявления. По дороге подумалось: «Может, оно и к лучшему – ему ведь виднее», – хотя сердце подсказывало: авантюра, ничего не выйдет.

Комната долго не продавалась, и поэтому мне пришлось взять деньги в долг, чтобы не разрушать планы Станислава Михайловича.

После получения денег были срочно куплены: новые туфли, новый мягкий уголок, новое постельное бельё и рыболовные снасти. Всё это тщательно сложили в контейнер и отправили в Брянскую область. Дело сделано! Дня через три мы сидели с ним на вокзале в ожидании поезда.

Станислав Михайлович свой отъезд держал в тайне. Решил, что так будет лучше.

– Я, Серёжа, кроме тебя и Нины Максимовны никому не нужен – это факт! Спросят тебя обо мне, скажешь: «Уехал, а куда не знаю». Родня моя обязательно тебе позвонит, спросит, что и как? Ответишь: «Нашёл себе женщину и уехал, куда-то на восток». Вот так! Начнём, Серёжа, новую жизнь! Чего кислый такой, не переживай! Всё со мной будет в порядке. Видишь – и со здоровьем получше! А я тебе обязательно напишу. Приедешь потом ко мне. На рыбалку ходим, грибочками своими угощу. Здорово! – Михалыч был в прекрасном настроении, ходил по вокзалу, как именинник, шутил и даже угостил незнакомую ему женщину мороженым, что на него было совсем не похоже. Вскоре объявили посадку, и, тепло простившись, мы расстались.

Через месяц купили комнату, я вернул долг и даже немного заработал, так как Михалыч предусмотрел и мой интерес.

«Что ни говори, а хороший мужик, – вспоминал я его иногда. – Как-то там сложилась его жизнь?!» Ведь он так и не написал мне и даже не позвонил, а прошло уже больше полугода. Интересно, что чем дольше от него не было известий, тем больше я о нём вспоминал. И вот, надо же! В один из зимних вечеров – звонок!

– Петрович, привет! Узнал?

– Михалыч, ты?! – обрадовался я.

– Да я, я! Звоню тебе по сотовому телефону, поэтому очень кратко. Я в Рязани, проездом, у друга. Направляюсь в Ростов. Говорят, там можно найти работу для такого пенсионера, как я. Да и школьный товарищ там живёт, обязательно мне поможет. А с Максимовной у меня не сложилось. Я у неё всё своё барахло бросил и уехал к сыну, а там, Серёжа, такой дурдом, что пришлось и оттуда убежать, пока не прибили. Алексей-то мой – пьёт!

– Михалыч, у тебя деньги-то есть? На что живёшь?

– Чуть больше ста тысяч осталось.

– Здоровье как?

– Пока нормально! Ладно, Серёжа, всё. Экономлю деньги. Потом перезвоню.

«Вот и поговорили. Много неясного. Деньги остались, значит, покупка дома не состоялась. Видимо, и с Ниной Максимовной не пожил вовсе. Зачем уезжал?! Мотается теперь по стране, – размышлял я после его звонка. – Жалко Михалыча. Так «попасть»!!! Главное, чтобы здоровье не подвело. Надолго ли его хватит?..»

Кто бы мог тогда подумать, что его приключения только начались и дух авантюризма погонит его за новыми впечатлениями. Этому «природному катаклизму», случившемуся в голове моего приятеля, начхать на здоровье и силы спотыкающегося на каждом шагу человека, да простит он меня за это высказывание.

Михалыч закусил удила и пошёл ва-банк! Пан или пропал! Стоять и не сдаваться! Эти родные и приятные для слуха авантюриста слова стали главными для моего товарища на новом отрезке его жизни.

Ещё через две недели очередной звонок:

– Петрович, привет! Еду из Москвы к вам. Записывай: поезд номер три, вагон номер шесть. Встречай. Буду через два дня. Сажу на таблетках. Чувствую себя очень плохо. Доехать бы. Всё понял?

– Понял, Михалыч. Встречу, – бодро ответил я.

– Денег на балансе мало, потом перезвоню! Пока.

Разговор закончился так же быстро, как и в прошлый раз.

«Вот так дела! – размышлял я. – Возвращается! Плохо себя чувствует! Встречай! И что?! Куда я его?! К себе домой, умирать?! Нет только не это! У меня маленький ребёнок, да и жена будет против, она ведь его не видела ни разу. Спокойно! Надо подумать. Вот!!! Главное, мужика подлечить надо, а где ему жить, позднее решим».

Кто-то из знакомых подсказал, что с его заболеванием и при отсутствии жилья могут положить в хоспис. Туда я и направился. До приезда Михалыча оставались сутки, надо было спешить. На моё счастье, я застал на месте главного врача, и тот, выслушав рассказ, пообещал положить приятеля в больницу для установления точного диагноза.

В плане действий на завтра почти все пункты были посвящены Станиславу Михайловичу. «Поезд приходит в шесть ноль-ноль. Привезу его домой, позавтракаем, потом в больницу», – решил я. Завёл будильник на пять часов и лёг спать. Но мысли о завтрашнем дне продолжали беспокоить: «Вдруг Михалыч так плох, что ходить не может, как тогда? Может, носилки надо найти да взять с собой кого-нибудь?.. Чем его кормить, больной ведь? Тут особенное питание должно быть...» Вспомнилось, что он мясо не ест, и как у него непроходимость желудка из-за помидорных шкурочек случилась...

Уснул я не скоро, и спать пришлось недолго – разбудил звонок. Сразу и не сообразил, что это? Будильник или дверной звонок? Поплёлся к двери, но остановил раздражённый оклик жены:

– Это телефон!

Я поскорее схватил телефонную трубку и услышал бодрый, похожий на командирский, голос Михалыча:

– Петрович, встречать не надо, выхожу на следующей станции. Понял меня?

– Понял, Михалыч, – в тон ему отчеканил я, спросонья не соображая, причём здесь другая станция?

– Выхожу не один. С женщиной. В поезде познакомились. Добрая и одинокая, как я. Извини за беспокойство. Пока, Серёжа!

Вот так номер! Чуть живой Михалыч воскрес для новой жизни, стоило только на горизонте показаться очередной юбке. Дела!!!

Я нырнул обратно в постель, ощутив состояние эйфории от наступившей свободы. Нервное напряжение, державшееся во мне больше суток, внезапно исчезло. Минут через пятнадцать, с глупой улыбкой на губах, я сначала задремал, а потом и уснул.

Приснилась свадьба Михалыча. Среди гостей мелькали лица его бывших друзей, сослуживцев и родственников. Я оказался в свидетелях, на пару с его третьей гражданской женой Людмилой, с которой однажды встретил его на улице и познакомился. Невеста была молода и прекрасна, как свежий персик. В атмосфере праздника царил дух взаимной симпатии и вседозволенности. После принятия горячительных напитков начались танцы, и кавалеры стали живо обмениваться дамами, подбирая себе наилучший вариант для флирта. Какой-то молодой и уса́тый гость, нащёптывая невесте Михалыча на ухо что-то неприличное, затащил её в соседнюю комнату и начал целовать, а потом и вовсе утащил со свадьбы.

Гости с женихом спохватились слишком поздно, невесту не нашли, и свадьба для приятеля закончилась пьяными причитаниями на тему полного отсутствия у молодёжи совести и морали...

Всю следующую неделю я благодарил судьбу за то, что она смилостивилась над Михалычем и устроила-таки ему жизнь, как я себе представлял, с прекрасной и заботливой незнакомкой. А также избавила и меня самого от ненужных хлопот по уходу за человеком, в искренности и честности которого я стал сомневаться после последнего звонка с поезда. Появились вопросы. Так ли серьёзно Михалыч был болен, как говорил? А может, это старый и проверенный способ заставить обслуживать себя, сославшись на смертельное заболевание и пообещав вознаградить всех после своей смерти для того, чтобы мы были более усердны в уходе за ним? А потом нагло сбежать, когда подвернётся более интересный вариант? Это ли им руководило? Расчёт или жажда новизны и приключений? Захотелось вдохнуть свежий воздух дорог в конце жизненного пути? Кто знает?!

Радовался я недолго! Дней через десять новый звонок от Станислава Михайловича:

– Я опять «попал»! Выезжаю. Поезд номер восемь. Вагон номер пять. Буду около десяти утра. Встречай.

– Как здоровье?

– Держусь, Серёжа.

– Михалыч, ты знаешь, я не смогу тебя встретить. Много работы. Уж извини.

– Что, совсем никак?

– Извини, никак.

– Ладно, понял. Спасибо тебе за всё.

После этого разговора я несколько дней ходил понурый, всё ломал себе голову – правильно ли поступил? Может быть, надо было встретить его? Потом разозлился на себя, что толку размышлять: дело сделано – где же теперь его найдёшь?!

Прошло месяца три, и вот – очередной ночной звонок.

– Здравствуй, Петрович. Узнал меня?

– Конечно, узнал, Станислав Михайлович. Как дела, здоровье? – спросил я, как обычно.

– Я на вокзале. Решил вот позвонить. Уезжаю в Ростов. Переписывался с одной замечательной женщиной и теперь еду к ней. Хотел поблагодарить тебя за всё, что ты для меня сделал. И отдельно за то, что на вокзале тогда не встретил. Пришлось мне все свои силы в кулак собрать и рассчитывать только на себя. Я справился. Ещё и классную закалку получил. Чувствую сейчас себя лучше. Спасибо тебе и до свидания.

– Счастливого пути.

– Ещё проживём, Серёжа! – это были его последние слова.

Потом я не раз вспоминал Станислава Михайловича добрым словом и сожалел о том, что не свиделись. Так и остался он в моей памяти человеком-загадкой, неутомимым искателем дамы своего сердца, несмотря на болезни и возраст. Во всяком случае, именно так мне хочется теперь думать.

Анна Рандина

ПОСТИЧЬ СВОЮ ДУШУ



* * *

Я давно не верю добрым феям,
Ангелам,

что телом во плоти.

Ангелы и феи нас жалеют,
Их за эту жалость Бог простит.

Знаю, что с меня он спросит строже,
Подводя земным делам итог.
Но не отступлю, ведь мне дороже
Россыпь сотворённых мною строк.

* * *

«Молчание — золото» —
к последнему я равнодушна.
Вот только смолчать
не всегда удаётся,
а нужно ль?

Я хлопнула дверью
и быть перестала послушной.
Как трудно быть Женщиной...
Хоть сильной,
хоть слабой.
Замужней.

* * *

Всюду бизнес: «Купи» — «Продай».
Банки деньги суют: «Возьми»!
«Безвозмездно»... и не мечтай.
Аппетиты свои уйми.

Я б взяла, да чем отдавать?
Что ещё я могу заложить?
Эх, Россия, ты мудрая мать.
Но не ты
меня учишь жить.

* * *

Во имя деревянного рубля
Распродана сибирская земля.
Пилили кедры вместе с чужаками
Недобрыми корявыми руками.

Из-за рубля
 топтали сапоги
Ночной туман
 и запахи тайги.
Распродано, растащено.
Довольно.
Мне больно.

* * *

Горит тайга налево и направо,
Китайцев ненасытная орава
Лес жжёт и рубит –
 нет на них управы,
Идут в Китай составы за составом.
Всё потому,
 что разум помутился.
Сибирь нищает,
 вор обогатился.
От долларов безвольнее рука, –
Конец завоеваниям Ермака.

* * *

Валерии Выборовой

Хорошо дышать асфальтом мокрым,
В час, когда земля свой жар отдаст.
Гром гремит,
 дождь льёт ручьём по стёклам,
И земля промочится на пласт.

Прошумел, промчал, шальной и краткий,
С запада транзитом на восток.
Слава Богу,
 что полил он грядки.
А иначе, кто бы мне помог?

* * *

Человек обречён на муки...
Но не Бог приложил к тому руки.

Человек обречён на муки.
На болезни. На одиночество...
Что лишенья! Пустые звуки.
Есть любовь! –
и жить уже хочется.

Жизнь диктует свои законы –
Не от праведного лица,
На извечный вопрос:
«Что делать?» –
Десять заповедей у Творца.

* * *

Вертикален скалистый обрыв,
Приземлённость моя –
чувство ложное,
Если вдруг возникает порыв –
Хоть глазком загляну в невозможное.
К миру скал,
к миру трудных вершин
Мой бросок может быть неуверен,
Жизнь и смерть,
вот одна из причин –
Кто постичь свою душу намерен.
...Вертикален скалистый обрыв.

ШЕЛЕХОВ

Завод дымит...
И так дымит, однако,
Что можно раньше срока помереть.
А у меня к живой природе тяга,
С природой жить и на неё смотреть.

Газ ядовитый, смесь угля и фтора,
По опустевшим улицам ползёт.

Я в поезде уехала бы скором
От этих мест, где жизнь моя не в счёт.

Пусть я окно закрою шторой плотно –
Деревьям не укрыть свою листву.
Я понимаю, что живу сегодня
В том городе, в котором не живу.

* * *

– Мир тесен! –
скажу тебе при встрече я
и только. –

Ну почему Земля мала настолько?
Ты встрече рад... у нас один маршрут.
Знакомых много – всё бывалый люд.
Ты встрече рад. Ты хочешь разговора.
Осталась где-то в прошлом наша ссора.
– Не много ль совпадений: день, число?
– А может быть, всё к этому и шло?

Пути Господни неисповедимы ...
– Идём своими
трудными
земными.

ВОСПОМИНАНИЯ
РАЗМЫШЛЕНИЯ
ДИСКУССИИ



Иркутск. Улица Энгельса (Жандармская)

Фёдор ЯСНИКОВ

Записки иркутского старожила

ВОТ МОЯ УЛИЦА, ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ...

Виктор БРОНШТЕЙН

О «цифровом поколении»

БРАКОНЬЕРСКИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТА

Светлана ВОЛКОВА

О детской литературе

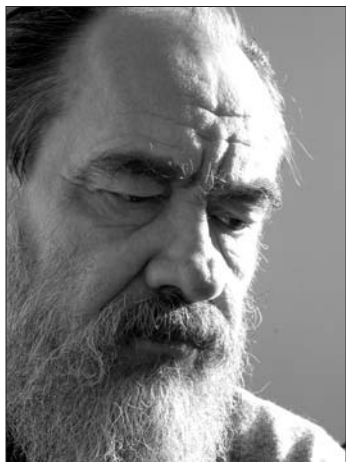
НАДО ЛИ «СПОРИТЬ С ВЕКОМ»?

Алина БОРОВСКАЯ

Беседа о духовной поэзии. Стихи

«Я МЫСЛИЛА ТЕБЯ...»

Фёдор Ясников



ВОТ МОЯ УЛИЦА, ВОТ МОЙ ДОМ РОДНОЙ...

Если сравнивать Иркутск моего детства и Иркутск сегодняшний, то это уже во многом два совершенно разных города...

ТРАНСПОРТНАЯ

В далёкие пятидесятые ушедшего XX века семья наша, родители и трое детей, ютилась в маленькой квартирке на втором этаже деревянного дома по улице Транспортной (бывшая Семинарская, теперь – Польских Повстанцев). Этот второй этаж был, собственно, и не этаж даже, а небольшая надстройка, очень похожая на корабельную рубку. Внутри «рубки» – кухонька с маленькой варочной печкой и комната с большой круглой, обитой железом и выкрашенной в чёрный цвет «голландкой».

Окна комнаты выходили на крышу первого этажа, откуда мы с моим старшим братом Николаем запускали бумажных воздушных змеев, кои брат был большой мастер клеить из газет и фанерной дранки. Брат любил делать больших змеев – в огромный разворот газеты, какие только и выпускались в те времена. Катушка для нитки – брат называл её «державка» – сантиметра четыре в диаметре и больше тридцати в длину, концы закруглённые, гладкая, как яичко. Нитка толстая, крепкая. Когда я спрашивал, сколько нитки, Коля отвечал: до Луны достанет. До сих пор думаю, что это правда, потому что, когда змей уходил в небо и превращался в почти невидимую точку, на катушке оставалось ещё очень много нитки. Брат давал мне подержать катушку, и я, ухватив её, чувствовал, как змей тянет меня за собой, наверно, я мог бы и улететь, если бы брат не помогал удерживать. По нити мы отправляли к змею «телеграммы»*, а я думал, что если на «телеграмме» написать просьбу, то Господь сможет прочитать её и обязательно выполнит, но почему-то стеснялся попросить об этом Николая. Напротив окон высилось здание «Геодезии»** , и я знал, что «до революции» в нём была церковь Владимирской Божией Матери***.

Улица наша, на которой началось моё более или менее осознанное детство, была в своём роде необычной. Она представляла собой некий диковатый синтез речного порта, железной дороги, деревни и обычного города. Впрочем, синтез вполне отвечал духу строительства социализма.

Многие дворы нашей улицы были настоящими деревенскими усадьбами со всем положенным в них быть – огородами, стайками, свинарниками, се-

* «Телеграмма» – кусочек бумаги, который надевают на нить, и ветер угоняет её вверх. Пользуясь этими телеграммами, можно передавать во время игр различные условные сигналы.

** Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие.

*** Церковь Владимирской иконы Божией Матери была закрыта в 1938 году.

новалами, амбарами и т.п. Хозяева держали свиней, коз, коров и даже коней. А по причине того, что рядом река, естественно, многие имели лодки и, не особо скрываясь, во дворах сушили и чинили рыболовные сети.

То, что я назвал речным портом, не совсем верно: это был угольный причал. Он находился там, где улица Декабрьских Событий (бывшая Ланинская) пересекала Транспортную и упиралась в берег. Над причалом беспрестанно крутили своими жирафьими шеями башенные краны, с которых свисали чудовищных размеров ковши – одного хватало, чтобы загрузить самосвал. Под кранами высились горы чёрного угля. Через дорогу от нашего дома, во дворе, соседствовавшем с угольным причалом, жил мой одноклассник Боря Лавров. Благодаря этому обстоятельству я мог беспрепятственно вместе с местной детворой часами висеть на заборе и глазеть, как нагружаются углем подъезжающие самосвалы, как после погрузки становятся на весы и как, громыхая кузовами и цепями, выезжают наконец за ворота причала развозить уголь по городу.

Железной дорогой была узкоколейка, связывающая товарную станцию с Куйбышевским заводом. О ней среди детворы ходили самые страшные слухи. Например, рассказывали, что кто-то попал под поезд, и ему отрезало голову, а потом этот человек, вернее – безголовый призрак, бродил ночью по рельсам и, если встречал случайного прохожего, то спрашивал у него: «А не брал ли ты мою голову?» А я всё думал: как же он спрашивал, если без головы?

На самом деле ничего подобного, во всяком случае, на моей памяти, не происходило. Поезда по нашей узкоколейке ходили медленно и потому вряд ли могли кого-то задавить. Бывало, часами, а то и сутками вдоль улицы стоял длинный состав из небольших вагончиков со всякой всячиной: песком, коксом, мраморной крошкой, какими-то железяками... По вагончикам прыгали козы, у состава подолгу мычали коровы, желая перебраться на другую сторону улицы. Однажды чья-то коза застряла копытцем в путях, так поезд, гружённый состав, остановился и целый час ждал, пока её высвободят.

Весь божий день наш околоток скрежетал, гудел, громыхал, ревел, визжал, блеял... С точки зрения сегодняшнего стремления к комфорту и всякому удобству, так жить невозможно, в такой среде люди должны бы быть нервными, дёрганymi, неприветливыми, но – нет! Жители нашей Транспортной, в отличие от сегодняшних иркутян, проживающих среди большего комфорта, были людьми на удивление спокойными и отзывчивыми.

Однажды отправили меня к соседям за молоком на другую сторону улицы, через узкоколейку. Мне было тогда лет пять или шесть. И вот я, возвращаясь с полным трёхлитровым бидоном, пролезаю под составом – и дети, и взрослые всегда по необходимости так делали – и вдруг бидон мой за что-то цепляется, молоко выливается на шпалы. Я – в рёв! Соседи, у которых я взял молоко, увидели моё несчастье и, подбежав, помогли выбраться из-под вагона, стали меня успокаивать, кто-то сбегал и принёс снова полный бидон молока. Добрые люди были, умели сочувствовать. Теперь это редкость... Теперь больше ищут случая похохотать над несчастьем ближнего.

Как известно, Н.С. Хрущёв прикончил «деревенскую» идилию в городах, запретив держать в их черте домашний скот. Для многих семей это стало настоящим горем. Осиротели дворы, осиротела наша улица... Люди плакали, уводя своих бурёнок на скотобойню.

Но, справедливости ради, заметим: Никите Сергеевичу, столь самовлюблённому правителю огромной империи, человеку, поставившему целью своей

жизни и жизни подвластного ему народа «догнать и перегнать Америку», трудно было не загореться идеями урбанизма, захлестнувшими весь мир. Запрет держать скот в черте города углубил непонимание между жителями города и деревни. Именно после этого запрета среди горожан стало бытовать мнение, что «деревня с жиру бесится, а мы тут за рублишки бьёмся», а среди сельчан – «мы тут спину гнём, а они там бездельничают». Что сказать? Смычки между городом и деревней не получилось...

Наш дом стоял почти напротив причала, вторым от перекрёстка в сторону Куйбышевского завода. Первый дом на углу – каменуха, от неё, по Декабрьским Событиям, метров на двадцать шла полуразрушенная часть кирпичной стены. Раньше это была сторожка и стена Владимирской церкви. Говорили, что в каменухе живёт семья бывшего церковного старосты. Жили они – дед, девочка моего возраста и её родители – не богато, можно сказать, бедно, но опрятно. Домик и стена с уличной стороны всегда были аккуратно выбелены. Дед часами сидел во дворе, на крылечке. Я любил перелезть к нему через забор и сидеть рядом. Мы подолгу молчали. Изредка он гладил меня по голове и говорил: «Ничего, малыш, всё будет хорошо, обязательно будет хорошо».

В то время на площади Кирова (Тихвинской) ещё лежали глыбы разрушенного Казанского собора. Похоже, что партийцы нарочно оставляли руины разрушенных ими церквей. С той же целью в средние века оставляли на площадях виселицы с повешенными – для назидания и устрашения.

Напротив «Геодезии», через улицу Декабрьских Событий, находилась бывшая женская гимназия. После революции она была преобразована в экспериментальную школу для мальчиков и девочек, в которой я учился до половины третьего класса. В моё время она называлась 1-я Ленинская. Насчёт экспериментов ничего не могу сказать, но само здание школы – основательное, суровое, красивое, с широкими лестницами, огромными залами, с натёртым паркетом, просторными классами с высокими потолками и окнами – невольно вызывало священный трепет. Моя первая учительница – старенькая и седая Нина Васильевна, к сожалению, не помню её фамилию, жила во дворе школы. Это был, как я теперь понимаю, тип ещё дореволюционного педагога – удивительно терпеливый, добрый и мудрый учитель. Мне казалось, что она хозяйка этого старинного дома, что вокруг меня, за партами сидят избранные, и что только из её доброты я принят здесь.

АНГАРА

Уж пять с лишним десятков лет прошло, как построили Иркутскую ГЭС, а до сих пор остаётся во мне чувство неприятного удивления или даже потрясения, когда однажды увидел посреди зимы незамерзшую Ангару. Это было противоестественно. Так не должно было быть!

Помнится мне из детства ещё одно подобное ощущение. Как-то летом, в середине июня, старший брат взял меня на рыбалку. Он хотел опробовать спиннинг – давнюю его, наконец осуществившуюся, мечту. Мы пробрались за угольный причал вниз по реке. Здесь вдоль берега тянулось как бы продолжение причала из огромных бетонных кубов, поставленных друг на друга. Кубы возвышались над водой метра, наверно, на три. А вниз уходили в тёмно-зелёную бездонную глубину. Между бетонными кубами и высоким деревянным забором, огораживающим территорию причала, оставалась полутораметровой

ширины глубокая щель, из которой тянуло сыростью и холодом. И вот в этой щели я увидел необъятных размеров ледяную глыбу! Среди знойного июня, чуть не середина лета, и вдруг – ледяная глыба! Во мне всё перевернулось – ну не должно же так быть! Неправильно это! По моей настоятельной просьбе, мы с Колей несколько раз ходили смотреть, не растаяла ли глыба. Она исчезла только в июле. Потом мне объяснили, что бетон долго держит холод, что был слишком большой объём льда, что в эту расщелину никогда не попадает солнце и тому подобное. И всё же чувство досады от неправильности происходящего так и осталось во мне, никуда не ушло.

И вот, новое потрясение – Ангара не замерзает. А ведь ещё прошлой зимой мы ходили с Колей по льду на левый берег, там жила особа повышенного Колиного интереса. Иногда он брал меня с собой «на свидания» к ней. И я его всё время торопил – хотелось на лёд. Местами он был прозрачен, и хорошо просматривалось дно. Было жутковато и очень любопытно. Помню, всё допытывался у Коли: где же прячутся от холода рыбы?

В детстве всё кажется постоянным и неизменным, и вдруг... Мир понятый (по-своему, конечно), принятый и любимый мною, моими родителями, моими сестрой и братом, всеми нашими друзьями, – рушится! Что по сравнению с этим значат блага прогресса?! Ведь мы прекрасно обходились тем, что есть. Вечерами, когда в городе выключали электричество, мы зажигали керосиновую лампу. Рыжеватый мерцающий свет... Неясные тени на тонущих в полумраке белёных стенах чутко ловят малейшее колебание пламени... Родной, певучий, убаюкивающий скрип половиц, зелёная в клетку клеёнка, чай из самовара, негромкий говор неспешной беседы, изредка позвякивающие чашечки, блюдечки, ложечки... Мы – папа, мама, сестра, брат и я – на кухне пьём чай. Эта картина теперь уже далёкого детства согревает меня. Эти вечера без электрического освещения, без телевизоров, без компьютеров были самым прекрасным временем, полным таинств и смыслов... великих смыслов... Я и сейчас уверен, что керосиновая лампа сближала нас, заставляла тоньше, глубже чувствовать друг друга. Наверное, читатель посмеётся надо мной, мол, ты ещё лучины заставь нас жечь. Не заставлю, но думаю, что при лучине человек был ближе к Богу, при лучине он чувствовал себя связующим звеном между Творцом и Его созданием – природой...

Если бы мы не были одержимы безумным самовлюблённым восторгом от достижений прогресса, но с каждым его открытием или изобретением горестно бы стенали над угнетаемым нами Божиим миром и покаянно просили прощения у иссечённых плотинами рек, у земли, из которой безбожно высасываем её недра, у неба, которое варварски коптим и травим, у лесов, которые безжалостно вырубам и выжигаем... – тогда бы мы более рачительно и мудро распоряжались достоянием, отпущенным свыше с великой к нам любовью, которой мы лишимся, как только чаша Великого терпения будет переполнена...

ЖЕЛЯБОВА

Сразу за «Геодезией» и 1-й Ленинской школой улицу Декабрьских Событий пересекает улица Рабочая (Дворянская), примечательная тем, что, минуя школу, раздваивается, ответвляя улицу Некрасова (Харинская). И далее обе они идут на площадь Кирова. Но в ту сторону город моего детства не продолжается, потому как бывал я там изредка, только в Новый год, когда со старшим братом ходили туда кататься с горки.

Моё детство идёт по улице Декабрьских Событий, заглядывает в «Колокольчик» – магазинчик на углу с улицей Халтурина (Медведниковская)... Тогда на дверях магазинчика колокольчика уже не было, и имени тоже не было, оно сохранилось лишь среди местных жителей.

В «Колокольчике» мы с друзьями покупали лакомства: фруктовый чай, вишнёвую, барбарисовую или дюшесную газировку и какао или кофе, пресованные с молоком и сахаром в маленькие брикетки, похожие на детские кубики чуть удлинённой формы. Мы грызли их всухомятку. Это было невероятно вкусно!

Следом за улицей Халтурина начинается улица Желябова (Большая Трапезниковская). Здесь, в угловом деревянном двухэтажном доме, жил мой друг Борис. Мне часто снится этот огромный, как корабль, дом, окаймлённый деревянным тротуаром. Большие, когда-то тёмно-зелёные, выцветшие ворота. Большая калитка с тяжёлым литым кольцом, которое надо поворачивать, чтобы её открыть. Рядом скамейка и окно. Борькино окно.

Про дом Бориса ходила легенда. Дело в том, что угол дома, выходящий на две улицы, как бы спилен. Когда-то на этой «спиленной» стороне было два окна – одно на первом этаже, одно – на втором. Снаружи даже оставались следы наличников от них. Жильцы заложили оконные проёмы, вероятно, для расширения домашнего пространства. Так вот, местные жители утверждали, что ещё задолго до революции, по указу градоначальника, угол дома спилили. Спилили якобы потому, что он мешал губернатору, вернее, его карете выворачивать с улицы на улицу. Уверен, что легенда эта родилась во время революции, дабы представить государева служащего в глупом и подбострастном виде*.

Во дворе дома, прямо в центре, находился старый глубокий колодец, прикрытый уже замшелой от времени, сырой и тяжёлой крышкой, сделанной из лиственничных плах. Воду из колодца давно никто не брал, говорили, что в нём кто-то утонул... Иногда мы с Борисом поднимали крышку и подолгу смотрели в колодезную глубину, где тёмная вода смутно отсвечивала небо, насквозь пробирая нас завораживающей жутью. Его потом зарыли, этот колодец.

Слева от ворот стоял большой амбар из толстых лиственничных брёвен, с низкой дверью. Прямо от ворот, через двор – кладовки, где хранили уголь, дрова и разную рухлядь.

За домом – небольшой сад; сад не сад, а росли там две высокие, корявые, раскидистые старые яблони, утомлённо свешивая длинные ветви на крышу. И стояла лестница, по которой мы с Борисом поднимались и, бывало, просиживали там целыми днями, жуя яблочки, читая вслух или рассказывая друг другу всякие выдуманные и невыдуманные истории. Там зарождались наши самые невероятные планы.

* Выпрямление улиц в Иркутске ради придания ему более цивилизованного вида, при котором принудительно спиливали части домов, выступающие за означенную черту, производилось в 1810 году по указу гражданского губернатора Н.И. Трескина. Однако столь жёсткие меры применялись только после того, как домовладельцы в течение отведённого им срока не выполнили распоряжение 1809 года о перестройке зданий согласно планировке по утверждённым стандартам (см., например, Иркутская летопись 1661-1941 гг. / Составитель Ю.П. Колмаков. – Иркутск, 2003, с. 39). «Легенда» по поводу углов, мешающих проезду губернаторской кареты, своим источником имеет, вероятно, жалобы богатого иркутского купечества на произвол Трескина Министру внутренних дел и активно распространяемые в то время сведения о «самодурстве» губернатора, неоднозначно выглядевшего в глазах общественности Иркутска. – *Прим. Ред.*



дали», и «ночевали», и «перекуривали», и попадали в «аварии». Возвращались мы, как правило, уже затемно.

Напротив дома Бориса, на Желябова, жил заядлый рыбак, невысокого роста и горбатый. Звали его, кажется, дядя Петя. Дядя Петя был нрава весёлого, любил рассказывать про свои рыбацкие случаи. Говорил он громко – вся улица слышала. Помню один его случай. Попробую рассказать его так, как рассказывал он сам: «Вот, было, друг дорогой! Ёшки-матрёшки! Веришь не веришь! Таймеша раз вот такушшего взял! На Любаше! Мотор завёл и туда! Всё чин-чином, блестя сам делал! Крутю катушку, а он ка-а-ак хватанул! И попёр, и попёр! А у меня «борода» по колено! Катушка ни тудыт твою, ни судыт твою! А он ташшит, и ташшит вверх по Иркуту! Ёшки! Ну, всё! Э-эх! Друг дорогой! Думал, теперь токо на том свете и свидимся! А он – р-р-раз, и в обратку! Лодка на бок! Чуть не вылетел! А он – в Ангару! И прям до дому! Ну, до берега! Но там-то я его выволок! Веришь, не веришь, во-о-от такушший! Ёшки-матрёшки! А в прошлом годе...»

И начинается другой рассказ, за ним ещё и ещё, потом вдруг поскучнеет рыбак, замолкнет, головой покртит и пойдёт домой. Жил он один...

ЭНГЕЛЬСА

Зимой 1958-59 годов наша семья переехала к бабушке, папиной мачехе Марии Семёновне, в девичестве Федотовой. Она жила в доме, доставшемся ей по наследству от отца, который до революции был довольно известным в Иркутске купцом.

Я помню оранжево-белый от уличных фонарей и снега поздний вечер... Мы вдвоём с папой делаем уже который рейс, перевоза на широких самодельных санях свой небогатый скарб. Путь наш лежит по улице Декабрьских Событий мимо деревянных домов, от которых веет надёжностью, уютом и

теплом. Они похожи на заботливых стариков, участливо склонившихся над нами... Кажется, постучись, и тебя впустят и приютят...

Старые иркутские дома – сколько они видели всего за свою долгую жизнь! Немые свидетели истории, сокрытой от нас чьими-то идеологическими пристрастиями, чьими-то корыстными интересами и просто равнодушным временем.

Я иду рядом с отцом, держусь за его руку и не имею пока ни малейшего понятия ни что такое История, ни что такое Время.

От Транспортной до Энгельса (бывшая Жандармская), где живёт баба Маруся, километра, наверное, два. Я устаю, и папа пристраивает меня на узлы нашего скарба. Полулёжа смотрю вверх и вижу небывалую, сказочную красоту: надо мной – раскудрявленные щедрым куржаком тополя на фоне рыжих светящихся облаков, из которых густо валятся крупные, чуть не с мою ладонь, снежинки...

Угол Энгельса и Декабрьских – это уже вполне город. Здесь звенят и скрежещут трамваи, здесь гудят автобусы и грохочут кузовами грузовики. Здесь огромные дворы с двухэтажными домами. Есть и одноэтажки, но они не так приметны. И люди здесь совсем другие. Нет, не хуже, просто другие. За деревянными, крепкими, какими-то величественными воротами и заборами они живут более обособленно, чем на Транспортной: каждый двор как бы сам по себе, каждый – по своим неписаным законам.

Наш двор – номер 31 по улице Энгельса. Во дворе пять домов, четыре из них двухквартирные, из которых два двухэтажных (мы жили на втором этаже), пятый дом – каменный. Все дома когда-то принадлежали отцу бабы Маруси, считавшейся, по негласному признанию соседей, предводительницей двора. Баба Маруся человек уникальный. Таких женщин теперь просто нет. Мария Семёновна умела всё! Как сложить русскую печь? Спросите у бабы Маруси. Как вылечить ту или иную болезнь? К бабе Марусе. Шитьё, кухня, танцы... Баба Маруся знает всё. Мария Семёновна, красивая даже в старости, с царственной осанкой, строгая и требовательная ко всем, а к себе – в первую очередь, в чувствах сдержанная, но лёгкая на доброе дело, многим, не знавшим её близко, казалась сухой и чёрствой, но нет – она была душой нашего двора.

По вечерам во дворе всегда было весело – разговоры, игры, шутки, смех. А праздники отмечали особо, все вместе. Летом под огромный тополь, посаженный моим отцом ещё в детстве, выставлялись столы, на которых появлялись всевозможные яства: крендели, ватрушки, большие и малые пироги с рыбой, капустой, вареньем. Выставлялись пряники, печенье, торты, всё, на что были способны соседи и, конечно, баба Маруся, – она всегда к подобному случаю готовила что-нибудь особенное, чем покоряла всех. Тут же рядом, прямо на земле, стояли кипящие самовары. Не обходилось, разумеется, и без другого горячительного, опять же, домашнего приготовления – наливочек, настоечек и прочего. Напиваться до «положения риз» считалось предосудительным, да никто и не напивался. После всеобщего застолья начинались всевозможные игры – лото, домино, шашки... Играли и в карты, исключительно в преферанс, за которым засиживались допоздна. У бабы Маруси были плоские жестяные баночки из-под леденцов, в которых она хранила специально для преферанса «медь». В одной баночке копеечные монетки, в другой двухкопеечные и т.д. Излишне и говорить, что баночки эти были предметом моего вождения, но я боялся бабу Марусю. Хочу пояснить, что вождение испытывал не оттого,

что это деньги, а потому что монет было много, все одинаковые и весомые. Завораживали.

К слову сказать, соседние дворы на нашей улице, хоть и жили каждый по своим правилам, свободное время проводили тоже все вместе. В одном дворе – посиделки с семечками и бесконечными разговорами, песнями под гармошку, под баян, под патефон, вытасченный кем-то во двор. В другом – игры: городки, лапта и т.п. Скандалы, пьянство были редким явлением.

Общественные преобразования прекратили и эту идиллию. Однажды в недобрый день, под идеологическим предлогом того, что «советским людям нечего скрывать друг от друга», в Иркутске, как, впрочем, и в других городах, стали сносить ворота и заборы. Позже отцы города, которым, по всей вероятности, не понравились открывшиеся всеобщему обозрению белёные известью дворовые туалеты, как-то тихонько «позабыли» про эту предпринятую партией меру «воспитания трудящихся в духе коммунистического общежития», и кое-где ворота и заборы сохранились. Но всё же «мера» сработала, удар по «обособленности», по «групповому индивидуализму» попал в цель. Прекратились праздничные застолья во дворах, посиделки, игры... Кончилось общее веселье... Да и бабы Маруси не стало. Поминки по Марии Семёновне Федотовой были, наверное, последним общим застольем, собравшим всех соседей.

Похоронили бабу Марусю на Лисихинском кладбище, которое теперь оказалось чуть не в центре разросшегося микрорайонами Иркутска. Могилка её находится рядышком с могилкой мужа – Владимира Тимофеевича Ясникова, моего деда, которого я помню плохо, потому что умер он много раньше бабы Маруси, когда мне не было ещё и пяти лет. Но всё же осталось в памяти, что деда Володя любил усаживать меня к себе на колени. Делал он это очень бережно, и всё время, пока я сидел, боялся пошевелиться. Ещё помню, что когда деда Володю хоронили, мы с моим двоюродным братом, тоже Володей, который старше меня на пять лет, сидели в «Победе». Это была машина его отца, дяди Коли Онищука – полковника пожарной службы. И вот, сидели мы с Володей в машине, и я горячо убеждал его, что могу оживить деда. Что подниму его, открою ему глаза, буду переставлять ему ноги, и он задышит, заговорит и пойдёт – сам! И очень горевал, что мне не разрешают этого сделать – я ведь могу!

Лисихинское кладбище, как и все городские кладбища, долгое время, наверное, до конца восьмидесятых годов, мало чем отличалось от кладбищ деревенских, разве только размером: то же пасхальное разноцветье оградок, памятничков с крестами и звёздами. В этом разноцветии выразилась вера русского народа в воскресение мёртвых и новую вечную жизнь...

Теперь городские кладбища становятся серыми и неудобными. Огромные глыбы монументов надрывно спорят между собой о значительности и самоценности усопших. Но перед Богом все равны...

ВОДОВОЗ

Сначала воду носили с водокачки, которая находилась на улице Тимирязева и представляла собой оштукатуренный домик с окошечком. В домике сидел сторож. Из стены на высоте метров двух торчала толстая, диаметром пять-шесть сантиметров, загнутая вниз труба. Ниже, рядом с окошечком, торчала ещё одна труба, но потоньше и с рычагом. Из этой трубы жители набирали

воду в вёдра или в большие бидоны, которые летом ставили на самодельные тележки, а зимой на сани. Большая труба предназначалась для водовоза.

Водовоз развозил воду на лошади, запряжённой в большую телегу с огромной деревянной, выкрашенной когда-то в зелёный цвет бочкой. Не помню точно, как звали водовоза. Кажется, дядя Митя... Лет шестидесяти, небольшого росточка, худенький и тихий, он почти никогда не садился на облучок своей водовозки. Вёл конягу под уздцы. Заведёт её в очередной двор, погладит, оботрёт тряпицей бока, из-за пазухи горбушку подаст и, вдруг, гаркнет неожиданно зычным голосом: «Во-о-о-да-а-а!!!» Взять ведро воды у водовоза стоило две копейки.

Если воды на двор не хватало, дядя Митя приезжал во второй раз. Этот второй раз он частенько бывал изрядно «под мухой». Однажды водовозка пришла одна, без водовоза. Пришла и встала в привычном месте. Пошли искать «командира» – так звали дядю Митю на нашей улице. Нашли на углу Энгельса и Милицейского переулка (тоже Жандармская) – «командир» прилёг отдохнуть на травке под тополем. Подняли, дали нюхнуть нашатырю, довели до водовозки, сунули в карман деньги за воду, и дядя Митя поплёлся восвояси, ведя под уздцы свою лошадку... Так и не сел на облучок...



Анатолий Костовский. «Старый Иркутск»

УШАКОВКА

Известно, что Ушаковка – не первоначальное название реки. Это название она получила от благодарных жителей в честь одного из первых предпринимателей Иркутска Ивана Ивановича Ушакова, который поставил в её устье мельницы. Прежнее название Ушаковки – Ида – почти забылось. Но в этом нет ничего предосудительного. Купец Ушаков сделал большое дело для иркутян – «государева» мельница находилась далеко, на Кае, и не успевала обрабатывать весь приток зерна.

Первое моё детское воспоминание об Ушаковке связано с погребом в доме на Энгельса. Вход в него находился на первом этаже под лестницей. Погреб глубокий – метра два с половиной. Лёд там лежал круглый год и потихоньку подтаивал. Время от времени старый лёд выбрасывали и закладывали новый.

Делалось это так. На старинные широкие санки привязывали жестяную ванну, брали лом с приваренным к его концу топором, кайлу, ножовку и шагали к речке. Поднимались по течению выше Шварцевской бани, считали, что оттуда сливается в Ушаковку вся помойка. Наколов, нарубив и напилив куски льда величиной с небольшую чурку, грузили их в ванну и везли домой. Ушаковский лёд чистый, прозрачный, почти такой же, как на Ангаре, сверкал в солнечных лучах разноцветными искорками. Сумрачное, тяжёлое мерцание алмазов не идёт для меня ни в какое сравнение с этим праздничным, живым, радостным сверканием!

Бедная, бедная моя речка! Какие только глумления ты не переносила. И перекапывали-то тебя, и в мусорную свалку превращали, и сливали-то в тебя всякую дрянь... А между тем, ты самоотверженно и старательно несёшь свои живительные воды, в надежде, что всё-таки нужна людям. Когда-то, давно-давно, мой отец ещё подростком убегал ранним утром на берег, как раз на то место, где теперь по бетонному мосту снуют трамваи. В те времена существовало уже и Рабочее предместье (Ремесленное), и Казанская церковь, и ушаковские мельницы, и тюрьма, и мост, правда, деревянный; по берегу так же располагались избы, кипела человеческая жизнь. Но при этом на Ушаковке водились дикие утки, ловились в ней хариус и таймень; рассказывали, что «налим вылезал на берег поваляться в травке»... Мне в моём детстве не досталось ни уток, ни хариусов, ни таймений.

В 1929 году Куйбышевский завод уже громыхал, скрежетал, начиная «осваивать» окружающую среду. Великих планов «громать» затмило разум иркутян, да что иркутян, вся страна ринулась «выполнять и перевыполнять», не считаясь даже с судьбами людей, не говоря уж о природных Дарах. И затоплены пастбища, и повыврублены леса, и миллионы жизней заложены в фундамент «прогресса»...

Но всё же была и моя Ушаковка... И я, после отцовских рассказов, убежал ранним-рано, в сумерках рассвета, вверх по Ушаковке в поисках удобного для налимов места – травянистого пологого берега, надеясь, что им и теперь хочется вылезать на травку. Охотничьего азарта не было, была жгучая потребность убедиться, что мир не меняется в худшую сторону, что всё остаётся по-прежнему, что и дикие утки по-прежнему прилетают на мою речку, и что хариусы и таймени так же плавают в ней...

В утреннем мареве привиделось: склонилась над речкой русалка, горько вздыхает, лёгкий ветерок слегка трогает её волосы... Чем светлее утро – тем безжизненной она... И вот уже превратилась в брошенную на берегу сухую корягу...

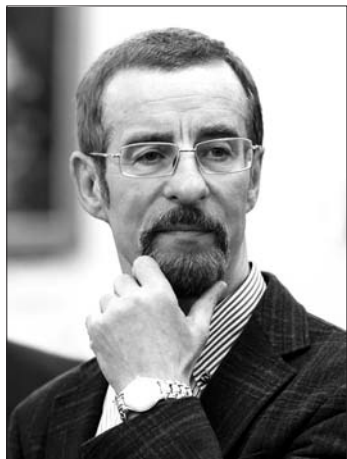
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Иркутск сильно изменился, особенно за последние полтора десятка лет, и, на мой взгляд, во многом не в лучшую сторону. Обманутый иллюзией сомнительных прелестей урбанизма, он, как, впрочем, и вся Россия, захвачен вихрем общей гонки за комфортом, за европейскими стандартами и ценностями жизни, где нет места живой русской душе.

И всё же я люблю свой Иркутск. Люблю потому, что любовь – это не восхищение. Восхищение городом или неприятие его – удел туристов, приезжих людей. Люблю потому, что это мой город. Люблю потому, что любовь – это сострадание и надежда...

Виктор Бронштейн

БРАКОНЬЕРСКИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТА



Тему передачи «Культурная революция» от 28 февраля 2013 г. (телеканал «Культура») её ведущий М.Е. Швыдкой (он же – специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству) обозначил как изначально дискуссионную: «Цифровое поколение» думать не научишь». Естественно, что и споры здесь разгорелись нешуточные. Диапазон мнений участников передачи о компьютеризации и Интернете – от полного отрицания до преклонения и обожествления – можно градуировать по убывающей возраста. Абсолютно противоположные позиции заняли основные оппоненты:

литературный критик, переводчик, кандидат филологических наук, профессор Российского гуманитарного университета Дмитрий Петрович Бак (51 год) и писатель, автор 35 книг Дмитрий Алексеевич Глуховский (33 года). Свою точку зрения высказали также: футуролог Д.А. Медведев (33 года); политолог и социолог В.А. Касамара (36 лет); генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России, доктор технических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Я.Л. Шрайберг (60 лет); кандидат философских наук из Института философии РАН Е.И. Ярославцева (59 лет). Футурлог, в частности, предсказал, что скоро мы все будем ходить с чипами в голове и посредством этих чипов напрямую связываться с глобальной сетью для получения нужной информации. Апологеты повальной компьютеризации настолько вдохновились её перспективами, что практически не дали говорить женщине и старшему по возрасту человеку Е.И. Ярославцевой.

Что касается основных оппонентов, то на позиции отрицания стоял, разумеется, профессор Д.П. Бак. При этом он сокрушался, что ушла эпоха писем с её многолетними ритуалами: неторопливым писанием и выправлением написанного, заклеиванием конверта языком, хождением к почтовому ящику и долгим ожиданием ответа. Переписку по электронной почте он считает менее одушевлённым занятием. Другой минус профессор гуманитарного университета видит в доступности и обилии информации, когда студент очень быстро может найти взгляды различных учёных на любую проблему и скомпилировать их, практически не читая, тем более, не переписывая, и – реферат или доклад готов! Такой способ получения информации – без походов в библиотеку, без поиска нужных книг – он считает губительным для мыслительной деятельности личности: «Человек становится не человеком, а функцией от кнопки, которая находится не в ваших руках. И с этим ничего не поделаешь».

Автор 35 книг в 33 года, повидавший мир и владеющий пятью языками Дмитрий Глуховский считает, что нет разницы, где сказать сокровенное «Я тебя люблю» – в сети или на бумаге. По его мнению, поиск информации в книгах, хождение в библиотеку, на почту за конвертом, ожидание письма – для цифрового поколения чистая потеря времени...

«ВСЁ» ПРЕВРАЩАЕТСЯ В «НИЧТО»

Кто прав? По-моему, и оба, и никто! Бесспорно, что Интернет позволяет намного быстрее бежать по жизни, быть на порядок информированнее того, кто «прозябает» над традиционной книгой или толстым журналом. И знает многое, но о немногом – по сравнению с «интернетным» человеком, который знает обо всём, но так бегло и поверхностно, что это «всё», с точки зрения эрудита, превращается в «ничто». В плане познания жизни «виртуальщика» и «реалиста» можно сравнить с бегуном и альпинистом. Первый мчится, и окружающий мир, в виде информации о нём, только мелькает перед глазами: «Летят деревни и сады, Летят дома, соборы, Равнины, реки и пруды, Леса, долины, горы» (Г. Бюргер, «Ленора»). Альпинист же поднимается в гору, пейзаж меняется крайне медленно... Но почему он так завораживает? Почему альпинист рискует здоровьем и жизнью, почему для него: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал» (В. Высоцкий)?

Ох, как много иной успеет пробежать, объехать, облететь, пока другой упорно штурмует Эверест или любителю неисчерпаемыми оттенками и полутонами моря, подолгу оставаясь на одном берегу, вникая, как писал Г. Гайда, «в ропот деревьев и рокот морей, в грохот горных лавин...» Так что же лучше? Бежать или восходить? Что лучше – посетить службу в церкви, помолиться у любимой иконы, помедитировать, позаниматься цигуном, в общем, побыть с собой и Господом, или же пообщаться за это время со множеством приятелей в «сети», пробежать кучу новостей, успеть сыграть в покер и другие игры (в общем, совершить массу «неотложных» дел!)?..

Кто-то, конечно, умудрится успеть и то и другое. Поэтому не будем гадать, что лучше. Нужны и «бегуны», и «альпинисты». Но вся беда в том, что компьютеры наступают такой густой сетью, перегораживая реку жизни от поверхности и до самого дна, что непохожих, сохраняющих свою «альпинистскую» статью, скоро может не остаться вовсе. Ведь редких, нетипичных людей, к сожалению, не заносят в Красную книгу. Их непохожесть на других безжалостно истребляют с раннего детства мелкочейстыми электронно-браконьерскими сетями. Бьются с этой беспощадной сетью последние «из могикан», пытаются пробить её рукописями стихов и прозы, как правило, «деревенской», а также письмами, телеграммами, открытками, да и простыми записками на клочке обыкновенной бумаги. Не умирайте же, две тысячи лет прожившие письма, простые ручки и чернила. Вы ещё так нужны!

Ведь письмо с его, на первый взгляд, рутинным, неторопливым ритуалом, нешуточным ожиданием ответа позволяет человеку глубже осмыслить и прочувствовать происходящее, успеть не спеша взойти на свой духовный «Эверест». И так во всём. Хочешь в мыслях, в чувствах, да и в страсти подняться выше – не торопись, не разбрасывайся, сосредоточься на одном. Хочешь быть победителем игры «Что? Где? Когда?», т.е. «знатоком», как правило, поверхностным? Тренируйся, «бегай» целыми днями по фактам, событиям, новостям, но поймёшь ли при этом, что настоящие мысль и чувство, как живое существо, вынашиваются тем дольше и старательнее, чем они сложнее и совершеннее.

Возможно ли представить гениальных Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, А.С. Пушкина часами просиживающими в Интернете? А их персонажей? Какой бы накал страстей был у Дмитрия Карамазова, Татьяны Лариной, Евгения Онегина, если бы человеческие чувства не захватывали их

целиком, если бы наши любимые литературные герои общались в «АйСиКью» или в «Одноклассниках», а не вынашивали чувства в своей душе и не лелеяли их, как малых детей.

Выплеснутое зарождающееся чувство или мысль подобны несчастному выкидышу, который уже никогда не сможет дозреть...

Повивальной бабкой человеческих чувств является классическая литература. Но из года в год не без давления отвлекающей и развлекающей электроники идёт упрощение образования, особенно его практической и гуманитарной составляющих. Уже почти не учат стихи, резко сокращено количество авторов и произведений. В новой программе нет даже Гоголя с его истинно русскими типажам в «Мёртвых душах», патриотическим Тарасом Бульбой, с завораживающим украинским колоритом «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Исчезают из учебников «Евгений Онегин», басни Крылова и т.д. На смену гомосапиенсу идёт безнациональный глобалсапиенс. Высокая русская классика ему противопоказана.

Два года назад я написал стихотворение с такими строками:

Мы с вожделением грызём,
Как в басне, корни у культуры.
Могуч был дуб, но мы дождём –
Крылов писал свинью с натуры.
Поэтов русских наизусть
Учили в годы коммунизма,
А нынче, вынув душу, Русь
Хоронят слуги глобализма...

Теперь можно добавить, что и внедряемая ныне система образования вкупе с компьютеризацией отбирает у современного ребёнка не только национальность, но и характер.

СВОЙ ПОЧЕРК

Личность подобна морю, наполняющемуся разными реками и ручейками. Как у каждого моря или озера различается состав воды в зависимости от главных рек, его питающих, так и у каждого человека есть (скоро, возможно, придётся говорить «был») свой почерк.

Специалисты-графологи используют анализ написанного от руки текста в качестве инструмента психодиагностики человека, по почерку они могут нарисовать полный психологический портрет личности, дать исчерпывающую характеристику его наклонностей и характера. Свой почерк имеет даже печатание на пишущей машинке. О многом говорит и сила, и угол удара, и скорость печати. Компьютер же в этом плане и глух и нем.

В мире всё взаимосвязано. Связь всегда и прямая, и обратная. Думаю, что отработка почерка в детстве в немалой степени формировала и характер подрастающего человека, который, как минимум, был более упорный. Ярче выражалась и индивидуальность ребёнка.

Неоспорима польза для психики детей и их развития мелкой моторики, связанной с письмом. Тыканье в клавиши компьютера сопровождается примитивными движениями. Письмо же ручкой, особенно не шариковой, а перьевой, как в нашем детстве, – это совсем другое дело. Мы старательно выводили вначале даже не сами буквы, а отдельные завитки, чередуя толстые и волосяные линии, при этом всё время предохранялись от клякс, обмакивая

плавными осторожными движениями ручку в чернильницу, оценивая на глазок объём капли в овале пёрышка, и не менее плавно опускали кончик пера на поверхность листа, регулируя толщину линий силой нежного нажима. Да ещё двигали напрочь забытую сегодня промокашку, держа влажную от старания руку на ней, а не на странице тетради. Насколько эта техника письма сложнее и разнообразней в сравнении с писанием шариковой ручкой, не говоря о компьютерной клавиатуре! Скоро такую экзотическую технику, наверное, будет прописывать психотерапевт для лечения закомпьютеренных детей.

Старательное письмо закреплялось в школе и уроками чистописания. Принцип этого урока был «ленинский»: лучше меньше, да лучше. То есть практически это были уроки почти художественной каллиграфии. У нас, например, в классе шло соревнование в красоте написания слов. Лучшие работы демонстрировались на родительском собрании, наряду с лучшими рисунками. Это ли не творческий процесс?

Продолжением этой тонкой работы являлись, в общем-то, все уроки «дошариковой эпохи» и в школе, и в институте. «Дошариковой» я назвал эпоху перьевых ручек с чернильницей или с чернилами внутри ручки для старших детей. И тут же ассоциативно представилась страшная эпоха «Шариковых» по Булгакову. Спаси нас, Господи, от их нашествия! Жаль, что признаки приближения этой эпохи становятся всё отчётливей.

Но и во взрослом возрасте письмо ручкой, пусть и шариковой, отличается от бездушного «компьютерописания». По почерку можно определить настроение близкого человека, его самочувствие, да и отношение к адресату. Не забуду, как обиделась одна моя знакомая, когда в открытке я наспех, некрасиво написал её имя. Особенно неудачной, какой-то хромой была заглавная буква. С тех пор при написании имён я всегда вспоминаю уроки чистописания, чтобы открытка или надпись на книге не вызвали обратного эффекта...

И, я надеюсь, не одному мне некоторые письма на бумаге хочется хранить вечно, в отличие от компьютерно-эсэмэсных посланий. Да что далеко ходить: какие деньги выкладывают на аукционах за автографы великих людей, и вряд ли кто-то заплатит хоть цент за страничку, набранную на клавиатуре!

Но вернёмся к противопоставлению библиотеки и Интернета.

ТУПИК ДЛЯ ФАНТАЗИИ

Если речь идёт о быстром поиске информации: дат, событий, новостей – конечно, удобнее Интернет. Если же речь идёт о художественном произведении или серьёзной научной работе, на мой взгляд, нужна только живая книга.

Мир оформления книг разнообразен и часто одушевлён художником. Полиграфия – это уже искусство. Осознание книги, как и любого предмета, по восточным учениям, очень важно. Не случайно есть отдельные провидцы, которые, взяв в руки книгу или письмо, могут рассказать их содержание. Обычный человек лишён такой способности, но я не могу избавиться от ощущения, что осознание книги, особенно старой, помогает её освоить. Старая книга имеет мистическое значение – её держали и осмысливали единомышленники, радовались и страдали, делали пометки. Старая книга для меня в чём-то сродни намоленной иконе и уже этим отличается от бездушного импортного, устаревающего каждые несколько лет, экрана... И фонограмма – музыка, да только не та, не живая. Язык не обманешь: неживая значит мёртвая. Так и с книгой на экране. Она содержательна, но мертва.

Важен и сам ритуал поиска, иногда долгого, и покупки книги. В наше время жгли в очередях ночные костры, чтобы принять участие в лотерее, дающей шанс стать обладателем желанной подписки на собрание сочинений родного классика. Это сродни мучительному ожиданию письма. Какие тайны души открываются в это время, какая «слюна» для переваривания чужих судеб и чувств выделяется в мозговой сфере? Мы не знаем. Но что-то важное происходило, возжеленная книга завораживала, и от неё было трудней оторваться.

Даже дети подтверждают, что информация, которую они мучительно отыскивают в энциклопедии, запоминается надолго, в отличие от мгновенно выдернутой из интернет-сети.

Не безобидны и компьютерные игры. Сделаны они так же хитро, как пепси-кока-кола и наркотики. Затягивают так, что не выбраться. И время в виртуальном мире, как по Эйнштейну или по прозорливым русским сказкам, течёт с другой скоростью.

В одной русской народной сказке провалился мужик в склеп и был, вроде бы, не долго, а выбрался на поверхность и понял, что уже лет сто как прошло, идёт, и всё ему не знакомо. Так и с современниками. Оторвался от игр, глядь, а детство и молодость уже пролетели. И не до семьи и не до карьеры переросткам, оставшимся в своём личностном развитии на уровне подростков. Для многих и сама жизнь становится виртуальной.

Не сегодня возникла эта ситуация, думали о ней и эмоционально переживали её уже многие и многие родители. И ещё в конце прошлого десятилетия я как отец выплеснул свои опасения в стихотворении «Перегрузка»:

В сети всемирной молодёжь
Слезу не выкажет берёзки.
Ссудивши души под грабёж,
Мы стали вечные подростки.
В Инете мудрость не скачать,
С живым цветком не повстречаться,
Тень сострадания не сыскать,
И всё трудней рвёт сети мать,
Чтоб грудью к первенцу прижаться.

Опасность современных компьютерных игр ещё и в том, что они уничтожают образное мышление, чахнет без него правое полушарие. Живёт такой человек одной только левой, чисто конкретной логической половиной мозга. Но, как сказал И.В. Гёте: «Всё сущее не делится на разум без остатка». Творчество и неразрывно связанная с ним интуиция – прерогатива не одной только логики.

Ещё со своего детства помню я оскорбительное слово «полоумный». По этимологическому толкованию, оно образовано соединением слов «полый» и «ум», то есть, полоумный – это человек, имеющий пустой ум. Однако случайной ли является распространённая описка: «полуумный» – то есть, имеющий половину ума? Язык ведь развивается, отражая действительность, и как бы эта описка-намёк не стала нормой для характеристики современного поколения с одним развитым полушарием!

Большой простор для фантазии давал ранее «нецивилизованный» городской ландшафт. Это и заросшие травой и кустарником пустыри с оврагами, и бесконечное разнообразие деревянной застройки: непохожие один на другой, со своими мирами, дома, окружённые дровяниками, чуланами, кладовками

своим неповторимым колоритом до сих пор питают творчество лучших иркутских живописцев.

Немудрёные игрушки, карандаши, пластилин, а иногда и глина занимали огромное безэлектронное пространство в жизни детей. Как нас волновали непредсказуемостью преобразений белые листы бумаги! А какого рода волнения может испытывать ребёнок, сидящий перед монитором, пространство которого заполняют корысти ради чужие дяди и тётки, причём, совершенно конкретным, внешним по отношению к тебе, чужим изображением супермашин и суперлюдей, в одеждах и без, с боями и гонками, эротикой и даже сексом? А лист бумаги ребёнок заполнял сам, оживляя своей фантазией, рисунками, а часто и просто «каракулями». Впрочем, каракулями это было для взрослых, разучившихся разгадывать тайны. Для детей же в линиях и цветовых пятнах могло скрываться и сражение на поле брани, и джунгли, и состязания, и образы любимых героев и зверей. Не из такого ли, непонятого и таинственного детского творчества, вырос, собственно, и золотой, и серебряный век нашей литературы и живописи? А кого, кроме гениальных биржевых игроков даст компьютерный век? Большой вопрос.

Об утраченном пространстве для развития фантазии писал Г. Гайда, ещё в предкомпьютерные времена – в 1986 году:

Ветер хлопает уличной дверью
И подъездом гуляет всю ночь.
Нелегко городскому безверию,
А в бессонницу просто невмочь...
Ляжешь поздно – поднимешься рано –
Всё-то непогодь зло веселится.
А в дому ни шестка, ни чулана,
Где бы мог домовый поселиться,
Где бы сказка могла завестись....
Ты о чём это, милый? Окстись!
Эра новых свершений грядёт,
Сказку мы воплотим... А куда
Зло юродствующий анекдот
Заменяет и сказку, и чудо.

ОТКРОВЕННОСТЬ И «ОТКРОВЕННОСТЬ»

Подростковые и юношеские образы и мечты о любви и любимых также вытесняются бесстыдными в своей откровенности картинами эротики, секса и порнографии на любой вкус, вернее на отсутствие любого вкуса.

Да и творчество в широком смысле – а это, по сути, главное в человеке – начинается с развития воображения. Но откуда же ему взяться, если вместо родниковых струй классики ребёнок беспомощно барахтается в сточных водах электронной грязи.

Тысячу раз правы китайцы, запретившие массу интернет-сайтов. У нас и здесь, как в губительном для природы производстве, нет очистных сооружений и фильтров, спасающих от пагубы детские души. Не было в доперестроечной жизни фильмов с пометкой «18+» на телевидении и сайтов «для взрослых», лукаво вопрошающих «Исполнилось ли тебе 18 лет?», в глобальной сети, – меньше было извращений и насилия. Не было никогда оголтелой пропаганды нездоровых однополых отношений, а уж тем более однополых браков.

Как далёк электронный порно-«всеобуч» от образцов русской классики, на которой познавали «тайны» любовных отношений мы. Вот как деликатно у Бориса Пастернака в стихотворении «Зимняя ночь» угадывается близость:

...На озарённый потолок
Ложились тени,
Скрещенья рук, скрещенья ног,
Судьбы скрещенья.
И падали два башмачка
Со стуком на пол,
И воск слезами с ночника
На платье капал.
И всё терялось в снежной мгле
Седой и белой.
Свеча горела на столе,
Свеча горела.

Читает юноша эти строки и оказывается в волнующем мире эротических образов. Воображение работает полным ходом. Читатель становится как бы соавтором поэта. У каждого рождаются свои неповторимые картины. Скажем, если обратить внимание на то, что вначале идут «скрещенья рук, скрещенья ног», а потом падают башмачки, воображению представится не «постельная сцена», а танго или объятия.

Или у Александра Блока:

...Ты взмахнула бубенцами,
Увлекла меня в поля...
Душишь чёрными шелками,
Распахнула соболя...
...Золотой твой пояс стянут,
Нагло скромненький дикий взор!
Пусть мгновенья все обманут,
Канут в пламенный костер!
Так пускай же ветер будет
Петь обманы, петь шелка!
Пусть навек не знают люди,
Как узка твоя рука!
Как за тёмною вуалью
Мне на миг открылась даль...
Как над белой снежной далью
Пала тёмная вуаль...

У Блока также сцена близости описана тонко и деликатно. Можно только догадываться, что произошло, и, при желании, дорисовывать в уме картины, как и при восприятии живописи экспрессионистов, в которой тоже нередко лишь намёки на действительность.

У Анатолия Передерева об отношениях юноши и девушки сказано всего одной лишь чистой строкой, но читателю становится ясно, что это были не только дружеские отношения:

...Давным-давно мы навсегда расстались,
О том, что было, не узнал никто...

Чтение русской классической поэзии и прозы рождает в душе фантазии и мечты. Именно с них, а не с силиконовых видеоприкрас, и начинаются настоящие чувства.

ЭПОХА СВЕРХПОТРЕБЛЕНИЯ

Мы загнали себя в настолько разнообразный и тупиковый мир потребления тел и вещей, продуктов и промышленной продукции, что управлять им и ориентироваться в нём уже немыслимо без компьютеризованной армии учётников, экономистов, бухгалтеров, финансистов, диспетчеров и др. Войны также не мыслимы без компьютеров. На «коне» будет тот, кто быстрее считает и целится. Но вот незадача – нужны ли современному человечеству войны, как и одуряющий переизбыток товаров, контактов и торговых центров?

Может быть, пора уже сбавить нам скорость уничтожения планеты сверхпотреблением? Не производить одуряющее море «шмотья» и летящих по мёртвому морю асфальтовых удавок быстроходных кусков железа и пластика, с тучами выхлопных газов, которые могут и нас самих скоро выхлопнуть с планеты Земля? Может, лучше направить усилия на оздоровление природы, борьбу с лесными пожарами, устройство в городах скверов и парков со свежим воздухом, цветами, фонтанами и пением птиц? Как здесь не вспомнить стихотворение замечательного поэта Николая Зиновьева «Безделье»:

Я весь день лежу под ивой,
Мне в глаза летит пыльца.
Я порой рукой лениво
Муравья смахну с лица.
Облака ползут волнами,
Но не жжёт мне душу стыд –
Знаю: нашими делами
Бог уже по горло сыт.

Совершенно бесспорно, что компьютеризация нужна науке, но открытия совершают не операторы и программисты, а единичные гениальные мыслители, на которых работает армия счётчиков и учётников. Настоящий учёный, как и настоящий руководитель, дипломат, писатель, художник может состояться, если только он оберегает себя от компьютерноинтернетной рутины.

Интернет – это и «Евгений Онегин», и грязная порнография. Но зараза распространяется, как известно, сама и может переходить в повальную эпидемию, а за здоровье нужно бороться всю жизнь.

Как сформировать у потребителя интернет-ресурсов здоровый интерес? Очевидно, что школьнику и студенту нужен квалифицированный проводник в этом безбрежном и штормовом море добра и зла. По-видимому, «ключ» от компьютера до определённого возраста должен быть только у родителей и преподавателей, а не у самих детей, как это заведено в якобы либеральном обществе. Иначе беспощадные электронные сети выловят всех талантливых и непохожих, оставив в бурном водоёме жизни одних духовных недорослей.

* * *

Возвращаясь к дискуссионной теме телепередачи «Культурная революция»: «Цифровое поколение» думать не научишь», – приведу в заключение слова старшего из её участников Якова Леонидовича Шрайберга, генерального директора Государственной публичной научно-технической библиотеки России, заслуженного работника культуры РФ:

«Сейчас мы ещё можем в конце темы поставить вопросительный знак, а через пять лет придётся ставить восклицательный».

Светлана Волкова

НАДО ЛИ «СПОРИТЬ С ВЕКОМ»?

Недавно Министерством образования был предложен список из ста книг для внеклассного чтения.

Список солидный. Можно долго спорить о составе имён, но бесспорно и вызывает недоумение одно: почему во внушительном перечне из ста книг мы находим только три книжки для младших школьников: «Денискины рассказы» Драгунского, «Крокодила Гену» Успенского и «Незнайку» Носова. А ведь предлагается этому малышу, когда он вырастет, читать и понимать русских классиков, труды Лихачёва, Вернадского, Лотмана... Поневоле задумаешься, как же младший школьник, с тем скудным книжным запасом, который ему предложен, сможет вскарабкаться на гималаи гуманитарных знаний.



Наверняка не только учёных трудов он не осилит. Не выработает исторического сознания. Век девятнадцатый для наших школьников уже глубокая архаика. Ребятам незнаком и уклад и дух той эпохи. Простейшие, недавно общеупотребительные понятия кажутся незнакомцами. Вот слово «сума», та самая сума, от которой пословица велит не зарекаться. Дети, сплошь и рядом, находят в слове ошибку и предлагают писать «сумма».

Что они читают сейчас? Вот ответ моих юных собеседников на одной из школьных встреч. Он единодушен: «Мы читаем романы Акунина, а любимый наш персонаж – сыщик Фандорин».

Может быть, эти ребята что-то прочтут по программе. Но время будет упущено. Скудость прочитанного в детстве и отрочестве навсегда отодвинет или вовсе скроет от них сияющие вершины отечественной мысли и слова.

Каждый из нас, конечно, наблюдал неприглядную примету последних лет: рядом с мусорными баками на земле или на газете лежат книги. Их выбросили в угоду современному дизайну жилых помещений. Я видела книги «Пушкин в переписке», «Русские былины», «Робинзон Крузо», «Спартак»... Люди, которые избавились таким образом от ненужного им «хлама», на воспитание детей не оглядывались. Не задумывались, что отправляют на свалку – ум, благородство, доблесть и честь. И пусть эти люди трижды заботливые родители, дети их всё равно беспризорники. Сытые, холёные, отлучённые от великих наставников многих поколений.

Не Фандориным единым сыт подросток. Ещё один всеобщий кумир – Гарри Поттер. Автор эпопеи о нём Джоанн Роулинг недаром заявила: «С Толстым бы сейчас контракта не заключили».

К словам королевы жанра трепетно прислушиваются и наши доморощенные производители фэнтези. Как представлена в анонсах волшебная повесть Н. Щербы «Часодеи». Не устоять! К тому же книжка удостоена престижной

в детской литературе премии «Заветная мечта». И вот мы с юным читателем попадаем в волшебный восьмибашенный замок Черновод. Здесь живёт героиня повествования девочка Василиса. В столовой за витражными окнами, среди стен, увешанных «расписными гобеленами» (!), собралась за завтраком вся её семья: Нортон-старший, его дети, и подружка Нортон. Ну и семейка! Передавая друг другу приборы из серебра, передвигая хрусталь, героиня и её брат с сестрой обмениваются «ненавидящими взглядами». «Отец безучастен», слова его подружки «источают яд». Услышав, что Василиса утром летала над морем, эта милая женщина замечает: «Ведь так можно убиться». – «При этом, – поясняет автор, – в её голосе прозвучала потаённая надежда».

Почему же все так ненавидят друг друга? Оказывается, взрослые здесь – великие часодеи – властители времени. А Василиса сочувствует их врагам – феям. Хотите узнать, за что же часодеи ненавидят фей? Ответа не найти.

Это у Гофмана в «Крошке Цахесе» всё понятно: причина гонения на фей – прогресс, учёные, которые его двигают, властители, которые на нём помешались. Причудливые фантазмагии скреплены авторской мыслью и освещены авторской улыбкой. В «Часодеях» никаких улыбок: не любят властители времени фей, и все дела. Так не любят, что то и дело «зачасовывают» бедняжек – эфемерных созданий. Кстати эфемерные они или «эферные»? В повести и так и этак. Так вот, фею Диану должны зачасовать, то есть превратить в камень. Василиса же и её друзья стараются расчасовать «эферную» девочку. Ура, расчасовали! Но теперь перед героями встаёт ещё более важная цель – вернуть Время в Расколотый замок. К чему затевается очередной сыр-бор?

Преодолевая нагромождение бесчисленных приключений, пытаюсь пробиться к смыслу происходящего. Может быть, Расколотый Замок – символ вражды воюющих сторон? Или войны взрослых и детей, что так типично для жанра фэнтези? Дочитываю до последней страницы. Увы, про замок забыли, уже не до него. Теперь злодеи-часодеи хотят зачасовать уже главную героиню.

В повествовании множество волшебных предметов: тут и Алый цветок, и Цветок смерти, и таинственная Синяя искра. Нет только золотой искры авторской мысли. Бесконечные магические манипуляции не создают атмосферы волшебства. В литературе она создаётся мелодикой фразы, мастерством владения словом. Здесь же язык донельзя примитивен. Перлами, вроде «буря тихого восторга охватила её», «все краски разом схлынули с её лица», усыпаны страницы. По агрессивности речи повесть может конкурировать с самоучителями по единоборству. Редактор, работая с автором, мог бы, наверное, сгладить кричащее несовершенство стиля и языка. Но сквозь гляцевые страницы пышно разрекламированной повести присутствие редактора не проглядывает. Можно, конечно, повторить, вслед за поэтом: «К чему напрасно спорить с веком?» – детям, мол, такое чтение нравится.

Детям оно навязывается. Навязывается издательской политикой, авторами, которые её осуществляют. Книжки, подобные «Часодеям», заполонили прилавки. И мало кому до этого есть дело. Был журнал «Детская литература», профессиональные рецензии оценивали, что хорошо и что плохо. Теперь этого журнала нет. Солидные издания беспризорнице – детской литературе – «подвалы» не выделяют. Разве что чердаки. И отзывы чаще всего торопливые и снисходительные. А между тем детская литература требует сейчас особого внимания.

Теперешний мир не лучезарен. Дети, не отгороженные от его миазмов, вдвойне болезненно воспринимают действительность. Катастрофы и ужасы

мультиплицируются на экранах, в прессе. Да и мы, взрослые, без конца запугиваем ребятшек ворами, бандитами, маньяками. Бедолага открывает книгу – и там злоба, зависть, предательство, месть. Сплошь и рядом в книжках дети одни сражаются против злокозненных взрослых. Только вздохнёшь, вспомнив название волшебной повести В. Катаева «Много хороших людей и один завистник». В теперешних книжках на сто злодеев едва ли наберётся один хороший человек. Никто не призывает посыпать всё сахаром, но нельзя забывать, что детские книжки – дело особое.

Корни отечественной детской литературы уходят к русской сказке. Один из основных её древних смыслов – обряд посвящения. Герой преодолевает горести, испытания, страхи и выходит цел и невредим, как Иванушка из котла с кипящим молоком. Когда-то и тёмный лес, и чудища, и боль – всё было реальным. Только так и можно было стать мальчику – воином, девочке – матерью большой семьи. Ушли в седую старину обряды. Но посвящательный смысл сказки остался. И книжки – тоже.

Детская книжка посвящает юного читателя в жизнь. Вот почему в ней так необходимы свет и вера в добро. Без надежды, без веры в лучшее, как ребёнку расти? Об этом не думают авторы и издательства, предлагающие детям «чёрный юмор», готические романы и те же фэнтези. Считается даже, что это полезная прививка, закаляющая детскую психику. Почему же, благодаря этой «прививке», столько ожесточённых индивидуалистов, или наоборот, неуверенных в себе, сбитых с толку подростков?

Почему же столько ребят от этой так называемой «жестокой правды жизни» шарахается к другой «правде»? Я имею в виду получившие необычайное распространение эзотерические брошюры новоявленной гуру Н. Правдиной. На все эти «Полные энциклопедии успеха», обещание гармонии с миром и богатства клюют не получившие ни религиозного, ни нравственного воспитания читатели. Те, которых с детства пичкали «Шреками» и дятлами Вуди, те, что плавно потом перешли к готическим романам и фэнтези, скроенным по искажённым лекалам с английского эпоса. И мало того, что издания воспитывают дурной вкус, они уводят юного читателя от отечественной культуры и системы традиционных духовных ценностей. Недаром один из американских политиков сказал политику российскому: «Мы с вами воспитывались на разных сказках».

Да, сказки разные. Русская сказка милосердна. Она приголубит и хромую уточку, и зашипанного гусёнка. А горбатого конька и вовсе вознесёт в небесье. Русская сказка щедра. Герой в ней всегда отдаёт. И не только герой. Вспомним «Гуси-лебеди».

– Покушай моего киселька, – уговаривает героиню молочная речка.

– Попробуй моего пирожка, – угощает печка.

А яблонька протягивает яблоко.

Русская сказка не любит хитрого, она любит простодушного, верного и отважного. Унося слушателя «за тридевять земель, в тридесятое царство», она накрепко привязывает его к родной земле, закладывает национальный и культурный коды. То, что заложено в раннем детстве, заложено накрепко.

Чудесная книжка – «Волшебник страны Оз» Баума, кто спорит. Но я не могу, как ни стараюсь, полюбить героиню сказки Дороти из-за её серебряных башмачков. Помните, как они к ней попали? С ног волшебницы, которую, падая, убил домик Дороти: «Дороти не хотела их надевать, но её башмаки прохудились», – объясняет нам автор...

Или возьмём «драконовскую тему». Никакими природными катаклизмами невозможно объяснить нашествие в нашу детскую литературу этих зубатых и чешуйчатых тварей. Современные авторы льстиво называют их Драконами и мило Пыхалками. Но любой дракон в русской фольклорной традиции – Змей Горыныч, в православной же – всегда порождение и символ зла. Подхватив новомодную тему, взрослые дяди и тётки пишут о том, как кормить дракончиков, приучать их к горшку. Валяют ваньку, не думая о том, что размываются и искажаются этические установки и традиции. Поветрие нашего века – эстетизация безобразного – накрепко связано с культом суперменства и жестокости.

И ещё одна беда кроется под пёстрыми обложками коммерческих книжек – отучение от чистого и правильного русского языка. Читатели их поневоле, подражая их героям, разговаривают на «ирокезском» наречии. И никого уже сейчас не удивляет, что слово «металлург» дети считают глаголом.

Всё выше сказанное отнюдь не ратование за литературную изоляцию. Лучшие образцы детской мировой литературы девятнадцатого века и пришедшие к нам в веке двадцатом имена Милна, Трэверс, Лидгрэн, Янсон – обогатили и нас, и наших детей. Мутный же поток теперешнего, наскоро переведённого детского чтива, тащит с собой, вместе с примитивностью жизненных устремлений героев, примитивность языка и полное отсутствие художественных достоинств. Этой генномодифицированной пище для детских сердец и умов мы в состоянии закрыть доступ в наши дома, библиотеки и школы.

Сохраним ли то, что имеем? Мода на крылатых чешуйчатых, как и всякая мода, схлынет. Русская сказка как цвела, так и будет цвести алым цветочком. Но не спрячется ли она, не придётся ли идти за ней, как за этим цветочком за тридевять земель? И сохранятся ли её традиции в отечественной литературе? Это зависит как от тех, кто для юного читателя пишет, так и от политики наших издательств.

Недавно, к своему трехсотпятидесятилетию, наш город получил хороший подарок: красиво изданный сборник «Иркутские сказки». В нём представлены уже ушедшие от нас писатели: В. Стародумов, М. Сергеев, Ю. Самсонов, и пишущие ныне: А. Байбородин, Ю. Баранов, А. Горбунов, С. Волкова, Т. Ясникова. Все они очень разные. У каждого своё представление о жанре, своя художественная манера. Но всё лучшее у каждого, на мой взгляд, – то, что укоренено в традиции сказки народной. Она, как волшебная палочка, помогает авторам выразить и магию чудесного, и убедительность нравственной позиции, и ощущение родственности всего живого. В издательском же послесловии к сборнику, которое оценивает всё напечатанное, читаем: «по этим сказкам можно проследить эволюцию от простодушного народного вымысла к современной волшебной истории, в которой угадывается современность во всём многообразии и безграничной сложности». Действительно, прослеживается. Но вот что касается сложности. Вряд ли русскую народную сказку можно назвать простодушной. У неё, как у волшебного ларца, не одно дно, а семь, и столько же замков. Русская сказка таит и многовековую мудрость народа, и христианскую этику. Вспомним Аксаковский «Аленький цветочек». И так схожий с ним по сюжету миф об Амуре и Психее. Как разнятся характеры их героинь! Психея любопытна, легковерна, суетна. Возвращается она из царства Аида только благодаря помощи Юноны. Героиня «Аленького цветочка» – сама жертвенность и милосердие. Своего наречённого она возвращает к жизни не-

обыкновенной силой чувства. И если, по мифу, дочке Амура и Психеи дали имя Наслаждение, то дочь героини «Аленького цветочка», конечно, носила бы имя Любовь.

Восходя к древним общечеловеческим мифам, русские сказки впитали их многозначность и добавили к ним свои национальные смыслы. Вот, к примеру, пересказанная Пушкиным «Сказка о мёртвой царевне». Она, как и «Спящая красавица» Перро, основана на мифе о похищении Аидом богини природы Персефоны. Сюжет один.

Но в «Мёртвой царевне» природоведческие представления древних славян отлиты в такую безупречно огранённую форму, что эти две сказки как-то даже и не совмещаются. Семь братьев богатырей – семь холодных месяцев – хоронят царевну. И спит она в ледяном хрустальном гробу до тех пор, пока не разбудит её поцелуй солнечного королевича Елисея. А какой живой, тёплой, домашней видится нам царевна!

«Дом царевна обошла, всё порядком убрала, засветила Богу свечку, затопила жарко печку, на полати взобралась, и тихонько улеглась». Царевна эта – простая русская душа-девица! Совмещение в короткой истории космогонических, философских, этических смыслов – великое завоевание нашей культуры! И самая, казалось бы, незамысловатая народная сказка – хранительница этих достижений.

Что же касается «безграничной сложности» современных волшебных историй, то, к сожалению, чаще всего она оборачивается псевдосложностью. Повествование нельзя назвать современным только потому, что оно напичкано техническими и научными реалиями. И чаще всего это только антураж: чёрные дыры, пришельцы, космические монстры, космические частицы... А за всем этим прячутся обыкновенные «стрелялки» – кто кого. Это отнюдь не призыв повернуть время вспять, зачеркнув достижения науки и техники. Но вульгаризация темы, превращение космических одиссей в подобие бульварных романов – это есть зачёркивание этих самых достижений. Вспомним имена первооткрывателей космического жанра: Уэллса, Ефремова, Брэдли... Их космос согрет дыханием человека, в нём живут его земные заботы и вечные темы добра и зла.

А любимец всех детей – мальчик с астероида Маленький принц? Печальный и строгий судья нашего несовершенного мира, поднявший выше могущества техники любящее, «зоркое» сердце, Экзюпери был ближе к звёздам и лучше других знал, что нужно на земле человеку.

Кажется, ещё совсем недавно, детская литература была полноправной частью литературы большой. Люди старшего поколения не представляют себе нежного возраста без «Каштанки», «Серой шейки», «Детства Тёмы» и «Детства Никиты». Без писателей советского периода: мудреца с детским сердцем М. Пришвина, К. Паустовского, что сказки свои писал «не дыша», любимца ребят К. Чуковского. Все они считали своим долгом творить для юного читателя. Сейчас же писателей первого ряда, обращающихся к детям, раз-два и обчёлся. Пишут-то многие и много, но как? Разъедающий всё нигилизм, книга, мол, никого не спасает, кивки на клиповое мышление рожают моду на легковесность и развлекуху. Не модно говорить с детьми серьёзно и о серьёзном.

Но, как известно, дети с клиповым мышлением сразу на свет не появляются. В одной из недавних передач центрального радио, посвящённых чтению,

звонившие ребята называли своими любимыми книжками и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, и «Два капитана» В. Каверина, и романы Майн Рида и Фенимора Купера.

Так, вопреки всем воплям, хорошая детская книга продолжает делать своё не громкое, но важное дело. Только, конечно, там, где ей это позволено.

...Прошло всего тридцать минут с начала моей встречи с четвероклассниками одной из иркутских школ, как в библиотеку один за другим стали заглядывать встревоженные родители: «Ты что здесь сидишь? На у-шу пора! На танцы! В парикмахерскую!» – и ребята гуськом потянулись к двери. В библиотеке остались только учителя. И долго сетовали они на то, что четвероклассники так плохо читают, даже по слогам, что пришлось ввести в расписание урок обучения чтению. Учебники им не под силу. Объяснение учителя на слух они тоже воспринимают с трудом.

«Усадить бы вместе с ребятами за парты и родителей!» – мечтают учителя. И это в одной из центральных, с давней, хорошей репутацией, школ.

В школе другой, окраинной, я вела литературный кружок. Было время «чёрных частушек», детективных серий «Чёрный котёнок», гоблиновских мультиков и прочей чернухи. Всем этим ребята были напичканы по уши.

– Знаете слова колыбельной «Спи, моя радость, усни»? – спрашиваю я.

– Знаем! «Ручки в кастрюльке кипят, ножки под лавкой стоят». Мы ещё много чего знаем!

– Я тоже! – говорю. – Кто читал «Чёрную курицу»?

Читали многие. Стали пересказывать волшебную историю по очереди. От желающих не было отбоя.

– А теперь расскажите какой-нибудь сюжет из «Чёрного котенка», – предложила я, – все читали?

– Все!

И никто ничего не мог вспомнить. Только наша палочка-выручалочка, разумница Оля подняла руку. Она предложила совсем не детективную, очень смешную историю собственного сочинения.

Олины родители были в разводе, и жила она с бабушкой. Сколько я видела ребят с такой бедой, как у Оли, нервных, издёрганных, в себе не уверенных. А эта – безукоризненная гимназисточка: две длинные светлые косы, отглаженная белая блузка, очень серьёзная. Только когда она рассказывала что-нибудь весёлое, серые глаза её смеялись. Каждый день, за час до занятий, появлялась в дверях школьной библиотеки её мальчишеская фигурка. Из ранца доставалась толстая тетрадь, в неё записывались наиболее понравившиеся места из книг, которые она читала, диалоги, описания природы. В другую тетрадку заносились выписки из энциклопедий – разные диковинки, невероятные факты, курьёзы. В третьей были её собственные наблюдения, рассказы и сказки. Мальчишки рядом с Олей всегда подтягивались. Не скажешь, что только что на перемене они играли с ней в футбол. А я готова была приходить на занятия кружка только ради одной Оли. Но, в седьмом классе, её взяла в свою семью мама, и девочка перешла в другую школу. Я потеряла её из виду. Выбрала ли Оля для себя литературную стезю, я не знаю. Но то, что, в трудное время, именно книги помогли ей выстоять, это я знаю точно. Сильный это воин – хорошая детская книга. И присоединить свои скромные труды к великому книжному ополчению, сражающемуся за наших детей – большая честь и ответственность.

Алина Боровская

«Я МЫСЛИЛА ТЕБЯ...»

БЕСЕДА С АВТОРОМ + СТИХИ

У Алины Боровской готовится к печати книга стихов «Невод чудный». Стихи православные, и беседа с их автором, посвящённая особенностям её творческого направления, предпослана публикации подборки произведений из этой книги.

– Вы используете в своих стихах церковно-славянские слова. Так сейчас не пишут, не говорят, это не то чтобы из прошлого, выглядит несовременно. Вы не боитесь, что невоцерковлённому человеку ваши стихи будут непонятны?

– Когда я пишу, я думаю о том, что писать, а не о том, кто будет их читать. Воцерковлённый же человек более чуток к слову, любит и умеет слушать духовную поэзию, и когда он встречает в тексте знакомые образы или выражения, его это радует. Это наречие нужно полюбить, чтобы понять, и понять, чтобы полюбить...

– Существуют разные противоречия между религией и искусством, как вы переживаете это, вам удаётся соединить эти два мира?

– Но ведь и слово «творец» переводится с греческого как «поэт»*. Хочу напомнить, что царь Давид писал псалмы, Роман Сладкопевец писал церковные песнопения. Человек создан по образу Божьему, а Бог является Творцом. Значит, жизнь человеческая должна быть наполнена творчеством. Церковь призывает человека изменить своё сердце. На мой взгляд, и искусство должно работать в этом же направлении. Любой человек счастлив, когда его творчество созвучно замыслу Творца.

– Обычно к стихам такого рода приходят через переосмысление предыдущего творчества, часто отказываясь от прежнего – того, что было в раннем творчестве, меняя угол зрения на окружающий мир. Как у вас это происходило?

– Лирика имела место в моём раннем творчестве, но это шло параллельно, не противореча и не мешая воцерковлению, скорее наоборот, одно другому помогало. Постепенно я поняла, что талант, данный Богом, нужно, как сказано в притче, отдать... Талант это не только способность рифмовать, а это всё, это способность воспринимать, чувствовать, любить... и за всё благодарить Бога.

Теперь всё чаще источником вдохновения служат для меня праздничные церковные песнопения, или какие-нибудь строки из псалмов или молитв, на-



* Поэтическая вольность. Слова «творец», «творить» – общеславянского происхождения, суффиксальное производное от той же основы, но с перегласовкой, что «твёрдый», «тварь». «Творить» буквально – «делать прочным». (Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2004). – Прим. ред.

пример: «Како Тя пеленами повию яко Младенца, како сосцами питаю Тя, всяческая питающего, како Твоей паче ума нищете удивлюся, како Тя Сына Моего нареку, Раба Твоя ныне сущи?» (Минея – 24 декабря) – стало прологом к «Песни матери»...

– После этого стихотворения возникает вопрос: не слишком ли дерзко писать от имени Богородицы?

– Это является традицией для русского стихосложения (и не только стихосложения, в Московской области есть монастырь Новый Иерусалим). Вспомним старинную русскую песнь «Плач Христа», её некогда исполнял на гусях Андрей Байкалец: «Кому повем печаль Мою... вы Меня отреклись своего Господа...» У Марины Цветаевой: «О путях твоих пытаться не буду, милая, ведь всё сбылось...» – она писала от имени Христа, более того, уже снятого со Креста.

– Наверняка ваши стихи неоднократно подвергались критике со стороны филологов? Какое из них, им, что называется, «режет слух»?

– Больше всего досталось одному из моих сокровенных. Я не раз замечала – стоит заговорить о самом важном церковном таинстве, тут же находятся желающие внести поправки. Приведу стихотворение «Причастие» полностью:

Я мыслила Тебя в молитве утренней,
Дыханье пред иконой затая.
Ждала Тебя в усталом путнике,
В полёте молнии и шорохе дождя.
Во время Благовеста с колоколен,
В крошечной тишине ночной...
Мне не дано познать Святую волю,
Раз до сих пор не свиделась с Тобой.
Не разрывайся же, душа, на части –
Что без Тебя я, Свете неба?
Я встретила с Тобой в причастии,
Узнала в преломлении хлеба.

Критиков озадачивала первая же строчка. Мыслить можно только о ком-то, утверждали они. Это было написано мной интуитивно, но, чтобы доказать правоту своего слышания, мне пришлось перелистать Евангелие и найти подтверждение: «Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?» (Матф. 9:4); «Любовь долготерпит, (...) не раздражается, не мыслит зла» (1 Кор. 13:4,5). Зато это ещё раз подтвердило мысль: чем больше читаешь церковнославянские тексты, тем больше привыкаешь к ним, и хочется говорить так и думать так же.

Во втором четверостишии мне досталось за «крошечную тишину». Странно, что об этом мне говорили поэты... Последняя строчка тоже вызвала нарекания, но это уже говорит о некомпетентности: «И они рассказывали о происшедшем на пути, и как Он был узан ими в преломлении хлеба» (Лк. 24:35).

– Вы пишете иконы. Что общего между иконописанием и поэзией?

– Любой талант – дар Божий, к нему нужно подходить, приклонив голову. На что я обратила внимание: когда пишешь икону, то каждый её фрагмент, даже самый маленький, построен по принципу троичности. Будь то лучики, пряди волос или изображение вод, высветления... Так и в стихотворении – ча-

сто описывается три состояния времени: прошлое, настоящее, будущее. Три человеческих составляющих: тело, душа и дух. Три главных христианских добродетели: вера, надежда, любовь. Мои стихи чаще всего состоят из трёх четверостиший.

– *Каким вашим стихотворением это можно проиллюстрировать?*

– Я свои стихи обычно не анализирую так подробно, но вот какой был случай. Одна девушка с филфака для своей курсовой работы выбрала моё стихотворение: «Молитва в ночи». Она разложила его на три звуковые и цветовые составляющие, что меня смутило, так как я тогда ещё не думала, что стихи можно рассматривать ещё и под таким углом. Но что меня приятно удивило: девушка заметила, что в первом четверостишии речь идёт о предметном, материальном, изображаемом. Во втором – о душевном, чувственном. В третьем: обращение к Богу. Тело – душа – дух. А ведь я не ставила перед собою такой задачи, само собою получилось.

МОЛИТВА В НОЧИ

По крыше луна клубком покатилась...

Ночь своё расправляет крыло.

Словно второе дыхание открылось,

Новое чувство произошло.

Я подливаю масло в лампаду –

Пей, огонь! И огонь это пьёт,

Снова неисчерпаемо рада

Совершить всеночный полёт.

Мудрый, сладчайший мой Отче!

Всем делам без Тебя – прах и тлен,

Обрати ко мне светлые очи –

Ничего мне не надо взамен.

– *О чём труднее всего писать вам, как молодой поэтессе?*

– О том, что я ещё не прочувствовала и не пережила в душе.

– *Что бы вы посоветовали таким же молодым литераторам, как вы?*

– Наверное, я повторю здесь слова Василия Васильевича Козлова – иркутского поэта. Он однажды сказал, что поэзия – это не колебание звуковых волн, а воздействие словом на более тонкие слои... Надо быть осторожным в употреблении слова, но и доверять ему, потому что каждое имеет свою родословную и несёт целый ряд ассоциаций. Поэтому короткое стихотворение может нести в себе гораздо больше смысла, чем, к примеру, рассказ или повесть. Я сразу «слово» восприняла как «Слово», и для меня это стало задачей на всю жизнь.

– *А от чего бы вы хотели предостеречь?*

– В своём желании показать себя знатоком культурных ценностей тот или иной поэт часто путается в религиозной символике, соединяя несоединимое; например, помещая Деву Марию в интерьер античного, а стало быть, языческого храма. Я сама допустила подобное однажды, соединив вместе богов разных религий, и это стихотворение было даже опубликовано, о чём я теперь жалею. Духовная поэзия требует к себе особого отношения, и прежде всего воцерковлённости и осмысления.

МОЛИТВА К БОГОРОДИЦЕ

«...Не имамы иныя помощи,
Не имамы иныя надежды...»
Всё, казалось, гораздо проще,
Всё в порядке – думалось прежде.

Только Ты, Пречистая Дева,
Помози – где и как мне ступати
Вслед Христа, что носила Ты в чреве,
Земные оставив страсти.

Мать Божья, небесная синь!
Не отрини слов моих сонмища.
Вновь шепчу пред иконой: «Аминь!»
Не имею иной я помощи.

ЖЕРТВА БОГУ

Что чувствует душа после затей,
Куда стремленья после, в пустоте?
Что эти свечи по сравнению с Твоей
Единой жертвой на Кресте?

Что Ти воздам, что принесу Тебе?
Мое любое попечение – суета.
Творец Вселенной. Ты везде,
И не нуждаешься ни в чём – Ты полнота.

А что такое я перед Тобой?
Во мне какая добродетель?
Ведь душу не омыть водой,
Не освятить обычным светом.

Пророк сказал, что жертва Богу –
Дух сокрушен и сердце сокрушенно.
И всё. Казалось бы, немного –
Но эта ноша неподъемна.

Осознанно, сейчас, теперь,
Как в землю, в покаяние врати...
Любовь во всём... Сей дар Тебе
Трудней всего мне принести.

КАНУН РОЖДЕСТВА

Как неприветливо выглядит город:
Свет в окнах тускл, дома, как надгробья.
Мы в крепких объятьях вечернего холода,
Меня греет Дитя, что ношу Я в утробе.

Растревожены мысли Мои о вечности,
Опечалены очи при виде пустыни,
В скудных яслях будет лежать Цесаревич,
Он уже этим миром не ждан и не принят.

В облаках почивает серебряный месяц,
За звездою спешат пастухи и волхвы...
Ныне Бог, на паперти каждого сердца,
Кротко ждёт подаяния нашей любви.

ПАСХА

1.

Ныне вся исполнишася света –
Небо, и земля, и преисподняя.
Чем иным могу я быть согрета?
Только Воскресением Господним.

На ветру пасхальном плачут свечи,
Слёзы застывают на ладони.
Нам открыта жизни бесконечность
Через Воскресение Господне.

2.

Христос Воскрес! И с белых колоколен
Жар-птицею сорвался медный блеск.
Донёсся до бревенчатых часовен,
К которым подступает лес,
Звон к слюдяным окошкам прикоснулся,
В ветвях шумевших птиц спугнул.
Он, отразившись от небес, вернулся,
До новой утрени уснул.
А озеро сказало мысленно,
На глади сохраняя крест:
Христос Воскрес Воистину,
Воистину Воскрес!

СРЕТЕНИЕ

Я славлю лепет детских уст,
Молитву листьев!
Се радость вытеснила грусть,
Худые мысли.
Держу Дитя в руках своих:
Смотрите, очи!
Сквозь призму слёз и лет тот стих
Я помню, Отче:
«Се Дева примет и родит
Эммануила».
Свет для Израиля горит,
А я бессилен.
Ты обнимаеши меня
Ручонкой, Сыне!..
Какой богоприимец я?
Я – Богом принят.
Благослови раба теперь
Уйти навеки.
Я от Тебя приду к Тебе,
Сомкнувши веки.

* * *

Не ищи меня, ветроподобную.
Разуверившись в этом мире,
Я живу под белыми сводами,
Под крыльями серафимов.

Под крыльями и под крестами,
Горящими в небе синем.
В окне, как в иконной раме,
Вижу глаза России.

Смотрит и плачет дождями,
И мироточат стёкла.
Мы её воскрешаем годами,
Да гвоздь, видно, в души вогнан.

Взрасти меня, Боже, под сводами,
Под крыльями серафимов,
Чтобы стать мне сестрою сводною
Той, чьё имя – Россия...

В БОЛЕЗНИ

Приходит день, приходит час иной,
Когда уже не властна я над телом...
Как бабочка, пронзённая иглой, –
Так я болезнями прикована к постели.

И в этой оглушительной тиши,
И в этом затянувшемся мгновенье
Я слышу голос собственной души
И посланные свыше откровенья.

То молится душа, то созерцает,
То кается, а то благодарит...
И хочет в храм, где Чаша золотая
В руках священника пылает и горит.

Да, я порхала от цветка к звезде...
И даже грех привиделся мне славным.
А Ты вот так привлёк мой ум к Себе,
Напоминая мне о самом главном.

И вот у незаправленной постели
Я радуюсь творению пера –
И будто моего больного тела
Коснулась тень апостола Петра.

ИСПОВЕДЬ

Расхищена душа моя, растоптано призванье,
Разорвана с Тобой связующая нить.
Всё сознаю, и не боюсь признанья,
До слёз, до дрожи – всё хочу забыть!

Как вижу свет неугасаемой лампы –
Мне слышен голос Твой сквозь веки и века.
Я каюсь, Господи, прими мой слёзный ладан,
Пусть почивает на моей главе Твоя рука.

К Твоим ногам – моих волос касанье,
К Твоим ногам летит слеза с ресниц...
Разорваны мои рукописанья,
Очищена прикосновеньем риз.

ПЛАТ ВЕРОНИКИ

Долина Кедрона спускается к морю,
А белые птицы покинули землю.
Со мною случилось и счастье и горе –
И этого я не пойму, не объемлю.

И как же так вышло, по чьей это воле? –
Мне полюбился Сын старого плотника.
Словно душа моя – бабочка в поле,
Ввысь вознеслась от анисовых зонтиков.

Следила сквозь листья миндального дерева
За шагом Твоим, по лунной дороге,
Я свято любила, надеялась, верила,
Ты был для меня человеком – стал Богом.

Ты помнишь меня? Я вытерла платом
Лик Твой, когда Ты нёс Крест на Голгофу.
Со мной навсегда этот взгляд благодатный –
Твой образ, Твоею написанный Кровью.

Помилуй, прошу Тебя, Ты ведь всё ведаешь,
Нет вожделенья во мне, нету страсти...
Твоё Воскресенье – над смертью победа,
Лишь пережить бы мне страшное – РАСПЯТ.

НЕВОД ЧУДНЫЙ

Ты извини меня сегодня,
Что я в молчаньи...
Уловлен неводом Господним
Мой взор печальный.

Я словно плод ношу в себе –
Свою же душу,
О ней пекусь, её судьбе –
И в зной и в стужу.

Я знаю, есть нетварный свет –
Дан как награда.
Уверуй в то, что смерти нет,
Смерть – грань, преграда...

В погоне за житейским счастьем
Потерь премного...
Куда важней быть малой частью
Христа и Бога.

И как бы не нарушить здесь
Простым движеньем
Родившуюся в сердце песнь –
Богомоление...

Разлит бездонный небосвод
На наши будни.
Так уловил весь мир Господь
В Свой невод чудный...

* * *

Лишь там, под сводами белого храма,
При треске свечей и сиянии лампад,
Под свет огоньков, танцующих плавно,
Я тебя чувствую рядом, мой брат.
Я знаю, вот так же, подле иконы,
Но только за дальними далями зим,
Ты совершаешь земные поклоны,
И сердце исполнено словом святым...
Слились воедино и воздух и время...
Плыви над Россией молитва, плыви...
Мы вместе стоим на одной из ступеней
Собора Великой Вселенской Любви.

* * *

Куда уйти от мыслей о Тебе?
Мне эта осень чудо сотворила,
Твоё я вижу отражение в воде,
Твои слова листва мне проронила.
И каждое письмо, и каждый стих,
Что по ночам мне птицы диктовали,
Не для других я рифмовала их,
Тебе единому всю жизнь адресовала.
О чём мне говорить и слёзы лить? –
Горячий воск скрепил свечу с ладонью...
Могла ли я желать вот так любить?
Достойна ли любимой быть Тобою?

ЖИЗНЬ В ТВОРЧЕСТВЕ И ТВОРЧЕСТВО В СУДЬБЕ

Геннадий ГАЙДА

Об Анатолии Передрееве

ПОЭТ ВЫСОКОГО ДУХА

Анатолий ПЕРЕДРЕЕВ

Стихи

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИРА

Татьяна ЯСНИКОВА

О Борисе Архипкине

«IMMAGINE&POESIA»

Борис АРХИПКИН

Стихи

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ

Татьяна КОВАЛЬСКАЯ

О судьбе Андрея Фёдорова

О, МУЗА, НАВЕЩАЙ МЕНЯ!

Андрей ФЁДОРОВ

Стихи

НАДО ЖИЗНЬЮ СВОЕЙ ДОРОЖИТЬ

Геннадий Гайда был редким ценителем поэзии, читателем, которому мало было самому насладиться красотой слога, отточенностью мысли, ему надо было непременно делиться с первым встречным радостью первооткрывателя. Для многих он стал законодателем и воспитателем поэтического вкуса: друзья, знакомые, случайные встречные, с кем сводила его жизнь на нешироких иркутских улицах, помнят эту его особенность. Со временем он стал выступать с публичными беседами, его взгляд охватывал русскую поэзию с древнейших до наших дней, её направления и судьбы. Затем эта деятельность удачно воплотилась в



Геннадий Михайлович Гайда

цикле телевизионных передач «Классическая лира», в которой участвовали Виктор Бронштейн и Василий Козлов. Но движителем, сердцем и душой этих разговоров о поэзии был, конечно же, Геннадий Михайлович.

Какой бы темы он ни касался, всегда говорил страстно, оживлял эпоху, в которой творил тот или иной поэт, освещал тончайшие грани творчества, он продумывал направление беседы, определял стихи, которые нужно прочесть. И редактор и режиссёр, и операторы, да и все участники действия заслушивались монологами Геннадия Михайловича, который блистал искусством «прямой разумной речи».

Запись каждый раз длилась три-четыре часа, а передача вмещала лишь двадцать минут. Когда возникла мысль перевести слово звучащее на бумагу и издать книгу, полные записи исчезли из компьютера, остались только диски передач и, конечно же, они не передают во всём великолепии и широте того, что было сказано, что импровизировалось и рождалось на ходу. Но и в урезанном виде беседы будут интересны читателю и ценителю поэзии и сегодня.

Около двадцати передач прошло по иркутскому телевидению, некоторые из них повторялись на московских каналах, в частности на канале «Культура». Были беседы, посвящённые творчеству Николая Рубцова, Михаила Лермонтова, Юрия Кузнецова, Александра Вертинского, Анатолия Передреева, Фёдора Тютчева, Николая Заболоцкого, были тематические: «Великая война», «Великий тыл», «Зимние этюды», «Пасхальные стихи», «Рождество Христово» и др.

В журнале «Сибирь» № 4 за 2012 год были опубликованы статьи о творчестве русских поэтов Ф. Тютчева, М. Лермонтова, Н. Заболоцкого. Сегодня мы предлагаем нашему читателю размышления Г.М. Гайдy о поэте Анатолии Передрееве. Заметим, что название «Классическая лира» для литературной программы было взято из стихотворения Анатолия Передреева «Поэту».

Геннадий Гайда

ПОЭТ ВЫСОКОГО ДУХА

О ТВОРЧЕСТВЕ АНАТОЛИЯ ПЕРЕДРЕЕВА

В жизни такого большого поэта, как Анатолий Константинович Передреев, было всего четыре города: был Грозный, где прошла добрая половина его жизни и где он сформировался как поэт; был Саратов – это родина его предков; дальше была Москва, где он нашёл ненадёжный приют; и наконец, четвёртый город – Братск, где он около двух лет работал на строительстве.



Анатолий Передреев

* * *

Когда с плотины падает река,
Когда река свергается с плотины,
И снова обретает берега,
И обнажает медленно глубины, –

Она стремится каждою волной
Туда, где синь господствует неслышно,
Где ивы наклонились над водой
И облака застыли неподвижно...

Она прошла чистилище труда,
И – вся ещё дрожа от напряжения –
Готовится пустынная вода
К таинственному акту отраженья.

Вот удивительная вещь: с одной стороны, в основе стихотворения лежит биографический факт, ведь он работал на строительстве ГЭС, а с другой стороны, стихотворение не фактологическое. Вот Евтушенко приехал на Братскую ГЭС, заметьте, он просто приехал как журналист и отразил то, что увидел. А Передреев не приезжал туда, он там работал. Я думаю, что не труд – смысл жизни человеческой; это неизбежное условие, но не смысл и не цель, не цивилизация и не развитие технократической цивилизации. Цивилизация – это лишь средство. Главная суть человека – прийти к акту отражения высших истин. В этом цель человечества, в этом и только в этом задача культуры и поэзии. Вот удивительная вещь! Здесь и автобиографичное описание, и колоссальное обобщение, а всего 12 строк! Здесь нужна многолетняя внутренняя работа...

Когда у Маршака спросили, какое стихотворение ему легче написать – короткое или длинное, он сказал: а какие часы сложнее сделать – большие или маленькие?

К скале прислонившись отвесной,
Я видел:
Внизу подо мной
Дышала холодная бездна,
Ходила волна за волной...

Но с детским восторгом во взоре,
Забыв обо мне и себе,
Бежала ты к морю,
И море
Бежало навстречу тебе!

Не раз звучала мысль о том, что Передреев, его творчество прочно связано с историей русской классической поэзии. Создавая стихи, он помнит образцы и сознательно совершает направленную работу по развитию этой темы. Явно, что у этого стихотворения предшественником являются пушкинские стихи.

* * *

Среди всех в чём-нибудь виноватых
Ты всегда откровенней других...
Но зрачки твоих глаз диких
Для меня непонятней чужих.
По каким они светят законам,
То слезами, то счастьем блестя?
Почему в окруженье знакомом
Ты одна среди всех, как дитя?
И зачем я сегодня всё время,
Окружённый знакомой толпой,
Объяснялся словами со всеми,
А молчанием – только с тобой?..
Но когда я тебя обнимаю,
Как тебя лишь умею обнять,
В этой жизни я всё понимаю,
Всё, чего невозможно понять!

У Передреева, поэта-философа, любовь – это высшая форма познания, высший инструмент познания, чего не может понять технократический человек, пытаясь постигнуть природу силой, и всё отдаляясь и отдаляясь...

* * *

То, о чём искусство лжёт,
Ничего не открывая,
То, что сердце бережёт –
Вечный свет, вода живая.

Дело в том, что искусство-то не объясняет, оно открывает существо истин. Это наука объясняет, а поэзия просто открывает. Он обнимает свою возлюбленную, и ему открывается нечто, что объяснить нельзя. Но открывается во всей своей полноте. Любое объяснение – это анатомирование, расчленение. А искусство открывает некие истины в их живой целостности.

* * *

Зачем шумит трава глухая,
Грустит пустынная вода.
Как будто помня и вздыхая
О вас, ушедших навсегда.

Зачем среди полей цветущих,
Где тихо облако плывёт,
О вас, на кладбищах живущих,
Далёкий колокол поёт.

Зачем я вечером беспечным
В аллее ваши захожу
И, окружён покоем вечным,
На солнце красное гляжу...

Не случайно вслед за любовными стихами у нас зазвучали стихи о смерти. Потому что, как сказано в Писании, любовь сильна, как смерть. Это две, наверное, равновеликие категории и, не помня о смерти, не ощущая её натушности, наверное, и любить нельзя. В принципе, что здесь нового? Это знаменитое «memento mori» – помни о смерти. Пока ты помнишь о смерти, ты сохраняешь в себе духовное существо. И последняя строчка: «На солнце красное гляжу...» Что банальнее красного солнца? Это самое очевидное – «красное солнце», но таким глубочайшим философским чувством наполнено это стихотворение, что этот эпитет приобретает неожиданный, удивительный и поражающий смысл. Словно в самом солнце заключён смысл человеческого бытия, но это так и есть! Ведь мы – дети солнца. Мы живём в его короне. В этом глубочайшие корни, сохранённые русской авторской поэзией. И эта тема разрабатывается и продолжается тружеником, подвижником русской поэзии Анатолием Передреевым – поэтом высокого духа, и это не случайно, потому что корнями его род уходит в дворянский.

Фамилия Передреев происходит от древнерусского слова «передерщик». Мы в школе говорим: «Я передрал у него контрольную». Передерщик – это переписчик. Потом долгое время и печатников с деревянных резных досок называли «передерщик». То есть предки его были образованными людьми, были дворянами, при Павле I его предки осиротели, и императрица, супруга Павла I создавала в Саратовской губернии приюты для осиротевших детей, а когда они выходили, им давали земельные наделы. Они получили надел, не разбогатели и потом забыли о своём дворянстве, считали себя крестьянами, но дворянская кровь в его жилах есть. Когда я общался с ним, то убеждался: в этом человеке были удивительная эlegantность и обаяние, не требующие усилий. На нём был простой московский костюм-тройка, рубашка без галстука, но он был элегантен, обаятелен и аристократичен при предельной простоте. Я думаю, его служение классической лире имеет и генетическое объяснение.

Для верующего человека всё окружающее – это не фигуранты, исполняющие законы физики, химии и математики, а знаки, исполненные смысла, посылаемые нам свыше: красота природы, красота небес. Кстати, здесь вот и кантовское известное выражение откликается. Передреев, как Кант, знал, что «Есть два чуда – это звёздное небо надо мной и нравственный закон во мне». Кант соединил красоту внешнюю, природную с нравственным законом. А совесть имеет происхождение, я думаю, божественное. И вот эта непостижимая красота неба – это ведь некий свиток, некое послание Творца нам. Ведь неслучайно, каких бы мы ни были взглядов, пусть мы рационалисты, циники, а ведь, увидев звёздное небо, остановишься, задумаешься, поражённый и ошарашенный, озадаченный и восхищённый. Это как некое верховное послание нам. Красота земного мира – это красота божественного замысла о нас.

Между современным человеком и мирозданием стоит цивилизация. Это сложный техногенный мир машин, компьютеров, интернета, комфорта. А поэт – это человек, который может выйти к некой ограде, которая не мешает ему протянуть руку и коснуться зари. А заря – это мироздание!

Ничто не застит его. Он совершил огромный трудовой, творческий подвиг, он переводил поэтов, не стоит называть их имена, сегодня они уже ничего не скажут: поэтов Кавказа и поэтов отделившихся от нас республик, и таджикских, и азербайджанских, и узбекских поэтов. Около двух десятков поэтов он перевёл на русский язык, и некоторым по две-три книги! То есть более полусотни книг поэтов Востока он перевёл, тем самым отдав трудовую, мучительную дань (потому что переводить – это нелёгкий, каторжный труд) своей малой родине, Востоку:

Я сразу понял, я ей не чужой
Хоть был, как говорится, иноверцем...

Есть отвратительное слово «интернационализм», в который нас палками загоняли и благодаря этому интернационализму создали такие страшные очаги, как Чечня. Сегодня это стихотворение звучит очень важно.

Интернационализм – это теория, предполагающая уничтожение нации. Это стихотворение не интернационалистическое. В этом стихотворении, по сути, христианское ощущение братства и преклонение перед женщиной, которая вобрала опыт веков, опыт своей культуры и опыт страшного XX века, стихотворение о мусульманской женщине, но, по сути, оно христианское, потому что великие религии вершинами своими смыкаются.



На могиле поэта

Полное представление о жизни такого большого поэта, как Анатолий Передреев, я думаю, мы не составили. Просто это и невозможно за такое короткое время. В его жизни было всего четыре города: был Грозный, где прошла добрая половина его жизни, где он сформировался как поэт. Был Саратов – это родина его предков, где он учился в университете и какое-то время работал на заводе. Так он там и не приютился. Дальше была Москва, где он нашёл ненадёжный, неустойчивый приют и свою раннюю смерть и, наконец, четвёртый город – Братск, где он около двух лет работал на строительстве, город, который немало дал ему жизненного и поэтического опыта. Но, к сожалению, Братск этого не помнит!

Сегодняшнюю передачу мы организовывали и с тем, кроме всего прочего, чтобы напомнить Братску, что в строительстве ГЭС и формировании города принимал участие один из величайших поэтов XX века Анатолий Константинович Передреев. Братск должен эту память вернуть, Братск должен гордиться этим, и, я думаю, должен эту память увековечить.

ОТЧИЙ ДОМ

В этом доме
Думают,
Гадают
Обо мне
Мои отец и мать...
В этом доме
Ждёт меня годами
Прибранная, чистая
Кровать.
В чёрных рамках –
Братьев старших лица
На белёных
Глиняных стенах...
Не скрипят,
Не гнутся половицы,
Навсегда
Забыв об их шагах...
Стар отец,
И мать совсем седая...
Глохнут дни
Под низким потолком...
Год за годом
Тихо оседает
Под дождями
Мой саманный дом.
Под весенним –
Проливным и частым,
Под осенним –
Медленным дождём...
Почему же
Всё-таки я счастлив
Всякий раз,
Как думаю о нём?!
Что ещё
Не все иссякли силы,
Не погасли
Два его окна,
И встаёт
Дымок над крышей
Синий,
И живёт над крышею
Луна!

1960

ИЗ ЮНОСТИ

Не догорев, заря зарёй сменялась,
Плыла большая круглая луна,
И, запрокинув голову, смеялась,
До слёз смеялась девушка одна.
Она была весёлой и беспечной,
И каждый вечер верила со мной
Она любви единственной и вечной,
В которой мы признались под луной.
...Давным-давно мы навсегда расстались,
О том, что было, не узнал никто...
И годы шли,
И женщины смеялись,
Но так смеяться не умел никто...
Мне кажется, что посреди веселий,
В любых организованных огнях,
Я, как дурак, кружусь на карусели,
Кружусь, кружусь на неживых конях!
А где-то ночь всё догорать не хочет,
Плывёт большая круглая луна,
И, запрокинув голову,
Хохочет,
До слёз хохочет девушка одна...

1961

В ПЕРЕУЛКЕ

Что ты шаг ускоряешь, прохожий,
В переулке полночном глухом,
И спешишь по шуршащей пороше,
И стучишь, и стучишь каблуком?!
Что ты ближе стараешься к свету,
Всей спиною меня сторожа?
Я не прячу в кармане кастета,
Не держу воровского ножа.
Я не прячусь за тёмные стены,
Я не жду в переулках кривых
Ни наручных твоих, драгоценных,
Ни карманных твоих, трудовых.
Просто дело моё молодое,
Просто кружится, падает снег...
Протяни огонёк мне в ладонях,
Разреши прикурить, человек!

1961

* * *

И вот стою
И погибаю
Среди райцентровской грязи...
Вот снова руку поднимаю,
Вот подбегаю:
– Подвези! –
Шофёр берёт меня,
Сажает,
А я ему ни сват, ни зять,
Шофёр глаза свои сужает,
Соображает – сколько взять.
А я закуриваю веско.
Я – будь спокоен – заплачу!
А он даёт на всю железку,
А я, откинувшись, молчу.
А он поглядывает косо,
А я поглядываю вдаль,
А я кусаю папиросу,
Соображая – что же дать.
Ведь ни аванса, ни получки –
В кармане нет ни пятака.
Вот разве только авторучка
Одна торчит из пиджака.
А если скажет – зря возился?
А если ручку не возьмёт?..
А он один остановился,
А он один меня везёт...
А на щеке его морщина,
А он задумчиво глядит
И, тормозя свою машину,
Мне так,
Не глядя,
Говорит:
– Вылазь, вылазь, не суетись,
Иди, иди, студент, учись!

1961

* * *

Наедине с печальной елью
Я наблюдал в вечерний час
За бесконечной каруселью
Созвездий, окружавших нас.

Но чем торжественней и строже
Вставало небо надо мной,
Тем беззащитней и дороже
Казался мир земли ночной,
Где ель в беспомощном величье
Одна под звёздами стоит,
Где царство трав и царство птичье,
К себе прислушиваясь, спит.
Где все по балкам и полянам
И над мерцающим селом
Курится медленным туманом,
Дымится трепетным теплом...

1965

ДНИ ПУШКИНА

Духовной жаждою томим...

А.С. Пушкин

Всё беззащитнее душа
В тисках расчётливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из тёмной власти барыша.

Всё обнажённой его суть,
Его продажная основа,
Где стоит всё чего-нибудь,
Где ничего не стоит слово.

И всё дороже, всё слышней
В его бездушности преступной
Огромный мир души твоей,
Твой гордый голос неподкупный.

Звучи, божественный глагол,
В своём величье непреложный,
Сквозь океан ревущих волн
Всемирной пошлости безбожной...

Ты светлым гением своим
Возвысил душу человечью,
И мир идёт к тебе навстречу,
Духовной жаждою томим.

ОКРАИНА

Околица родная, что случилось?
Окраина, куда нас занесло?
И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.
Взрастив свои акации и вишни,
Ушла в себя и думаешь сама,
Зачем ты понастроила жилища,
Которые ни избы, ни дома?!
Как будто бы под сенью этих вишен,
Под каждым этим низким потолком
Ты собиралась только выжить, выжить,
А жить потом ты думала, потом.
Окраина, ты вечером темнеешь,
Томясь большим сиянием огней,
А на рассвете так росисто веешь
Воспоминаньем свежести полей.
И тишиной, и речкой, и лесами,
И всем, что было отчею судьбой...
Разбуженная ранними гудками,
Окутанная дымкой голубой!

1964

* * *

Беспощадна суть познания,
Страшно логика ясна...
Нету Бога в мирозданье,
Есть Пространства кривизна.
В бездне канула астральной
Голубой Вселенной даль,
В этой пропасти спиральной
И себя, и землю жаль.
Что там жизни моей фактик,
Что земли юдольный мир?! –
Разбегание галактик...
Тяжкий холод чёрных дыр...
Ни душой, ни мыслью пленной
Не объять мне этих сил.
Где вы, где вы во Вселенной,
Хоры стройные светил?
Никакого нету дела
До земного существа

Вспышкам огненного тела,
Возмущеньям вещества.
Бесконечностью пустою
Мчат миры, себя круша.
Нету неба над тобою,
Беззащитная душа.
Так зачем порой ночью
Ты глядишь в него, глядишь
И не с чёрною дырою,
Со звездою говоришь.

* * *

Не помню ни счастья, ни горя,
Всю жизнь забываю свою,
У края бескрайнего моря,
Как маленький мальчик, стою.
Как маленький мальчик, на свете,
Где снова поверить легко,
Что вечности медленный ветер
Моё овекает лицо.
Что волны безбрежные смыли
И скрыли в своей глубине
Те годы, которые были
И снились которые мне.
Те годы, в которые вышел
Я с опытом собственных сил,
И всё-таки, кажется, выжил,
И, кажется, всё же не жил.
Не помню ни счастья, ни горя...
Простор овекает чело.
И, кроме бескрайнего моря,
В душе моей нет ничего.

1968

РАВНИНА

Ещё во власти дня и шума,
Ещё в усталости дневной,
Я шёл за городом угрюмо,
Оставив город за спиной.
Я шёл с самим собой сначала...
Но смутно слышал, как сквозь сон,

Что где-то музыка звучала,
Звала меня со всех сторон.
Всё необъятнее, всё шире
Росла звенящая волна,
Пока не понял я, что в мире –
Луна.
Равнина.
Тишина.
Что ночь блистает, серебрится,
Кусты и травы ослепя,
Что под луной ночная птица
Поёт и слушает себя.
И, на равнину тихо выйдя,
В сиянье лунного огня
Со всех сторон, меня не видя,
Деревья смотрят на меня.
И всё живёт вокруг, толпится,
И по мерцающей земле
Идёт ко мне, и прячет лица,
И вновь скрывается во мгле...

ПОЭТУ

Мы все, как можем, на земле поём,
Но среди всех – великих было мало...
Твоей душе, тяжёлой на подъём,
Их высоты прозрачной не хватало.

Ты заплатил в своём начале дань
Набегу разрушительных глаголов,
И лишь полей нетронутая даль
Тебя спасла от них, как от монголов.

Тебе твой дар простором этим дан,
И ты служил земле его и небу
И никому в угоду иль потребу
Не бил в пустой и бедный барабан.

Ты помнил тех далёких, но живых,
Ты победил косноязычье мира,
И в наши дни ты поднял лиру их,
Хоть тяжела классическая лира!

1968

КЛАДБИЩЕ ПОД ВОЛОГДОЙ

Памяти Рубцова

Края лесов полны осенним светом,
И нету им ни края, ни конца –
Леса... Леса...
Но на кладбище этом
Ни одного не видно деревца!
Простора первозданного избыток,
Куда ни глянь...
Раздольные места...
Но не шагнуть меж этих пирамидок,
Такая здесь – до боли! – теснота.
Тяжёлыми венками из железа
Увенчаны могилки навсегда,
Чтоб не носить сюда
Цветов из леса
И, может, вовсе не ходить сюда...
И лишь надгробье с обликом поэта
И рвущейся из мрамора строкой
Ещё
Живым дыханием согрето
И бережною прибрано рукой.
Лишь здесь порой,
Как на последней тризне,
По стопке выпьют...
Выпьют по другой...
Быть может, потому,
Что он при жизни
О мёртвых помнил, как никто другой!
И разойдутся тихо,
Сожалея,
Что не пожать уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся
Мёртвые венки...
Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвению сродни...
Осенний ветер...
Опадает строчка:
«Россия, Русь, храни себя, храни...»

1978

* * *

В. Кожинovu

Как эта ночь пуста, куда ни денсья,
Как город этот ночью пуст и глух...
Нам остаётся, друг мой, только песня –
Ещё не всё потеряно, мой друг!

Настрой же струны на своей гитаре,
Настрой же струны на старинный лад,
В котором всё в цветенье и разгаре –
«Сияла ночь, луной был полон сад».

И не смотри, что я не подпеваю,
Что я лицо ладонями закрыл,
Я ничего, мой друг, не забываю,
Я помню всё, что ты не позабыл.

Всё, что такой отмечено судьбою
И так звучит – на сердце и на слух, –
Что нам всего не перепеть с тобою,
Ещё не всё потеряно, мой друг!

Ещё струна натянута до боли,
Ещё душе так непомерно жаль
Той красоты, рождённой в чистом поле,
Печали той, которой дышит даль...

И дорогая русская дорога
Ещё слышна – не надо даже слов,
Чтоб разобрать издалека-далёка
Знакомый звон забытых бубенцов.

1965

ПОЭТ И ХУДОЖНИК БОРИС АРХИПКИН

Две выставки «Изображение и слово» прошли в ИОХМ после 2000 г. Их инициатором была искусствовед Т.Г. Драница, собравшая около двадцати художников и поэтов. Художников, пишущих стихи, и поэтов, пишущих картины. Валерий Чевелёв, Владимир Кузьмин, Александр Суриков в числе первых, Сергей Корбут, Анатолий Кобенков – вторых. Отдельно стоят прозаик Валерий Нефедьев, окончивший в Красноярске художественно-графический факультет, Михаил Трофимов, поэт, выпускник Литературного института им. М. Горького со своей керамической архаикой.

Когда летом 2004 г. готовилось «Изображение и слово»-2, картину, посвящённую битве на Курской дуге «Прохоровское поле – третье поле России» (третье после Куликова и Бородина) предложил Владимир Лапин – автор десятка стихотворений, среди которых – одно, посвящённое этой картине. «Прохоровское поле» было не принято на выставку в связи с тем, что своей темой и размером оно стала бы слишком преобладать. Художник истолковал отказ по-своему и глубоко переживал «непонимание».

В мемориальном разделе «Изображения и слова» были представлены Евтихий Конев, Валерий Белоречев и Борис Архипкин.

Выставки «Изображение и слово» отражали общемировую тенденцию. В 2007 г. в театре «Альфа» итальянского города Турин заявило о себе новое авангардное течение «Immagine&poesia». Его координатором стала Эронам Томас – переводчица поэзии. Участниками течения, находящего всё новых последователей во всем мире, демонстрирующих свои картины и стихи на выставках и в сети Интернет, являются художники, пишущие к стихам, и поэты, пишущие к картинам.

Связь слова и изображения была проявлена ещё в древнем пиктографическом письме. Стихи к своим скульптурам писал Микеланджело. Графику к своим стихам создавал Гарсиа Лорка. Поэтом и художником был Максимилиан Волошин. Течение имажинизма, самым ярким представителем которого был Сергей Есенин, было связано с изобразительностью слова, с изобразительной силой слова.

В рамках «Immagine&poesia» – рассказ о творчестве поэта и художника Бориса Архипкина.

В Иркутске дружба поэтов и художников всегда была тесной. Я, автор этих строк, познакомилась с Борисом Архипкиным в 1982 году. Ему было тридцать лет. Мы пришли в его дом с Борисом Шуньковым, режиссёром и оператором кино, и художником и актёром Фёдором Ясниковым.

Сначала Архипкин показал акварель, над которой работает. Он писал долго и тщательно отделявал каждую вещь. Потом он наизусть прочитал поэму Блеза Сандрара «Транссибирский экспресс» со свойственной ему нервной экспрессией. Потом мы сидели за столиком в его осеннем саду и у нас была бутылка портвейна (в тот день в иркутских гастрономах был один портвейн, а могло не быть ничего).

Наслушавшись Архипкина, Б. Шуньков и Ф. Ясников хором прочли любимое стихотворение общих детских лет «Посмотрю я с веранды на север и юг» – Ду Фу, 8 век. Потом втроём – Иосифа Бродского:

Нынче ветрено и волны с перехлёстом,
Скоро осень, всё изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
Чем наряда перемена у подруги...

Спустя годы Борис Архипкин посвятит памяти Бориса Шунькова стихотворение:

Груз берегов,
Как воздух сух,
Волна залива.
Хоть солнце село.
Борис Шуньков –
Высокий дух –
Пора заплыва.
При чём здесь тело?

Борис Архипкин посвящал стихи художникам Борису Десяткину, Владимиру Лапину, Вячеславу Шичкову. Каталог художника Владимира Тетенькина 2008 года предваряет стихотворение, написанное на юбилейной выставке 2003 года в книгу отзывов. На портрете Фёдора Ясникова Борис Архипкин изображён в пору талонов на продукты. Он приходил в гости со своими конфетами, чтобы не пользоваться сахаром хозяев, выдававшимся по талонам.

Борис Михайлович Архипкин родился 7 февраля 1952 года в Иркутске. Старинный деревянный дом по улице А. Невского, 2, в котором он рос и жил вплоть до переезда в новую квартиру на ул. Советской в 1998 году, успел стать легендой. В нём бывали поэты и художники, писатели и режиссёры. Ему посвящены картины И.Г. Чулкина, Н. и Л. Статных «В гостях у Бориса Архипкина», А.Г. Костовского «Дом Бориса Архипкина». В памяти друзей остались эпизоды: вот на шаткой и ветхой лестнице поэт читает стихи, вот показывает свои акварели, ведёт к столику в запущенном поэтическом саду. Отец Бориса Архипкина родился в Подмосковье, был старшим в семье с девятью детьми. Мать из Красноярского края. Дом, в котором Борис Михайлович прожил 46 лет, отец перебрал по брёвнышку до войны. До войны, в 1939 году, родился старший брат поэта Валентин. Пятьдесят лет отец проработал шофёром, в войну служил на аэродроме дальней авиации, бомбившей Берлин.

Поэтическая биография Бориса Архипкина начинается со второго класса. Однажды его учительница литературы Галина Николаевна Малахова пришла в класс и сказала: «Послушайте стихотворение, которое сочинила ваша одноклассница Люда Сотникова».

«А чем я хуже?» – подумал Борис. Всю ночь он сочинял стихотворение, начинавшееся со слов «Родная Родина». Так из соперничества с девочкой родился его первый поэтический порыв. И был вскоре им забыт.

Учился Борис отлично, с пятого класса стал посещать художественную школу, находившуюся близ Коммерческого подворья. Играл в хоккей и футбол. В художественной школе по итогам года он был премирован коробочкой акварели «Ленинград». Это было в 1964 году, но краски живы до сих пор, Борис пользовался ими в особых случаях.

В результате всех напряжённых занятий юный Борис так переутомился, что заболел. Скованный болезнью, он вспомнил, как однажды написал стихотворение. Стали рождаться новые строки.

В факультетской клинике его соседом по палате оказался известный иркутский поэт Виктор Владимирович Кисилёв, к которому часто приходил Марк Давыдович Сергеев. Борис прочитал им стихотворение «Родная Родина», написанное во втором классе, и заслужил похвалу. Особенно поэтам понравилась его строка «Но если снова самолёт перелетит границу». Отметили они и умелое построение поэтической фразы.

Отстав от одноклассников на один год, Борис вернулся в школу со своими поэтическими переживаниями. До восьмого класса он учился на пятёрки, пел и мечтал стать оперным певцом.

Поэтом себя почувствовал с 8 класса – с 1968 года. Принёс стихи в редакцию «Советской молодёжи» и вскоре получил письмо, подписанное: «Литконсультант Глеб Пакулов». В этом письме шла речь о том, что говорить о публикации ещё рано, и предлагалось посещать по понедельникам Творческое объединение молодых (ТОМ). Что Борис и сделал. Примерно в это же время состоялось знакомство с художниками О. Козловым, А. Шлыковым, Г. Кузьминым, поселившимися по соседству – А. Невского, 12. Борис окунулся в стихию творчества.

Школу Борис Архипкин окончил с тремя пятёрками: по поведению, пению и рисованию. Удалось поступить в сельхозинститут на специальность учёный-агроном-экономист, но только кандидатом. После первого семестра из-за троек был отчислен. «Эх, сейчас бы жил! – восклицал повзрослевший поэт, – с экономическим-то образованием!»

Зато поэт стяжает славу. В 1970 г. Архипкин обсуждался на конференции «Молодость. Творчество. Современность». Конференция была впечатляющая. Приезжал Марк Соболев. Из Красноярска – Роман Солнцев. Запомнилось Борису стихотворение Александра Плитченко: «Я Пикассо районного масштаба». Состоялась первая для него публикация в «Советской молодёжи» – два стиха.

В 1973 году Борис стал работать с художником Вячеславом Шичковым, участвовал в монтаже подглазурной росписи Дома пионеров в Иркутске-2, в оформлении кафе в Лисихе. Там познакомился с Сергеем Корневым, Александром Москвитиным. Мир изобразительного искусства участвовал в формировании его поэтики.

С 1974 года и по дату кончины в 2003 году Борис Михайлович трудился рабочим на телевидении. Пришёл он туда по объявлению, которое по радио услышала его мама. «В первый раз я тогда послушал маму, – восклицал он, – и двадцать девять лет на одном месте!»

Его юношеские стихи, по его же словам, представляли бредь, фатализм. Он не успевал их записывать. Пригодных для печати среди них нет.

Кардинальное событие в жизни поэта – знакомство с семьёй Чернышовых, глава которой был кинорежиссёр, собкор газеты «Советская культура». Из этого знакомства выросло целое направление творчества. Цикл «Девочка на льду», тема неразделённой любви к дочери Чернышовых Галине.

Дорогая моя, мы с тобой не родня,
Ты моею, конечно, не будешь.
В этом городе ты разлюбила меня.
Ты кого в этом городе любишь?



Борис Архипкин. Квартира №14

Галина Чернышова уехала из Иркутска, окончила Саратовское театральное училище, живёт в Саранске. Этой семье Борис Михайлович посвятил не только стихи, но и акварель «Квартира № 14». «Там столик, бутылочка, ложечка, дедушка Чернышов, Евгения Михайловна, сын Миша, Галя, внизу с папироской – Борис». Стилистика живописных работ Б. Архипкина особая (он работает с акварелью, гуашью, но это скорее живопись, чем графика). Он многое взял у Алексея Жибинова, Павла Филонова 1920-30 годов искусства. Напрямую развил направление Жибинова этого периода. Люди, предметы, сцены теснятся на поверхности плотно, наплывают друг на друга – много голов, глаз, напряжение цвета и линии. Несколько лет Борис Михайлович

писал поэму, посвящённую Г. Чернышовой «Деревья в городе». Поэма ждала своей публикации. Поэт носил её в рабочей сумке, и вот – была сумка украдена бомжами, и от рукописи не осталось и следа.

В ТОМе Б. Архипкин подружился на долгие годы с Василием Козловым. Он вспоминал из тех лет шуточное стихотворение последнего:

Я предлагаю Пушкина расплавить,
Он без того известен всей стране,
И коллективный памятник поставить
На месте том Архипкину и мне.

В то же самое время познакомился он с Евгением Варламовым, Александром Сокольниковым, Лией Болдырёвой. Их коллективный сборник «Бригада» Б. Архипкин помнил наизусть. Память у него колоссальная. Вряд ли есть другой поэт в Иркутске, который знал наизусть столько стихотворений, сколько Борис Михайлович. В «Бригаде» 1984 года он впервые участвовал сам со сборником «Стихотворения на льду».

Работая на ТВ, он мечтал получить художественное образование и несколько раз во время отпусков ездил в Палех. Надо сказать, палехская утончённость стиля с мельчайшей детальной обработкой поверхности изображения близка манере Архипкина: «Кисточки у них толщиной с иголку!» Село Палех поразило необыкновенной чистотой и ухоженностью – и фабрикой за колючей проволокой, где работали с расплавленным золотом «двести мастеров». Борис Михайлович устроился в гостиницу, и консьержка принесла ему брошь с пастушкой (в то время Палеха в свободной продаже не было). Борис купил её в подарок Г. Чернышовой. Поступить ему не удалось – в училище брали только местных, детей художников, чтобы сохранялась, не искажалась традиция.

До перестройки Борис Михайлович каждый отпуск путешествовал. Навещал Шичковых в Ленинграде. Эти поездки многое давали его творчеству.

Я стихотворение привёз из Иркутска –
В стихах отражается Старый Оскол.

В 1998 году Бориса Архипкина приняли в Союз писателей России. В 2001 году в издательстве «Иркутский писатель» вышла в свет его последняя книга стихотворений «Яблоко из двух» («Тон» – в 1993 г., издание журнала «Сибирь»).

Б. Архипкина-поэта не спутаешь ни с кем и узнаешь тотчас. Он пользуется всей современной словесной «конкретикой», ему свойственна определённая доза декларативности (узнаются 1920-30 гг.) и вписанный в ореол православия мыслительный ряд. Каждое слово проверено им на звучание, на созвучие. Житель города, Б. Архипкин неомодернист по натуре. Если классицизм был явлен прежде всего в архитектуре и проявился в современной ему поэзии поэтов пушкинского круга, то по этой аналогии с архитектурным стилем поэзия Архипкина близка зародившемуся в 1960-е годы необрутализму (сочетание стекла-бетона с природными материалами – деревом и камнем и современной динамичностью). Непроявленность темы, уход от предметности и возвращение к ней обусловлены в поэзии Архипкина тем, что она представляет сложный сплав архисовременного и старого, лиричного и остросоциального.

Произнеси моё имя,
Почётное имя,
Высокое имя,
Бессменное имя,
Бессмертное имя,
Жёсткое имя – Поэт!

«Самую печальную радость – быть поэтом» (Ф.Г. Лорка) Б.М. Архипкин испытывал «на все сто». Когда он умер, брат Валентин привёз большую часть его библиотеки в Дом литераторов. Друзья Бориса – режиссёры, артисты, художники, журналисты, писатели стали уносить книги на память. В некоторых встречались автографы. Например, в небольшой книжечке стихотворений «Песни Хиросимы» на форзаце его рукой восемнадцатилетнего было написано: «Не тот, кто родился – кто умер поэтом поэт. 23.2.70». Личность Бориса Архипкина была сплавом художника и поэта, вписывающегося творчеством в рамки современного течения «Imagine&poesia».

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ БОРИСА АРХИПКИНА

1.

Наполненный воздухом парус – ты весь
Движение к цели, ты виден повсюду.
Течение есть, и энергия есть,
А стало быть, и энергетики будут.

Что нас ожидает ещё впереди?
Попробуй представить, ответить попробуй!
О, век наступающий, не повреди
Похожий на ниточку электропровод!

Всемирно известный ангарский каскад,
Рождённый высокой водою Байкала,
Затраты свои возместил во сто крат,
И это не много, и это не мало.

2.

Что происходит сегодня на свете?
Лодка на дне, самолёт возле скал.
Рвутся сверхпрочные электросети,
Разъединён с Ангарою Байкал.

Хочется хапнуть кусочек поярче,
Многих на яркое тянет теперь.
Много ли слышащих, много ли зрячих,
С детства приученных ждать и терпеть?

План обязательно выполнен будет
И безусловно, и без дураков.
Праздников бунт, распорядочность буден.
Ныне и присно, во веки веков.

В силу Сибири уверуй, начальство,
Житель Москвы, Петербурга и проч.
Ты, новый день, соизволишь начаться
В тёмное утро иль в светлую ночь?

* * *

Себя исследуй изнутри,
Как постороннего.
Не выпивай и не кури,
Не ешь скоромного.

Великий пост на всех один,
Для злого, скромного.
Товарищ, брат, мой господин,
Не ешь скоромного.

В руке возжжённая свеча,
Молись за грешного.
И, целомудренным, встречай
Христа воскресшего.

Андрей Владимирович Фёдоров – поэт из круга самородков, одарённых от природы творцов. Читая его стихи, наполненные светом добра и любви к окружающему миру, представляешь человека молодого, чистого сердцем, открытого всем радостям счастливой жизни. Но когда открывается его реальная участь и судьба, то всякий человек испытывает потрясение, сострадание и целую гамму чувств. И хочется преклонить перед Андреем колени, склонить голову в знак признания подвига его жизни-борьбы, его преодоления порой непреодолимых трудностей, его высшей духовной и творческой силы.

Свою жизнь от рождения до определения в областной интернат Андрей описал в прозе, получилась маленькая повесть, над которой у женщин слёзы из глаз капают. Столько выпало на одного человека невзгод и напастей. Из этой печальной повести приведу выдержки и пересказ эпизодов.

«Так сложились обстоятельства, что я родился недоношенным. Во второй половине беременности моя мама, случайно простудившись, заболела гриппом, перешедшим затем в тяжёлую форму пневмонии... Вкалывали маме пенициллин. Спровоцировали преждевременные роды. Вытягивали меня небрежно щипцами из чрева матери и, видимо, во мне что-то повредили. Но мы с мамой остались живы. Мы переехали из Нижнеудинска в Слюдянку, куда маму направили на слюдяную фабрику. Там она проработала 41 год, прошла путь от щипальщицы слюда до директора предприятия. Отец ушёл от нас, когда мне было два года, а брату лишь две недели. Мама выставила его за дверь как спившегося, потерявшего себя в жизни человека...

Сколько себя помню, сидел на большом диване, обложенный подушками и игрушками, которые меня мало интересовали. Больше всего увлекали меня книги с картинками. Мог часами разглядывать каждую картинку, букву, цифру, запоминая их форму. Недуг никак не повлиял на мой мозг. Научившись читать, я читал все газеты, журналы, книги, мало что в них понимая. Задавал маме вопросы. С тех пор книги стали мне лучшими друзьями.

Познание улицы произвело на меня жестокое впечатление. Стоило мне впервые появиться во дворе без присмотра и сесть на скамейку с книгой в руках, как тут же я был окружён толпой дворовой детворы. Они смотрели на меня как на гиббона, крутя пальцами у висков и корча гримасы. Потом стали бросать в меня камни, выкрикивать оскорбления. Мне было больно и обидно, я не мог понять, почему они так поступают. Тут из подъезда выбежала хрупкая девочка и прикрыла меня своим телом. Камни всё ещё летели, когда кто-то из взрослых, услышав крик, вышел и разогнал толпу...

Так Андрей познакомился с нравами здоровых детей и с Ларисой, бойкой девочкой-соседкой по подъезду. Они подружились, вместе делали уроки, читали и обсуждали книги. «С Ларисой я не чувствовал себя больным! С нею рядом я ощущал себя здоровым! Она давала тот стимул, коего мне сейчас так не хватает...» Через несколько лет Лариса стала женой Андрея, и они жили дружной семьёй, с мамой Тамарой Дмитриевной и сыном Ларисы Никитой.

Андрей занимался укреплением мышц, вставал на ноги, поднимал как гирию чугунный утюг, рюкзак с книгами, учился ходить. Чтобы заработать, занимался всем, по возможности: щипал слюду – подрабатывал на фабрике, вязал на продажу носки и перчатки, авоськи и сумки, рыбацкие сети, шил на швейной машинке. Шесть лет счастья! Лариса устроилась помощником адвоката, мама работала начальником цеха. Когда купили автомобиль, Лариса научилась водить, стали выезжать всей семьёй на Байкал, в самые живописные уголки. Но судьба готовила удары самые страшные.

Лариса с Никитой возвращались в Слюдянку из Белореченска от родственников в конце августа, шли дожди. Ехала осторожно по мокрой дороге. Вдруг её начал обгонять гружёный самосвал. Произошло столкновение, легковой автомобиль превратился в груды искорёженного металла, Лариса и мальчик погибли. Их так и похоронили в одном гробу в пади Талая. От такого шока судьбы Андрей долго не мог прийти в себя. Ничего не делал, не притрагивался к еде, не обращал внимания на окружающих. «Через месяц я был уже на грани жизни и смерти», – пишет он. И далее: «В одну из ночей ко мне явилась Лариса. Я не видел её лица, но ощущал присутствие. Она подошла сзади, нежно обняв за плечи, проговорила: «Андрюшик, милый! Встань, мой родной, поднимись! Не переживай, нам хорошо вдвоём. Ты должен жить за нас!» – Ко мне вдруг вернулась надежда».

Мама повезла Андрея в Москву, там он прошёл полное обследование в институте Сербского. Погостили у тётки, побывали во всех достойных внимания местах столицы. Потом – поездка в «Жемчуг» в Тункинской долине. Но тут заболела мама. Крёстная забрала Тамару Дмитриевну в Москву, ей сделали операцию, но было уже поздно. В октябре 1990 года её не стало.

Жил Андрей с братом и его семьёй – не ужились с невесткой. Ездил к отцу в деревню – но отец остался тем же конченным человеком, бросил сына инвалида, взял его документы и деньги и исчез. Благо, пришёл его знакомый, бывалый человек Николай, бывший зек. Спас Андрея, натопил печь, наварил гречневой каши, передал документы – отец просил. И отправил телеграмму, чтобы брат забрал из деревни Андрея. И вот Андрей попросил друзей покойной Ларисы, чтобы его устроили в дом-интернат. Так и живёт он в Комплексном центре в селе Марково под Иркутском уже более двадцати лет. На часть пенсии, за вычетом расходов интерната (70 с лишним процентов), Андрей приобретает книги, диски, слушает классическую музыку, общается по сотовому телефону и сочиняет стихи. Говорит, что стал заложником собственной памяти, ничего не забыл...

В последние два года Андрей вновь занялся физической тренировкой, встаёт на ноги, выпрямляет спину, надеется на медицинскую помощь и верит, что его стихи дойдут до широкого читателя, в газетах, журналах, и – это его мечта! – в авторской книжечке.

ПОСВЯЩЕНИЕ МАМЕ

Ничего нет на свете милее,
Кроме мамы, бесценно родной!
На душе становилось теплее,
Когда ты была рядом со мной.
Очень часто тебя вспоминаю.
До конца твоих прожитых дней...
Свою голову низко склоняю
Перед памятью светлой твоей.

Сколько трудностей ты испытала,
Через столько преград ты прошла.
Но на жизнь никогда не роптала,
Потому что ты просто жила.
И откуда брались эти силы,
Что другой бы и выжить не смог.
Помню я, как ты мне говорила:
«Наберёмся терпенья, сынок!»

Надо жить, жизнь однажды даётся,
То, что было вчера – пусть уйдёт!
Что сегодня – пускай остаётся,
То, что будет – пусть просто прейдёт!
Как бы ни было горько и грустно,
Как бы ни повернулась судьба,
Пусть порою и тяжело, и трудно, –
Надо жить. Жизнь – ведь это борьба!

Как бы ни было больно и сложно,
Надо верить, мечтать и любить.
Даже если порой невозможно –
Надо жизнью своей дорожить.
Не хочу предаваться сомненьям,
Силу воли на помощь зову.
У тебя научился терпению
И теперь только этим живу.

ВЕСНА

Благословенная погода!
Пора цветения. Весна!
Проснулась матушка-природа
От летаргического сна.
Такая сладостная нега
Под тёплым солнечным лучом!
И надоевший саван снега
Земля откинула плечом!
Капли стук хрустально звонок,
Подобно битому стеклу.
Деревья тянутся спросонок,
Блаженно радуясь теплу.
Ручьёв бурливое течение,
Небесных чар голубизна
И птиц ликующее пенье
Тебя приветствуют, Весна!

ЗРЕЛОСТЬ

Со временем я стану стариком.
Согнут меня преклонные года.
Останется лишь сожалеть о том,
Что юность пролетела навсегда.
Я помню, в раннем детстве так мечтал
Скорее подрасти и повзрослеть.
Немало горя в жизни испытал,
И трудности пришлось преодолеть.
Мне мама говорила: «Потерпи!
Успеешь взрослым стать и подрасти!
Ты только время зря не торопи.
Ведь жизнь прожить – не поле перейти!»
А время шло. Я жил, страдал, терпел,
Судьба уроки мне преподавала.
Едва я «поле перейти» успел,
А жизнь уж зрелость мне преподнесла.
Я словно по течению лет плыву
И жизнь свою теперь не тороплю.
Спокойно и размеренно живу.
Надеюсь, верю, искренне люблю.
Со временем я стану стариком.
Накинутся года исподтишка.
Останется лишь сожалеть о том,
Что жизнь так быстротечно коротка.

САМОРОДОК

Лето – истинный художник:
Натюрморт, панно, пейзаж!
Как природы самородок,
Открывает вернисаж.
Вот черёмуха в объятьях
Молодого ветерка,
Как невеста в белом платье,
Так красива и кротка.
Ветерок её ласкает,
Что-то шепчет невпопад.
А она, от ласки тая,
Источает аромат.
Вот сирени цвет дурманом
Мою голову пьянит,
Словно в розовом тумане,
О любви мне говорит.
В разноцветных ярких красках
Пишет лето на бегу.
Вижу поле всё в ромашках,
Оторваться не могу.
Самородок продолжает
Всеми красками писать,
В главной мысли убеждает:
Красотою восхищать!
Я с восторгом наблюдаю,
Как работы хороши!
Красоту воспринимаю
Всеми фибрами души.

ЛЕТНИЙ ВЕЧЕР

Алеет закат над рекою.
И кажется, будто вдали
Целуются небо с землёю,
Давно уж признавшись в любви.
Диск солнца, смущаясь украдкой,
Приветствуя эту любовь,
Садится с улыбкою мягкой
За гладью речных берегов.
Река, повинуюсь течению,
Свой бег продолжает легко,
Вся в розовом отражении,
Куда-то спешит далеко...

С восторгом закат наблюдая,
Стою на крутом берегу.
Любимую я ожидаю,
Набрав ей цветов на лугу.

ЖЕНЩИНА-ОСЕНЬ

Прелестная женщина-осень
Мне свой посылает привет.
Глаза – как небесная просинь,
Улыбка – как солнечный свет.
Смущая божественным станом
И поступаю мягких шагов,
Идёт она в платье нарядном
С огромным букетом цветов.
А я, словно раб бессловесный,
За ней с восхищеньем слежу.
Желания все её честно
С восторгом исполнить спешу.
Капризам её повинуюсь,
Решаюсь на самообман.
И мысленно преобразуюсь
То в ветер, то в дождь, то в туман.

Вот ветром холодным я дую,
Срывая с деревьев листву.
В естественный сон заколдую
Полёгшую наземь траву.
Из туч навесных выбегая,
Прольюсь я дождём затяжным.
Туманом ночным облекая,
Рассеюсь я утром, как дым.
Хочу я быть утренним солнцем
И ясным восходом вставать,
Хочу быть сиянием тёплым,
Чтоб женщину-осень ласкать.

Не буду вдаваться в причины
И выражу мысли свои:
Я, как настоящий мужчина,
Хочу ей признаться в любви.
Прелестная женщина-осень
Меня в одиночестве ждёт.
Я нежно люблю её, очень!
И эта любовь не пройдёт.

Алексей Ершов

ДВА ВЕЛИКИХ «СТАРАТЕЛЯ»

ВАДИМ ТУМАНОВ И ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Старательские артели нынешнего типа возникли на стыке двух социально-экономических причин. С одной стороны, массовый роспуск колымских лагерей повлёк за собой падение золотодобычи в стране. С другой — предстояло трудоустроить освобождённых заключённых, многие из которых не имели уже ни дома, ни родных, ни хотя бы чемодана. На смену одиночкам, сдающим золото в контору, пришли артели, заключающие договоры с приисками, а потом — настоящие предприятия с техникой, уставом, банковским счётом. Первым председателем первой старательской артели стал амнистированный колымский заключённый Вадим Туманов. Он был арестован по печально знаменитой 58-й статье в 1948 году, а через восемь лет, в 1956-м, освобождён со снятием судимости.

Спрашиваю его: «А почему ты не добился полной реабилитации? Тогда же... по свежим следам?» — «Да откуда я знал? Думал: этой справки достаточно. Судимость снята... Я и так-то был на седьмом небе от счастья...»

Расконвоированный бригадир, опытный золотодобытчик предложил организовать артель, которая добывала бы золото на уже однажды отработанных полигонах. Администрация прииска, в надежде получить дешёвый сверхплановый металл, дала согласие. В первый же сезон артель сделала полтора задания. И когда старатели построили баню, хорошую столовую, им в этом не препятствовали. Первоначально старательская экономика была крайне проста. Артель договаривалась с прииском о цене, по которой будет сдавать добытое золото, за зиму перегоняла на отведённый ей ручей несколько старых бульдозеров и за лето переворачивала его вверх дном (в прямом смысле, такова технология добычи). Работали в сезон днём и ночью, спали порой в положенных набок бочках из-под горючего, всё лучше, чем в лагере. А осенью в конторе прииска стояли в очереди к щёлкающему костяшками бухгалтеру и, рассовав по карманам костюма, вынуженного по такому случаю из чемодана, пачки денег, разъезжались кто по магаданским, а кто и по сочинским ресторанам.



В. Высоцкий и В. Туманов на ст. Зима

За свою жизнь Туманов организовал множество артелей, среди них «Восток», «Алдан», «Лена» – крупнейшие в стране.

В проектах и договорах всё выглядело солидно и надёжно. Нормы выверены до минут, расстояния до сантиметров. А на самом деле перед любым председателем артели в начале года – масса неясных вопросов. Официальная точность геологоразведки месторождений, на которых ему работать – плюс-минус 50 процентов, и хорошо, если окажется плюс. А бывает, что золота в земле оказывается в пять раз меньше, чем числится в документах. Никто не знает, проходимы ли для транспорта перевалы к новому ручью, какие там болота, наледи, снежные заносы. Значит, горючего будет запланировано меньше, чем нужно, а получено ещё меньше, чем запланировано. Выделенные министерством бульдозеры придут в половинном числе и с полугодовым опозданием. На каждую машину полагается один комплект запчастей на два года, а нужно два комплекта каждый год. А до зарезу необходимого экскаватора вообще нет. Всё это – на председателе. Каждый вопрос кому-то поручен, какие-то люди что-то обещают, и надо оценить, насколько им можно верить.

А пока председатель обещает сам. Заверяет старых и новых рабочих, что всё в порядке, всё будет хорошо. И, доверяясь ему, они покидают свои семьи и везут горючее сквозь пургу, ремонтируют машины на обочинах, рвут бульдозерами мёрзлый грунт. А осенью все, пятьсот или тысяча человек, придут за своим заработком. Приближение этого момента весь год не даёт расслабиться тем, кто ощущает себя ответственным за работу артели. Председатель и во сне чувствует, как идут караваны через перевал, как витиевато петляют пути снабженцев по стране, сколько ещё метров мёрзлого ила осталось до золотиносного песка. Туманов даже в отпуске на пляже через полчаса начинал волноваться и искать междугородный телефон. Потому что все выше- и нижестоящие могут свалить ответственность на него, а ему – не на кого.

С началом добычи начинаются новые волнения. Есть ли золото? Соблюдается ли график? Прибавьте к этому возможность несчастного случая на десятках таёжных полигонов. А бесчисленные комиссии по проверке всего и вся... Понимание глубины этого стресса позволяет представить, как спадает груз с души у всех, когда дела идут нормально. И, наконец, сезон без происшествий закончен...

Имя Туманова было окружено в колымских лагерях легендой.

Сейчас тех лагерей нет: огонь и бульдозеры сделали своё дело, кое-где прошла драга... Помните, у Высоцкого: «Не раз нам кости перемыла драга, В нас, значит, было золото, братва!»? Уже почти не осталось примет этих лагерей, давно вымерли овчарки-убийцы, натасканные для охранников на человека, нет ни крестов, ни табличек на гигантских братских могилах. А имя Туманова помнят. Имя человека, олицетворяющего собой извечное стремление к свободе. Как могло случиться, чтобы десятки миллионов людей безропотно смирились со своей страшной участью? Если бы все были, как Туманов, такого бы не случилось.



В.И. Туманов. Кадр из фильма

В университетах Вадиму Ивановичу учиться не пришлось. Семнадцатилетним мальчишкой он уже служил краснофлотцем на транспорте «Ингул», совершавшем регулярные рейсы между Америкой и Советским Союзом, – возили оружие, продукты, поставляемые американцами по ленд-лизу. В океане шныряли немецкие подводные лодки, на подходах к берегам было полно мин. «Ингул» – судно типа «Либерти». Моряки, поплававшие во время войны на «Либерти», хорошо знают, как опасно было служить на этих «консервных банках» – тонули они в секунду. В августе 1945 года, когда началась война с Японией, транспорт «Ингул» был мобилизован в действующую армию.

В 1986 году вышло циркулярное письмо Министерства обороны СССР – считать участниками войны личный состав торговых судов, мобилизованных на время войны с Японией в действующую армию. Вадима Ивановича вызвали в военкомат и торжественно вручили ветеранский билет и орден Отечественной войны.

К тому времени – за три десятка лет работы в золотодобывающей промышленности – Туманов с товарищами добыли стране тридцать тонн золота. А если приплюсовать «урожай» всех дочерних артелей учеников Туманова, то и – все триста!

– Триста тонн – это и картошки много, – смеётся Вадим Иванович, – а золота...

С мыслями о том, сколько в добытых тоннах золота событий человеческой жизни, замешанных на дружбе и взаимовыручке, полных тяжёлого труда и радости открытий, я написал когда-то стихотворение «Самородок»:

Выхожу за порог утром синим,
Налегке – о тепле не грущу...
На таёжных просторах Сибири
Золотую я жилу ищу.
Может статься, за тем вон распадом,
Где ручей по камням журчит,
Заболею, как все, «лихорадкой»,
Рукава до локтей засучив.
Там я встречу людей бородатых
С молодым озареньем в глазах.
Чаевать с ними сяду – ребята,
Я без вас бы, наверно, зачах.
Будут падать осенние листья
Прямо в кружку с пахучим чайком,
Будет дым над палаткой струиться
И ложиться на стланик ничком.
В этом царстве таёжной природы,
Где деревья без ветра шумят,
Я найду золотой самородок
И обрадую фартом ребят.

Часто, когда произносят слово «старатель», в сознании возникает фигура, знакомая по книгам писателей прошлого. Вот он выходит к жилью – оборванный, заросший, искусанный кровожадным комарём. В мешочке у пояса зашиты самородки – целое состояние. И пока золото давит карман, непременно требует шёлковые портянки, бархатную дорожку к ближайшему кабаку. А потом, если останется жив, берёт старательский лоток – долблёное

корытце, удобное для промывки золотоносного песка – и снова бредёт в сопки к заветным ручьям, где прячется удача. У каждого в душе таилась надежда разбогатеть, но если кто и обогащался, то не сами добытчики, а перекупщики, грабители, которые хищными стаями кружили на выходах из тайги.

Конечно, ничего подобного уже не было, когда Туманов создавал первую в стране артель нового типа. Заклучая договор на сдачу золота в казну, старатели работают как малая составляющая какого-либо промышленного объединения, пользуясь такими же правами, как и их коллеги с государственных приисков. Объединение в силу своих возможностей заботится о снабжении артелей материалами. Современная старательская добыча золота строится на использовании механизмов: при нынешних россыпях древним лотком не заработаешь на хлеб, не говоря уже о легковой машине.

Да и в артелях у Туманова всё выглядело весьма обыденно. На берегу стояли бревенчатые домики, тарахтел дизель электростанции, около кухонь слонялись коровы, в загончике хрюкали свиньи, а столовку наполнял аромат свежих пирогов. Думалось, ладно, это снова посёлок, здесь живут, устраиваются поудобнее. А вот уж там, где моют золото, наверняка будет экзотика. Но и здесь ничего особенного. Железная конструкция с дырчатым полом; с разных сторон бульдозеры толкают сюда речной песок, перемешанный с валунами; сильная струя монитора смывает пустую породу и камни, а золото оседает где-то там, в длинном теле гидроэлеватора, невидимое постороннему глазу. Единственное, что по-настоящему заслуживает внимания: на промывке, заметил, налажено обратное водоснабжение, мутные потоки не попадают в чистую речку.



В. Туманов и В. Высокий в артели старателей

В то время с Тумановым происходила трагикомедия застойного времени: система отказывалась от услуг неординарных людей, которые могли бы её, систему, спасти. Туманов мечтал об официальном признании, об ордене, который честно заслужил. Его несколько раз обещали представить к награде, и он очень переживал, когда обещания не сбывались. Он готов был вписаться в систему, если угодно, договорных условиях: мы вам – работу, вы нам – свободу.

Но система его не принимала. Однажды артель пожертвовала пуд золота в Фонд мира. За этот широкий жест пообещали срезать расценки на золото. Существовал негласный максимум артельных заработков, и если у кого-то получалось больше, то при расчёте цены на следующий год им вычёркивали какой-нибудь положенный по всем нормам вид работ, например, рыхление вечной мерзлоты. Если заработки опять были высоки – опять вычёркивали какие-нибудь подъездные дороги или дренажные канавы из себестоимости, снижая цену за грамм золота. Так было... И, глядя на происходящее, думалось, что хорошая работа отнесена у нас если не к преступным, то к подозрительным деяниям.

Туманов пытался убедить руководство страны, что можно увеличить добычу золота без дополнительных затрат. Но тех, кого устраивала застойная организация производства, такие предложения не устраивали. Жаль, что во власть таких людей, как Туманов, не пускают! Впрочем, он никогда туда и не стремился. Его мужское самолюбие удовлетворено тем делом, которое он делал и делает вместе со своими товарищами, пройдя путь от Колымы до столицы России. Созданные им артели добыли сотни тонн золота, построили тысячи километров дорог, великолепные промышленные базы...

И, думаете, кто это сделал? Бывшие колымские ээки-«тяжеловесы», крученые одесситы, московские интеллектуалы. Да кого там только не было! Нет, всё-таки не было... подлецов. Они просто не могли существовать среди тех, кому Вадим Иванович помог обрести человеческое достоинство. И сегодня никому из нас не унижительно вспоминать об этой помощи. Ибо это была помощь человека, желающего жить среди людей. И ему это удалось.

Его сложная и глубокая натура была непостижима в чиновничьем клане, как непостижим свободный человек в обществе рабов. Даже в самые трудные времена таковых у нас было предостаточно. Столько людей благодаря ему взглянули на себя по-иному и последовали его примеру. Он всегда оставался для нас человеком-надеждой и чуть-чуть тайной. Возможно, он просто предназначен для этой миссии – сохранять в людях баланс уверенности, подчинённости и свободы! Одно из своих стихотворений – «Дорога к золоту» – я посвятил Вадиму Туманову – великому старателю:

Эта дорога протянута к золоту –
Волок дремучий, ухабистый тракт,
Сколько здесь судеб и мук перемолото,
Сколько сердец отстучало не в такт!
Здесь всё сурово – романтику побоку:
Вскрышка породы и тонны руды –
Тот, кто «экзотику» эту испробовал,
Знает, какие труды впереди.

Кружку по кругу запустим, Туманова
Вспомним: да, есть на Руси мужики!
За полночь спор затянувши, внепланово
Переночуем у чистой реки.

И поутру сквозь ненастное месиво
Тронемся в путь под глухой ветерок.
Дышит наш Север дождями невесело,
Тянет с распадка то ль морок, то ль рок.

Лиственниц строй вдоль дороги расхристанной –
Словно на паперти нищая рать.
Хоть недалёко от Бога и истины,
Незачем жизнь нашу перевирать.

Старую славой дорога затянется
В узел тугой – ни вперёд, ни назад.
И, забыв города, мы останемся
И, как и ты, будем в землю вмерзать.

Фамилию Туманов я впервые услышал в 1975 году в г. Бодайбо, в тресте «Лензолото», куда я прилетел в составе комиссии областного Народного контроля. Приезд комиссии был связан с тем, что трест длительное время не выполнял план золотодобычи. Как нам объяснил генеральный директор Зафесов, значительно снизилось содержание золота: с 10-12 грамм на кубический метр горной массы до 5-6 грамм на кубометр. Мы проехали по всем рудникам и убедились в его правоте. После этого Зафесов в доверительной беседе сказал нам, что он заключил договор с Вадимом Ивановичем Тумановым, который должен вскоре приехать для организации новой старательской артели.

И вот в июне 1976 года Вадим Иванович прилетел в Иркутск со своим сыном Вадимом и с друзьями: Владимиром Высоцким, Важой Церетели, Леонидом Мончинским.

Съездили на Байкал, побывали в Свято-Никольской церкви – деревянной красавице; я сделал несколько снимков. Затем устроились в гостинице «Ангара», окна номера выходили на Тихвинскую площадь (площадь им. С.М. Кирова). Вечеряли прямо в номере. Долго спорили, как назвать новую старательскую артель. Тогда Церетели предложил выйти на крыльцо гостиницы и спросить первую проходящую девушку, как её зовут. «Лена», – с улыбкой ответила девушка в лёгком ситцевом платье.

– Вот вам и название новой артели, – сказал Высоцкий.

– Правда, имя созвучно названию северной реки Лена, но это даже хорошо, – поддержал его Мончинский.



Л. Мончинский, В. Высоцкий, В. Туманов (сын), Важа Церетели в Листвянке

На этом и порешили. Утром из Иркутска улетели на самолёте в Бодайбо.

Был тёплый солнечный день. Артельские стояли на площадке перед старым зданием аэропорта, опираясь на штакетник, и наблюдали за тем, как пассажиры выходили из самолёта и направлялись в их сторону. Где-то в середине растянувшейся цепочки прибывших шли Туманов и Высоцкий. Владимир Семёнович был в короткой лёгкой куртке, свитере, джинсах, с зачехлённой гитарой в руке.

Первый день провели в Бодайбо, показали гостям город и его окрестности. Побродили по скверу перед зданием «Лензолота».

Сильное впечатление на Высоцкого произвёл местный базарчик на берегу Витима, где торгующих за прилавком было двое – бабуля и дедок. Они продавали семечки. Покупателей не было вовсе...

В кругу общения основным рассказчиком был Вадим Иванович. Высоцкий же был довольно сдержан, не слишком многословен и весьма обыкновенен. Вопреки моим ожиданиям, при простом общении ничто не выдавало в нём того человека, который писал и пел потрясающие по силе песни. Он старался больше спрашивать и очень внимательно слушал собеседников. А нам хотелось выведать у Высоцкого, как появляются его песни, осознает ли он в себе сам силу творческого дара, как работает над текстами... Объяснить нам он ничего не смог. Единственное, что уяснили, так это то, что он не «высхиживает» сюжеты и стихи своих песен. Появление сюжета или цельного образа песни происходит вдруг, как озарение. А потом случается по-разному. Песня может родиться сразу, а может и месяцами длиться подготовительный период. Засядут в голове какие-то приглянувшиеся слово, фраза, мысль – и зудят, зудят, подвешенные в пустоте. И вдруг, в какой-то момент, все проясняется, и он видит готовое произведение. Остаётся только сесть за бумагу и быстро-быстро всё записать. Варианты и всякие последующие изменения он не относил к собственно творческой части, это могло быть делом техники, настроения, в общем, чего угодно.

Следующие два дня провели на участках артели – Барчике и Хомолхо. Там Высоцкий облазил всё, что только было можно, знакомился с технологией добычи золота, сам с азартом постоял за гидромонитором. При этом было ощущение, что он воспринимал вращение водилины гидромонитора не просто как рутинный физический труд. Делал это он с каким-то радостным азартом, как будто создавал что-то необыкновенное. Очень интересовался всякими необычными эпизодами из биографий заинтересовавших его старателей. Подробно выпрашивал у Туманова о разных деталях этих историй. Примечательна в этом плане история создания им песни про Вачу.

Рассказывая Высоцкому всякую всячину из артельской жизни, вспомнили и про шахту на Ваче и среди прочего, характеризующего этот участок, к слову, упомянули сказанную кем-то из старателей этого участка довольно забавную фразу: «Я на Вачу еду – плачу, с Вачи еду – хохочу». Ну, сказали мимоходом и забыли. А Высоцкий не забыл. Пока летели в вертолёт с Барчика на Хомолхо, он, сидя на железной лавке, под грохот двигателя, наклонившись, что-то писал. Оказалось, что в этот момент он быстро-быстро записывал эту балладу. В готовом виде! Кто слышал эту песню и хорошо знает старательское житьё-бытьё, может оценить, как точно и глубоко схватил Владимир Семёнович этот до того момента абсолютно неведомый ему пласт жизни, его образы, лексику, суть.

На Хомолхинском участке в помещении столовой Высоцкий пел для старателей. Пел он два часа с полной отдачей, на пределе физических

возможностей. Небольшое помещение было забито до отказа. Неведомо как узнали и успели приехать на этот вечер люди даже из Кропоткина. Я думаю, что это был незабываемый день для всех, кто там присутствовал. Высоцкому же очень понравилась песня «Бодайбиночка», которую, по просьбе Туманова, спели для знаменитого гостя старатели.

В Иркутском аэропорту мы, человек десять, стояли плотным кружком. Аэропорт был по-летнему оживлён. Стояли мы так, беседуя, довольно долго. Никакого объявления по радио о том, что в здании аэропорта находится Владимир Высоцкий, естественно, не было. Мы стояли недалеко от входа, и люди сновали туда-сюда, обтекая нас. Мне было интересно: заметят Высоцкого или нет? Если заметят, то как будут реагировать?

Заметили, начали останавливаться. Вскоре вокруг нас собралось уже много народу. Стояли молча, просто смотрели. Видимо, уже просто увидеть совсем близко Владимира Высоцкого случайно в Иркутском аэропорту было для них большим событием в жизни. Лишь кое-кто подходил и спрашивал, будут ли у Высоцкого концерты в Иркутске.

Поезд, которым нам предстояло добраться до Нижнеудинска, проходил через Иркутск глубокой ночью с короткой остановкой. Мы заняли два свободных купе в спящем вагоне, и не успел состав набрать скорость, как к нам подошёл какой-то человек и сказал, что он шеф-повар вагона-ресторана, узнал, что в поезде едет Высоцкий, и очень хочет его покормить: «Это же раз в жизни бывает, и то если повезёт!» Есть, конечно, в два часа ночи никто не стал, но сам по себе случай очень показательный, в том смысле, как много значил для простых людей Владимир Высоцкий.

К сожалению, вылететь на Бирюсу из Нижнеудинска мы не смогли. Горы были затянуты низкими облаками. В ожидании погоды сидели на маленькой базе артели. Когда метеорологи дали окончательный отбой, завбазой Константин Семёнов, в прошлом капитан дальнего плавания, с энтузиазмом предложил всем идти в его баньку попариться.

Баней оказался небольшой, совершенно тёмный, насквозь прокопчённый сарай, который протапливался по-чёрному. Вадим Иванович довольно брезгливо заглянул внутрь, коротко обозвал Семёнова нехорошим словом и отказался. За ним отказались идти в эту пещеру и другие. Один лишь Высоцкий почему-то пошёл париться вместе с капитаном.

Прошло довольно много времени. Мы стояли на улице и разговаривали. Наконец из бани показался Владимир Семёнович. Его лицо было настолько перемазано сажей, что все покатались со смеху. Оказалось, что парясь в темноте, он то и дело нечаянно касался стен и потом, вытираясь полотенцем, просто размазал чёрные пятна по всему телу. Впрочем, этот случай никому не испортил настроения, хотя капитан получил от Туманова очередную порцию крепких эпитетов. Принял критику в свой адрес Костя Семёнов весело, без малейшего сожаления о случившемся...

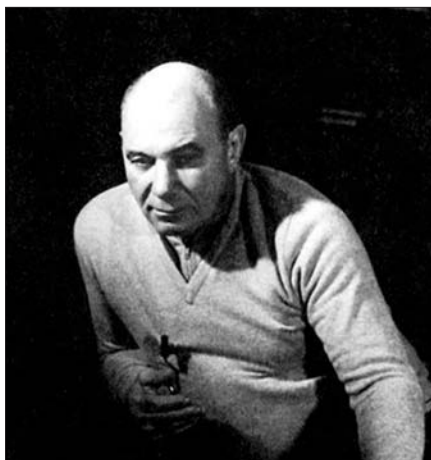
В результате этих встреч и рассказов у Владимира Высоцкого родилось немало широкоизвестных песен и стихов о Туманове, о его друзьях-старателях, о их старательском подвиге.



В публикации использованы фотографии А. Ершова, Л. Мончинского, М. Чумбадзе.

Вадим Иванович Туманов – имя это широко известно в России, а уж тем более в Сибири. Однако многие знают только вершинную часть его судьбы, которая связана с успехами и «большими деньгами», часть, определяемую звучным словом – золотопромышленник. А каким был путь к этой вершине, с каких драматических, а порой и трагических событий он начинался, долгое время было открыто только самым близким людям, верным друзьям.

В 2004 году вышла книга «Туманов. Всё потерять – и вновь начать с мечты...», написанная им самим. Это воспоминания и размышления о судьбах людей и великой страны, прошедших через великие же испытания... Книга, вышедшая ограниченным тиражом, вызвала большой интерес, о ней заговорили, но найти и прочитать её непросто. Сегодня в рубрике «Человек-легенда» мы представляем первую главу из «Туманова...».



ВСЁ ПОТЕРЯТЬ – И ВНОВЬ НАЧАТЬ С МЕЧТЫ...

Часть 1. Глава 1

Воспоминания на рейде Гетеборга.

«МГБ запросило характеристику...»

Арест. Встреча с капитаном Хлебниковым.

Владивостокская городская тюрьма.

Пересылка на второй Речке. В бухте Диамид.

Баня с женщинами.

Неудачный побег по дороге на Ванино.

Бунт в проливе Лаперуза.

Весной 1948 года сухогруз «Уралмаш», груженный лесом, вышел из Мурманска с заходом в Тромсе и приближался к порту Гетеборг. Рейс был очень трудный, шли шхерами, почти всё время в сопровождении лоцманов. Мне двадцать с небольшим, и если в эти годы ты штурман, третий помощник капитана, стоишь на мостике, и мокрый ветер в лицо, а из тумана наплывает панорама чужого города, – чувствуешь необыкновенную силу. Жизнь только начинается, всё ещё впереди! Стою на мостике, вспоминаю.

...Когда в военные годы мальчишкой я попал на флот, у меня была одна мечта – только фронт. Сейчас даже не могу объяснить, почему было это желание. Меня направили в электромеханическую школу на остров Русский. С этого началась моя флотская служба. На острове я стал усиленно заниматься боксом, к которому пристрастился ещё раньше. Здесь я подружился со старым

человеком, который когда-то был чемпионом Советского Союза по вольной борьбе. Его фамилия Казанский. К сожалению, не помню имени. Он научил меня многим приёмам, которые в жизни оченьгодились.

Мне вспомнилось, как когда-то нас, четверых матросов, наказали за один проступок. Я не был виноват, но был старшим и потому нёс ответственность. Начальник флотского экипажа капитан первого ранга Козельский, которому нравилось, как я боксировал, раздосадованно, не скрывая добрых ко мне чувств, с горечью сказал: «Эх ты! Ты же знаешь, как я к тебе относился...» И нас отправили в Хасанский сектор береговой обороны. Мурзина и Долгих – на остров Фургельм, Кушнарука – в бухту Витязь, а меня – в бухту Зарубино, в 561-й отдельный химвзвод, какой-то особенный: там было человек сто – почти вдвое больше обычного.

Из бухты Витязь меня везли в Зарубино на полуторке. Шофёра звали Вася – большой голубоглазый парень. Когда я зашёл в казарму, меня, как новичка, окружили солдаты, расспрашивая, как я здесь оказался. Через какое-то время зашёл старшина Петров, улыбаясь: «Ну, новичок, у нас так принято – ты обязательно должен подражаться». И это, наверное, было бы нормально, если бы не один момент, который мне запомнился на всю жизнь. Солдат по фамилии Мочалов, ещё толком не разглядев меня, вскочил с кровати с непонятным рвением: «Товарищ старшина, разрешите я!»

Он был на полголовы выше меня, намного шире в плечах. Его лицо и глаза даже сейчас, спустя более полувека, живы в моей памяти. Старшина Петров подал мне перчатки и стал объяснять, как нужно стоять, не зная, что я уже боксировал со многими ребятами из сборной флота. Никакого ринга не было – просто открытая площадка. А судья – тот же старшина Петров.

Я не знал, занимался Мочалов боксом или нет, и он тоже ничего не знал обо мне, рассчитывал на свою силу. С первых секунд я понял, что у него какое-то дикое желание избить меня. Его первые движения были непонятны. Я в открытой стойке провёл левый прямой удар, показывая ему, что не понимаю, что дальше делать, и, как бы боясь его, сделал движение назад. Он яростно бросился на меня, и я очень просто встретил его прямым правой. Он грохнулся на бетонный пол. Полная тишина. «Ещё кто-нибудь хочет?» – я опустил руки. Желających больше не нашлось.

Хасанский сектор для меня был сплошным несчастьем. Охраняя склады с ипритом, я, как и многие другие, иногда отходил погреться к вытасненным на берег для ремонта рыбацким сейнерам. Однажды кто-то именно в это время сорвал пломбу с дверей склада. Поднялся большой шум. Начальство должно было решить, что со мной делать.

На очередных политзанятиях я был поглощён мыслями о том, что меня ждёт, когда проводивший занятия старшина Вершинин попросил ответить на вопрос. Я не слышал, о чём он говорит. Старшина на меня закричал, я не удержался, тоже ответил довольно зло. «Что ты сказал?!» – подскочил он ко мне. «Ты что, не слышал?» – ответил я. Он схватил меня за левую руку. Я тут же автоматически ударил его правой по челюсти. И всё бы ничего, если бы не случилась страшная вещь: Вершинин упал на огромный, метра два высотой, портрет Сталина, прислонённый к стене, и порвал полотно. Можно представить, что тут началось. Меня моментально увезли на гауптвахту в бухту Витязь на десять суток.

Подъём в пять утра. Мы должны были натаскать малыми ведрами воду, напилить дрова. И так до отбоя – до одиннадцати часов. На восьмые сутки мы

утащили из соседней комнаты матрасы на пятнадцать минут раньше, чтобы лечь спать. Разводящий раскричался. Я его ударил.

Утром меня увели в штаб 25-й армии к полковнику Мельникову. Он устал на меня: «Слушай, ты здесь меньше месяца, а уже столько натворил, что тебя надо судить. Ты чего хочешь?!» Я ответил: «Хочу, чтобы меня отправили на фронт». Но меня вернули на гауптвахту досиживать. Когда кончился срок, меня оставили в бухте Витязь и зачислили в спортивную роту – команду боксёров от Хасанского сектора, он входил в Тихоокеанский флот. Команда должна была ехать в краевой центр на первенство флота. Так я снова оказался во Владивостоке.

На Тихоокеанском флоте два года существовал групповой бокс – другого такого не было нигде. Что это такое? Каждое подразделение, входящее в ТОФ – торпедные катера, подводные лодки, военно-воздушные силы, учебный отряд, флотский экипаж, эсминцы, крейсера, – выставяло по десять боксёров. Двухдневные соревнования проводились на футбольном поле в районе Луговой. Это был квадрат, очерченный извёсткой, двое судей, стоявших по обе стороны, и две команды по десять человек с каждой стороны. Удар гонга – и десять против десятерых в течение трёх раундов выявляли победителя. Так как боксёров, естественно, не хватало, то в команды набирали борцов, штангистов. Можно представить, как всё это выглядело.

В одном из боёв мне порядком досталось.

После боя меня ждали Серёжа Ткаченко – мой друг, с кем я когда-то был в учебном отряде, и его отец дядя Федя, который возил американского консула. Мы с Серёжей подошли к машине. В ней сидела женщина. Сажусь рядом, знакомимся. Её зовут Лена, ей лет тридцать с лишним, жена американского консула. Она тоже видела бой. На улице Пекинской, где было консульство, мы останавливаемся. Она говорит дяде Феде: «Вадим меня проводит». Мы долго гуляли по ночной улице.

Я был у неё дома. Никто тогда не узнал о моём «тайном контакте» с Америкой, но я навсегда запомнил эту встречу в 1944 году.

После одного из боёв тренер сборной Тихоокеанского флота капитан медицинской службы Зуев пригласил меня в спортзал, находившийся на улице Колхозной, дом 3.

Зуев попросил старшину Семёнова – тогда уже чемпиона флота – надеть перчатки. И меня тоже. Ринг окружили все, кто тогда был в спортзале. Удар гонга...

Петя Семёнов на первых секундах был в нокдауне.

Тишина...

Зуев говорит: «Бердников, наденьте перчатки!» Бердников был тоже чемпионом флота в полусреднем весе. С Бердниковым на первых же секундах произошло то же самое.

«Вы зачислены в сборную флота», – сказал мне Зуев.

С Володей Бердниковым мы стали друзьями...

Всё это пронеслось передо мной, когда с капитанского мостика «Уралмаша» я смотрел на чужой город.

Гетеборг поражал множеством автомобилей, старинными парками, силуэтами лютеранских церквей. А главное, невиданным прежде, невозможным для моей фантазии обилием сыров. Каких сыров тут только не было! Жёлтыми кругами, белыми колбасами, красными шарами они свисали над прилавками.

Их можно было бы принять за муляжи, если бы не густой, острый, щекочущий ноздри дух. Я не представлял, что бывает столько сыров – твёрдых, мягких, с травами, орехами, кусочками колбасы. Было странно: шведский пролетариат, как говорил нам первый помощник, пока не победил, а сыров здесь – как у нас будет, когда построим коммунизм.

С четырнадцати лет я рос комсомольцем, принимал на веру идейные постулаты, какие моему поколению давала школа, доступные нам книги, окружающая среда. Я слышал о существовании другой жизни, в которой арестовывают людей, увозят в лагерь. И хотя среди них оказывались наши знакомые, у меня не было и малейшего представления о глубине пропасти, которая разделяет страну ударных пятилеток и страну лагерей. Я не задавал себе вопросов, не мучился сомнениями. Мир казался предельно ясным. Мы были готовы умереть за власть Советов.

Нам и придётся за неё умирать, но совсем не при тех обстоятельствах, которые мы воображали в своей наивной и глупой юности.

В Гетеборге предстояло размагничивание «Уралмаша». В портовой лаборатории, куда мы с матросами отнесли штурманское оборудование, толпились моряки с других пароходов. Их суда стояли на рейде красивые, свежеевыкрашенные, рядом с ними наш сухогруз выглядел как усталая ломовая лошадь. Глядя в окно, какой-то иностранец-моряк сказал своим друзьям на сносном русском языке и так громко, чтобы мы слышали:

– Интересно, это чей такой обшарпанный корабль?

Мои патриотические чувства были уязвлены.

– Неважно, какой у парохода вид, – задиристо ответил я, – зато он под флагом самого прекрасного государства!

Незнакомец поднял на меня вдруг посерьёзневшие глаза:

– Кто это вам сказал?

Ответ у меня вырвался сам собой:

– Это не надо говорить, это все прекрасно знают, и вы, я думаю, тоже!

Взгляд незнакомца был долгим, сочувственным. Так смотрят на тяжело больного, не имеющего никаких шансов, но не подозревающего об этом.

Мы возвращались на пароход, довольные собой. Матросы поглядывали на меня восхищённо.

Три года спустя, брошенный после очередного колымского побега на грязный бетонный пол, в наручниках и со связанными ногами, задыхаясь от густого запаха хлорки, из всех впечатлений прожитых мною двадцати трех лет я почему-то вспомню эту сцену в Гетеборге и печальный долгий взгляд незнакомца. В тот день, помучившись со мной и не желая вести беглеца в тюрьму среди ночи, солдаты приволокли меня в сусуманский дивизион. Вдоль стены тянулся ряд жестяных умывальников. Вода капала в вёдра и мимо, создавая иллюзию дождя. В тусклом свете я увидел рядом на полу другое скрюченное тело. Человек утопил правую часть лица в вонючем месиве, чтобы уберечь от грязи надорванное левое ухо, залитое кровью. Время от времени в помещение входили толпы солдат, и каждый, переступая через наши тела, пинал нас сапогами, как мяч. Когда топот утихал, мой товарищ по несчастью с трудом открывал один глаз и шевелил разбитыми губами: «Видно, одни футболисты!»

Он пытался приподняться, но ничего не получалось.

Так я познакомился с Женькой Коротким.

Скрючившись с ним рядом, силясь приподнять голову, чтобы жижа на полу не набивалась в рот, я с отвращением слышал собственный молодой голос – голос третьего штурмана «Уралмаша», как он – то есть я! – искренне и вызывающе усмехался незнакомцу в Гетеборге: «Неважно, что наш пароход некрасивый, зато он под флагом самого прекрасного государства!»

Неужели с того дня прошло всего три года, а не вечность?

Закончу, раз начал, про Женьку Короткого. Мы с ним встречались на Колыме ещё три-четыре раза. Женька ничего не рассказывал о себе. Помню только, что он родом с Украины и был детдомовцем. Однажды столкнулись в Сусумане в первом следственном отделе. Каким-то чудом колымские врачи пришили ему ухо. В длинном коридоре, по которому нас вели, висело ржавое зеркало. Женька, замедлив шаг, повернул голову так, чтобы увидеть в зеркале пришитое ухо. И усмехнулся:

– Родина, какой я стал смешной!

В кабинете следователя на столе стояла статуэтка Тараса Бульбы. Женька уставился на нее.

– Вы что, Короткий? – спросил следователь.

– Вот смотрю, гражданин начальник, и думаю: что мы за нация такая, если это – наш кумир?!

Какое-то время спустя мы встретились на сусуманской пересылке.

– Прощай, – улыбнулся Женька.

– Ты чего? – возразил я. – Чего «прощай»? Увидимся где-нибудь на штраф-нях.

Женька грустно-грустно покачал головой:

– Думаю, что нет.

Женьку застрелил конвой на Ленковом. Через четверть века, летом 1977 года, уже живя в Москве, я прилетел с друзьями на Колыму и отыскал в Сусумане разрушенный барак и бетонную стяжку, на которую нас с Женькой Коротким бросили связанными по рукам и ногам. Сквозь бетон пробивалась зелёная трава. В траве одиноко валялся жестяной умывальник, наполовину засыпанный землёй. Я не сентиментальный человек, но почему-то проклятый этот умывальник совершенно доконал меня. Вспомнил себя, молодого, самоуверенного в Гетеборге и Женькино: «Родина, какой я стал смешной!..»

Это правда: наше поколение бывало смешным – до ужаса.

– Вы знали, на кого совершаете покушение?

Я не видел задававшего вопросы: направленный свет ослеплял меня.

– Откуда мне знать.

– Вы покушались на жизнь товарища Лауристана.

– Кто это? – отводил я глаза.

– Заместитель председателя правительства Эстонии.

Я одурел... Два последних года войны транспорт «Ингул» ходил в Канаду и США; туда в балласте, обратно с продуктами и техникой. Я был матросом, но мечтал стать капитаном. Окончил курсы штурманов, стал четвёртым помощником на «Емельяне Пугачёве», совершавшем плавания в водах Дальнего Востока, Кореи, Китая. Назначение третьим штурманом на «Уралмаш», построенный для работы во льдах Арктики, само по себе было везением. Но больше радовали предстоящие плавания под началом капитана Веселовского.

Веселовский относился ко мне с симпатией. На судне люди и их отношения как на ладони, и то, что можно скрывать на суше, контролируя себя, не

спрячешь на маленьком ограниченном пространстве, когда месяцами друг у друга на виду. Здесь шероховатости общения, на первый взгляд безобидные, накапливаясь, чреваты раскатами грозы. Наш капитан со всеми был ровен и деликатен, и мы были поражены, когда в Мурманске по непонятным для нас причинам ему пришлось передавать «Уралмаш» другому капитану – Виктору Павловичу Дерябину. Веселовский попросил меня прийти к нему в каюту.

– Я знаю, ты любишь Есенина, Вертинского, Лещенко... Я тоже их люблю, они всегда со мной. Сорок пластинок Вертинского и Лещенко обошли со мной полсвета. Теперь не знаю, как всё сложится, а пластинки не должны пропасть. Возьми их себе.

Вынося из капитанской каюты коробку с пластинками, я был самым счастливым человеком. Откуда мне было знать, что не пройдёт и полугода, как следователь водного отдела МГБ во Владивостоке, найдя при обыске эти пластинки и не добившись от меня, откуда они, использует их как свидетельство моих антисоветских настроений.

Как я потом узнал, у водного отдела интерес ко мне возник ещё во времена, когда нокаутированный мною старшина Вершинин, падая, затылком продырявил портрет Сталина.

А во время рейса «Уралмаша», когда из Гетеборга сухогруз пришёл в Таллин, случилась ещё одна история. Разгрузку у нас вели пленные немцы. Они были измождены, слабы. Я увидел, как немец с впалыми щеками и в очках, не в силах устоять под грузом, упал на палубе и не мог сам подняться. Была моя вахта, я распорядился на камбузе, чтобы его покормили. Потом каждый день, пока шла разгрузка, когда в свою вахту я видел на палубе того немца, просил повара что-нибудь вынести ему. Это не понравилось первому помощнику-замполиту.

Инцидент, возможно, сошёл бы мне с рук, если бы в том же Таллине я не оказался втянутым в настоящий скандал. Мы с друзьями, нас было четырнадцать, зашли в кафе «Лайне». За столиками сидели десятка два уже подвыпивших лётчиков. Не помню, что именно произошло, но возникла драка. Остановить её было невозможно. Когда мы, наконец, вышли из кафе и двинулись в сторону порта, нас попыталась задержать эстонская милиция. Возбуждённые, мы не воспринимали увещаний. Пока выясняли отношения, подъехали два легковых автомобиля. Из одного вышел высокий человек в роговых очках, и чёрт его дёрнул схватить меня за руку. Мой удар оказался сильнее, чем я предполагал. На меня навалились автоматчики. В себя я пришёл в помещении эстонской политической контрразведки.

– Вы знали, на кого совершали покушение? – повторил следователь.

Политическая контрразведка не хотела раздувать скандал вокруг этого инцидента, связанного с видной фигурой просоветского эстонского правительства. Все хотели выйти из создавшегося положения, не поднимая шума. Дня через два меня привезли в таллинскую прокуратуру.

– Вы хотя бы понимаете, в какое положение поставили всех нас? – говорил прокурор Лебедев. – Вы что, не знаете, какая в Эстонии ситуация?

Я молчал.

– Товарищ Лауристен в больнице. Вас доставят к нему. И если он не простит вас, придётся давать санкцию на ваш арест.

В больнице меня провели в комнату, кажется в ординаторскую. Я сел на табурет и ждал. Не знал, что сказать человеку, перед которым был очень вино-

ват. Заместитель председателя правительства появился в двери в больничном халате и с забинтованной головой. Я поднялся навстречу. Он жестом вернул меня на место и сел на кушетку. Волнуясь, я не мог сообразить, кто из нас должен заговорить первым. Лауристен, видимо, уловил моё состояние.

– Молодой человек, вы могли испортить себе всю жизнь, – он смотрел на меня изучающим взглядом. – Хочу, чтобы вы осознали это.

Я что-то бормотал в ответ. Он пересел к столу и быстро написал несколько строк на тетрадном листе. Затем обернулся ко мне.

– Я вас прощаю!

У ворот больницы конвой отпустил меня. Рейсовым автобусом я возвращался в морской порт, где у причала стоял «Уралмаш». Скорее бы покинуть этот злополучный город. Кажется, завтра уходим!

Но странная тяжесть ворочалась в груди, не отпуская: что-то ещё должно случиться. Предчувствие редко обманывало меня.

Часов в десять утра зашёл вахтенный матрос: «Вас просит капитан». Направляясь к нему, я ждал неприятностей, но не представлял, какими они могут быть. Виктор Павлович Дерябин был в домашнем халате.

– Пришла радиограмма из Владивостока, читай... – протянул он листок.

Я пробежал глазами. «Таллин, Уралмаш, Дерябину. Срочно направить третьего помощника капитана Туманова в распоряжение отдела кадров Дальневосточного пароходства. Ячин». Ячин – начальник отдела кадров пароходства. Вот что я предчувствовал!

– Сам не понимаю эту спешку, – продолжал капитан. – Короче так: если из судовых ролей тебя не вычеркнут, то в рейс ты уйдёшь. А вычеркнут... – он развёл руками.

Отход обычно оформляли третий помощник вместе с четвёртым, но на этот раз документами занимался второй помощник Попов. Я вернулся в свою каюту, и почти сразу ко мне вошёл Попов, только что поднявшийся на судно. Он растерянно смотрел на меня:

– Вадим, ты почему-то не прошёл по ролям...

Он протянул судовую роль, и я увидел свою фамилию, жирно вычеркнутую красным карандашом.

– Уже знаю, – тихо ответил я. Говорить было не о чем.

– Хочешь выпить? – спросил Попов. – У меня есть бутылка коньяку.

Идти в кают-компанию обедать не хотелось, я спустился на пирс и пошёл бродить по старому Таллину. По мостовым громыхали коляски с извозчиками. Я бесцельно кружил по припортовым переулкам, только бы не возвращаться на судно. Город погружался в сырой туман, было страшно тоскливо.

На следующий день я одиноко стоял на причале, наблюдая, как сухогруз медленно отбывает корму. Вот уже ширится полоска воды между мною и судном, уходящим в море без меня. У ног чемодан с пластинками и книгами. Как хорошо, подумал я, что забрал с собой «Мореходную астрономию» Хлюстина, «Навигацию» Сакеллари, ППСС – «Правила предупреждения столкновения судов в море». Тогда и не думалось, что они мне больше никогда не пригодятся.

Я сел в поезд Таллин–Ленинград, на следующий день добрался до Москвы и, не задерживаясь, купил билет на ближайший поезд до Владивостока. Он уходил в полночь. Почти всю ночь простоял у окна. Не хотелось ни читать, ни сидеть в вагоне-ресторане. Через несколько дней на перроне Хабаровска ме-

ня встретила мама. Я телеграфировал ей, когда прибывает поезд. Поёживаясь под наброшенным на плечи платком, она испуганными глазами смотрела на меня, спрашивая, что случилось. А что я мог ей сказать? Пытался успокоить, объяснял возвращение переводом на другое судно (и втайне на это надеялся), но материнское сердце не обманешь. Мы стояли молча, и только с последним ударом привокзального колокола, когда мне пора было вскакивать на подножку уже двинувшегося вагона, мама посмотрела на меня умоляюще:

– Мне кажется, я больше тебя не увижу, сынок...

– Ну что ты, мама, – успел я сказать.

Моя мама была из зажиточной семьи, осталась сиротой. Уезжать во время революции за границу не захотела, её приютил дядя. Желая успокоить дядю, чтобы он не ждал неприятностей, вызванных её происхождением, она убеждала его в своей полной лояльности к новой власти. Даже говорила, будто в 1919-1920 годах сама ходила под красным флагом. Так что пусть не беспокоится. Дядя неожиданно ответил: «Под красным флагом? Чтоб я об этом больше не слышал!» А мой отец в годы Гражданской войны служил в коннице Будённого, был в дружеских отношениях с Олеком Дундичем, воевал с басмачами в Средней Азии. Его сослуживцы выросли до военачальников, а отца военная карьера не привлекала. Со временем он оставил службу и в 1930 году с семьёй отправился строить молодые дальневосточные города. Они оба, мать и отец, похоронены в Хабаровске.

Транссибирский экспресс пришёл во Владивосток солнечным днем. Встретившись с друзьями в ресторане «Золотой Рог», я узнал все новости, в том числе об одном из моих товарищей – Косте Семёнове. Он тоже был снят с парохода, идущего в заграничное плавание, и направлен на судно, совершающее каботажные рейсы.

Утром я пошёл в пароходство. У входа толпились сотни две матросов. Отдел кадров командного состава находился во дворе. Меня принял начальник отдела командных кадров Геннадий Осипович Голиков, хорошо относившийся ко мне.

– Вадим, тебе нужно срочно уйти в рейс, хорошо куда-нибудь подальше, скажем, в полярку, и задержаться там месяцев на восемь-десять, чтобы всё забылось.

– Да я готов, Геннадий Осипович, только скажите, хоть вы мне: что – «всё»?

– Если б я сам понимал!

Голиков попросил зайти дня через два и, когда мы встретились снова, предложил пойти вторым помощником на пароход «Одесса», уходивший из Владивостока месяца на три к берегам Камчатки, в Гижигинскую губу. Я согласился. Дня за три до отхода ко мне в каюту вваливается старый приятель Юра Милашичев:

– Вадим, ты что, уходишь в отпуск?

– С чего ты взял?

– Меня срочно направили сюда вторым, заменить тебя!

– Заменяй, если направили.

– Понимаешь, какая штука. Я пришёл, как положено, представиться Василевскому, а он отправил меня обратно. У меня, говорит, уже есть второй.

Василевский – капитан «Одессы».

– От меня ты чего хочешь? Чтобы я за тебя попросил?

– Вадим, мы оба в глупом положении.

– Хорошо, я зайду к капитану.

Капитан был в каюте не один; у него сидела жена, оба были в хорошем расположении духа. Извинившись, я коротко рассказал ему, что со мной произошло на «Уралмаше», и попросил прояснить наконец мое положение.

– Мне о вас рассказывал Пётр Иванович Степанов. Я сам после рейса напишу вам характеристику. А сейчас идите и работайте. Послезавтра отход!

У Степанова, капитана парохода «Емельян Пугачев», я плавал четвёртым помощником.

На следующий день, после полудня, меня вызвали к Василевскому.

– Не стану скрывать. Мне сообщили, что вас снимают с рейса не кадры, а водный отдел МГБ. Тут я ничем помочь не могу.

Я попрощался и уже у дверей услышал:

– Мне очень хотелось, чтобы вы со мной плавали, потому что Степанов о вас говорил много хорошего.

Я поблагодарил, зашёл в свою каюту за чемоданом и сбежал по трапу.

...На улице Ленинской в киоске продавали мороженое на палочке, бутерброды с тонким ломтиком колбасы и водку в розлив. Почему сегодня такой жаркий день? Мне захотелось напиться, и ничто не могло этому помешать. Очередь была большая, много детей, но покупателей водки с почтением пропускали вперёд, не заставляя томиться.

Я взял два полных гранёных стакана, осушил их, зажевал бутербродом, а когда потянулся за третьим, очередь, мне показалось, отшатнулась, и я оказался с продавщицей один на один.

– Может, хватит, морячок?

– Ннналивай!

Выпив третий стакан, я направился к центральным воротам порта. Что со мной было дальше, не помню.

Проснулся на следующий день на пароходе «Зырянин» в каюте знакомого штурмана. Ребята сказали, что меня разыскивал капитан Степанов с «Емельяна Пугачёва». Сейчас он в отделе командных кадров, и мне надо к нему поспешить.

В пароходстве я действительно нашёл Степанова.

Я когда-то был, как уже сказано, четвёртым помощником, очень старался поведением походить на него. В самые сложные моменты он оставался абсолютно невозмутимым, а внутреннее волнение выдавал только сильный одесский акцент: «Вивернемся ми или не вивернемся?» Как-то в проливе Цусима мы получили радиограмму, что терпит бедствие судно «Лев Толстой». Вышла из строя машина, судно несло на берег, надо было срочно взять его на буксир. Подать буксирный трос из-за сильного ветра не удавалось, и капитан решил подойти к терпящему бедствие судну как можно ближе, чтобы выброской подать трос. Но маневр не удался: судно несло на нас... Громадный «Лев Толстой» форштевнем ударил нам в правую скулу. Удар был настолько силен, что от планшира до ватерлинии образовалась трещина шириной до четырёх метров. Судно «Емельян Пугачёв» было загружено десятком тысячами тонн угля. Как четвёртый помощник я находился на мостике рядом с капитаном. Когда раздался удар и скрежет металла, я увидел спокойные глаза капитана и услышал: «На этот раз ми, кажется, не вивернулись...» И моментально последовали четкие команды: «Дифферент на корму! Крен на левый борт!» Я слушал команды, и мне была видна работа двух экипажей – наши заводили пластырь и крепили буксиры ко «Льву Толстому».

Мне это потом вспоминалось в 90-х годах XX века, когда, разваливаясь, тонула Россия и не слышно было чётких команд: на мостике оказался капитан, который в этот момент размышлял только о том, какой флаг поднять.

И вот мы со Степановым стоим на ступенях пароходства.

– Вадим, разговор должен остаться между нами, понимаешь? МГБ запросило характеристику на тебя. Я написал, хорошо написал. Но мне показалось, там остались недовольны. Интересовался твоим делом Красавин.

Красавин... Кажется, знакомое имя. Где мы встречались? Почему-то мне сразу представилась под прищуренным глазом родинка, но я не мог вспомнить лицо.

Стою на ступенях отдела командных кадров пароходства, ещё не догадываясь, что в эти часы переступаю порог совершенно другой жизни. Земля под моими ногами раскалывается надвое, обваливается, плывёт в грохоте и в дыму, а я всё удивляюсь, почему мир оглох и не слышит.

Но откуда мне знакома эта фамилия – Красавин? И почему она вызывает смутные неприятные ощущения?

Роясь в памяти, я вдруг увидел палубу «Емельяна Пугачёва», выдраенную матросами перед отходом; какой-то разговор с портовыми грузчиками, чей-то возглас, обращённый ко мне: «Эй, вахтенный, тебя вызывают к трапу!» – «Кто это вызывает?» – «Какой-то в штатском!» – «Если ему нужно, пусть сам поднимется!»

И я вспомнил.

На палубе возник невзрачный человек с прищуренным глазом и родинкой под ним. Изучающий взгляд этого глаза так привлекал внимание, что я до сих пор не знаю, как выглядел другой глаз и был ли он вообще. Незнакомец о чём-то отрывисто спрашивал. Я сухо отвечал, не беря разговор в голову: был занят скорым выходом в море. Позже кто-то на мостике спросил, чего от меня хотел Красавин. «Какой Красавин?» – не понимал я. «Да тот, с бородавкой». – «А кто он, собственно?» – «Оперуполномоченный водного отдела МГБ!» – Для меня это ничего не значило. Подумаешь, водный отдел!

Слова капитана Степанова как обухом по голове. Красавин?! Я был в смятении от полного непонимания, что происходит. Куда ни ткнусь, везде разводят руками и стараются уйти от разговора. Состояние неопределённости было невыносимо. Нужно самому идти в водный отдел, разыскать этого Красавина. Он-то знает, что происходит!

Двухэтажное здание водного отдела МГБ находится на территории морского порта, налево от центральных ворот. Туда направлялись моряки, когда по каким-то причинам их не пускали в заграничное плавание. Дежурный спрашивает, к кому я и по какому вопросу. Называю имя Красавина, добавляя, что вопрос исключительно личный. Дежурный куда-то звонит, и меня сопровождают на второй этаж, до двери кабинета. Стучу и вхожу.

Ну да, это он – с родинкой под глазом. Ещё не открыл рта, а мне уже неприятно.

– Вы ко мне? По какому вопросу? – щурит глаз, словно видит впервые.

– По вопросу снятия меня с парохода «Одесса».

На его лице недоумение.

– Не понимаю, почему вы решили с этим обратиться ко мне. Я вас не знаю.

В ответ я говорю, что меня сняли с парохода «Одесса» и я сам не понимаю, почему пришёл к нему, просто слышал его фамилию.

– Мы к вам претензий не имеем. Плавайте где хотите.

Когда, попрощавшись, я берусь за ручку двери, он останавливает меня вопросом, продолжаю ли я заниматься боксом. Я отвечаю, а, когда выхожу на улицу, меня как молнией ударяет: он же сказал, что не знает меня, и спрашивает о боксе. Значит, знает?!

Дня через два меня разыскивает подруга Майи Бурковой, девушки, с которой я раньше встречался, и передает её просьбу: срочно встретиться на углу улицы, неподалёку от её дома. Это было в высшей степени странно. Мы с Майей хорошо знали друг друга, у нас был недолгий роман, я бывал у неё дома, её отец и мать относятся ко мне с симпатией. Отец Майи – какой-то чин в краевом управлении МГБ. Почему она хочет видеть меня не в доме, а около?

Стою на углу минуты три и вижу вышедшую из дома, быстро шагающую, почти бегущую ко мне Майю. Она берёт меня под руку и уводит в сторону.

– Вадим, слушай меня внимательно. Вчера я пришла на работу к отцу и заглянула в кабинет Жорки Щанова. У него на столе лежала бумажка с твоей фамилией. Я потянулась посмотреть, а Жорка перехватил мою руку: «Майя, только не это, я не могу тебе это показать», – и торопливо сунул бумагу в ящик стола. Но я успела разглядеть: ордер на арест. Вадим, тебе нужно срочно уехать...

– Я знаю, меня, наверно, посадят.

– За что?

– Сам не пойму.

Мы продолжаем стоять. Молчание в тягость обоим, и, чтобы нарушить его, я спрашиваю, зачем, собственно, она ходила к отцу. Майя рассказывает с воодушевлением: ей шьют в ателье новое платье, она пришла просить у отца машину съездить на примерку, встретила в коридоре шофёра, который возил отца, уговаривала его подвести до ателье, а он ей ответил, что сегодня у него такая машина, что ездить на ней неудобно. Майя спустилась с ним к машине и увидела американский «додж», переоборудованный для перевозки арестованных, заглянула внутрь и удивилась: как там можно сидеть, разве только согнувшись в три погибели? Мне неприятно слушать, я прощаюсь и иду к ресторану «Золотой Рог». Там меня ждёт уже подвыпивший Костя Семёнов. Мы вместе плавали на «Ингуле» и на «Емельяне Пугачёве». Садимся за столик, и я говорю о тяжёлом предчувствии, охватившем меня. Костя отвечает словами, почему-то причинившими мне боль: «Брось, кому суждено быть повешенным, тот не утонет!» К чему это он?

Мы с Костей едем ночевать к нему. Мне снится сон, будто я куда-то бегу, путь мне преграждает колючая проволока, я нахожу в ней небольшую дыру и протискиваюсь, скрючившись, оставляя на проволоке клочья одежды и куски окровавленного мяса.

Утром мы с Костей расстаёмся, условившись встретиться в два часа дня на Ленинской у ресторана «Прогресс» и вместе пообедать.

Тёплый летний день. Я приближаюсь к кинотеатру, как вдруг кто-то берёт меня за плечо. Оборачиваюсь – Красавин, за ним ещё один в штатском, а у обоих дороги чёрная «эмка».

– Пройдите, пожалуйста, к машине.

Я сажусь на заднее сиденье, рядом с каким-то человеком, второй усаживается по другую сторону от меня, Красавин сел впереди рядом с водителем. Машина ещё не тронулась, как меня просят поднять руки и с обеих сторон обыскивают. Красавин поворачивается ко мне:

– Вы арестованы. Обвиняетесь по статьям пятьдесят восемь, шесть; пятьдесят восемь, восемь; пятьдесят восемь, десять.

– Что за комедия, – возмущаюсь, – что за фокусы?

– Советую выбирать выражения! – говорит Красавин. Машина въезжает в центральные ворота порта и поворачивает налево, к зданию водного отдела. В том самом кабинете, где мы недавно встречались, Красавин официально зачитывает постановление о моём аресте и просит двух других сотрудников сорвать шевроны с моей формы и кокарду с мичманки. Меня ведут по каменным ступеням в подвал, в одну из камер предварительного заключения. Мне кажется, что это кошмарный сон, который я когда-то уже видел. В камере нет окон, откуда-то сверху едва брезжит искусственный свет, и нужно время, чтобы глаза смогли различать предметы. Нары из массивных брёвен, на деревянном столе – иссохший кусок кеты, просоленной так обильно, что крупички соли поблескивают, как стекло.

Потом во многих камерах я видел такой же крепко посоленный кусок красной рыбы, обычно кеты, явно оставленный с умыслом: ещё больше ломать заключённых, заставляя постоянно испытывать жажду.

Не знаю, сколько прошло времени, когда я ощутил наступление вечера. Сквозь бетонные блоки подвала в камеру пробиваются гудки пароходов, скрежетдвигающихся по рельсам порталных кранов, стуки полувагонов, скрип судовых лебёдок и грохот якорных цепей, уходящих из бортовых клюзов под воду. А над всеми этими звуками, где-то совсем близко, перекрывая их, с какой-то, как мне представилось, ярко освещённой палубы репродукторами разносится по всей акватории порта голос Лидии Руслановой: «Валенки, да валенкиии, эх да не подшиты, старенькиии...» Лежу на нарах, глядя в низкий потолок, прислушиваясь к звукам ночного порта, ещё не зная, что громохвост металла и голос певицы будут всю оставшуюся жизнь вызывать в памяти эти первые часы неволи и причинять долгую, ноющую боль.

Ночь. Грохот. Песни...

Я долго не могу уснуть. Часа в два ночи слышу, как скрипнул засов железной двери, в камеру вводят ещё одного человека, по виду старше меня, тоже моряка. Его лицо мне кажется знакомым. Ну конечно! Я видел его фотографии на страницах владивостокских газет и на Доске почёта в пароходстве. Я узнал его: знаменитый ледовый капитан Юрий Константинович Хлебников, один из энтузиастов освоения Северного морского пути. Его имя известно было курсантам всех мореходок. Он был капитаном ледокольного парохода «Сибиряков», впервые в истории арктического мореплавания прошедшего от Архангельска до Берингова пролива за одну навигацию*. С тех пор у полярных моряков появился новый термин: «сквозное плавание», или «сквозной рейс». Год спустя «Сибиряков» участвовал в Первой Ленской транспортной морской экспедиции**. Караван, идя в густом тумане над разводьями, встретил в Карском море у острова Скотт-Гансена тяжёлые льды, и, когда пароход

* Ю.К. Хлебников в этом плаванье был старшим помощником капитана В.И. Воронина, а «Сибиряковым» командовал в 1934-1936 гг. – *Здесь и далее примечания редакции.*

** «Сибиряков» не был в составе участников Первой Ленской экспедиции, он присоединился к её каравану, выполняя собственную задачу в рейсе до мыса Челюскин. В 1934 г. Ю.К. Хлебников уже в качестве капитана «Сибирякова» принимал на борт у мыса Челюскин вывезенных самолётом с Северной Земли после вынужденной зимовки и похода последних участников Первой Ленской экспедиции.

пошёл на разведку, были открыты пять островков, не известных лоцманским картам.

В другое время Хлебников был капитаном легендарного ледокола «Ермак».* Этот лидер советского ледокольного флота впервые сделал возможными регулярные плавания торговых судов в зимних условиях Балтики, а в годы Великой Отечественной войны участвовал в прорыве блокады Ленинграда**. И в послевоенные времена Хлебников водил корабли к малодоступным берегам Заполярья, доставляя грузы и продовольствие зимовщикам арктических метеостанций, жителям северных островов, аборигенам тундры.

Теперь на соседних нарах сидит страшно усталый человек лет под пятьдесят. По возрасту Хлебников годится мне в отцы. С его кителя тоже сорваны шевроны. Мы разговорились. Он сидит второй месяц. Обвинения почти те же, что у меня: шпионаж и что-то ещё антисоветское. На мой вопрос: ну ладно я, третий штурман, каких тысячи, но знаменитому капитану Хлебникову разве трудно доказать свою невиновность? – он усмехается и отвечает грубоватым анекдотом, теперь тривиальным, а тогда услышанным в первый раз из его уст. Зайца спрашивают: «Чего ты, заяц, бежишь?» «Там верблюдов е...», – отвечает. «Так ты же не верблюд!» – «Э, всё равно вые... – а потом доказывай, что ты не верблюд».

Юрий Константинович подавлен, разговоры ему даются с трудом, и я стараюсь не надоедать вопросами. Не помню в точности, но мне кажется, что и его арестовывал Красавин. Встреча с Хлебниковым радует не только возможностью общения, но и нахлынувшей надеждой, что аресты таких известных капитанов признают ошибкой, это мне казалось несомненным, тогда дойдёт очередь и до других, в том числе до меня.

В 1947 году был арестован капитан Альварес. Это он, говорят, в 1937 или 1938 году привёл в Советский Союз испанский пароход, впоследствии названный «Двиной», с послушной ему командой, бежавшей из франкистской Испании. За это, я слышал, испанские власти повесили его мать, жену и двоих детей.*** У нас во время войны его направили капитаном на судно «Александр Невский» типа «Либерти», американской постройки. Альварес любил музыку, был весёлым, жизнерадостным человеком. После войны его сняли с парохода «Александр Невский» и перевели на «Иркутск», который всё время был в каботажном плавании. То есть фактически лишили Альвареса заграничных плаваний.

Однажды в проливе Лаперуза на Камень Опасности село американское судно – не помню названия****. Ему поспешил на помощь советский пароход

* Капитаном «Ермака» Ю.К. Хлебников был в 1963-1965 гг.

** Прорыв блокады Ленинграда – это конкретная операция в январе 1943 года. «Ермак», мобилизованный вместе с командой во главе с капитаном М.Я. Сорокиным, ещё с октября 1941 г. и до июня 1944 г. участвовал в обороне города, эвакуируя гарнизоны, проводил корабли для обстрела позиций врага, выводил на боевые позиции подводные лодки.

*** Рубиеро Даниэль Альварес принимал участие в гражданской войне в Испании на стороне республиканцев. В марте 1939 г. крейсер «Мигель Дисэровантис», на котором он служил, был интернирован французами в Северной Африке, а сам Альварес как коммунист помещён в концлагерь. В июне 1939 г. по ходатайству советского посла в числе других испанских коммунистов освобождён из лагеря и выехал на жительство в СССР.

В.Ф. Скорупский, работавший с Альваресом в Москве, вспоминал, что в «году в 1960-м он уехал на Кубу... Из Испании к нему приехала семья: жена и две дочери, родившиеся ещё до эмиграции отца».

**** Это был панамский пароход «Донья Тринидад».

«Тобол», но его тоже выбросило на Камень. Альварес на своём «Иркутске» спас обе команды. Капитан американского судна и Альварес оказались знакомы: вместе стажировались в Англии. Вернувшийся на родину американец дал какой-то газете интервью. Вспомнил о том, как в капитанской каюте Альвареса они пили токайское вино и на вопрос, что происходит в СССР, Альварес ответил: «Ты про испанскую инквизицию слышал? Так вот здесь всё хитрее и жёстче».

Когда «Иркутск» вернулся во Владивосток и по распоряжению портовых властей почему-то ошвартовался у двадцать восьмого причала, где обычно швартовались только пассажирские суда, к пароходу подкатили три чёрные «эмки», поднявшиеся на борт люди согнали команду на ют, в каютах и кубриках произвели обыск.

Капитану предложили спуститься на берег. Там уже поджидала машина... Больше его никто не видел. Разговор с американцем потом фигурировал в обвинительном приговоре*.

Не могу ручаться за точность, но, по слухам, Альваресу удалось выжить**, и он потом был, ни много ни мало, министром морского флота на Кубе. Об этом мне рассказывал в Магадане знавший Альвареса капитан Леонид Журавский, с которым я когда-то плавал на пароходе «Ингул», мы оба в то время ещё были матросами.

С Юрием Константиновичем Хлебниковым мы сидим в подвале водного отдела четыре дня, потом нас обоих конвоируют во Владивостокскую тюрьму. Там мы просидим ещё месяца полтора в 41-й камере.

Однажды ночью за ним приходят. Он подбадривает меня:

– Мы ещё встретимся!

«Встретились» мы, кажется, в 1961 году на 329-м километре колымской трассы. Там ушла под воду машина нашей старательской артели. Старатели сидели на берегу, сушили одежду. Мимо проезжала почтовая машина из Магадана, затормозила возле нас. Почтовики дали нам пачку газет и журналов. Развернув «Огонёк», я увидел фотографию – атомоход «Ленин», где капитаном был Павел Акимович Пономарёв. С ним рядом стояли опытные полярные судоводители Шар-Баронов и Хлебников. Тот самый Юрий Константинович

* По словам работавшего с Альваресом В.Ф. Скорупского, «арестован Альварес был через рейс... Привязывать арест к спасательным работам, вроде, не приходится, хотя бы потому, что другие два капитана-испанца были арестованы тоже». (Другие два капитана-испанца – это Рохелио Эрнандес и Эскудеро Монтилья. Ещё одного моряка-испанца, который плавал в годы войны на судах Дальневосточного пароходства, арестовать не успели: старший механик парохода «Генерал Ватутин» Хосе Торида погиб при взрыве судна в бухте Нагаева 19 декабря 1947 г.). В обнародованных в Интернете (<http://law-znatock.ru/docs/index-2514.html>) протоколах допроса Альвареса и постановлении (Дело № 830 Следчасти по Особо-Важным ДелаМ МГБ СССР) «разговор с американцем» не упоминается, осужден Альварес за «шпионаж».

** И.Л. Бухановский рассказывал, со слов Альвареса, с которым встречался в Москве, что тот на севере заболел туберкулёзом. «После смерти Сталина его перевели... в дом инвалидов... Через некоторое время ему вышла реабилитация» (реабилитирован определением военной коллегии Верховного суда СССР от 1 сентября 1956 г.). В Москве он «работал на Всесоюзном радио в отделе иновещания, в редакции, делающей передачи на испаноязычные страны, контролёром, проверял точность перевода». Затем Альварес работал в пароходстве на Кубе и морским представителем Кубы – сначала в Роттердаме, потом в Испании. В 1969 г. был репатриирован, то есть ему было возвращено испанское гражданство.

Хлебников. А потом именем капитана Хлебникова было названо судно и, мне говорили, какой-то арктический остров*.

А оперуполномоченного Красавина я больше не встречу никогда. Со временем он станет начальником отдела кадров Дальневосточного пароходства. После восьми с половиной лет колымских лагерей, живя надеждой снова выйти в море, я вернусь во Владивосток, собираясь явиться в пароходство за назначением. И когда узнаю, от кого оно зависит, и пойму, что встречи с этим человеком не избежать, я не смогу преодолеть отвращения к нему и предпочту навсегда оставить город моей молодости.

Надежды, ещё теплившиеся в подвалах водного отдела, отчасти поддерживаемые Юрием Константиновичем Хлебниковым, окончательно оставили меня при переводе во Владивостокскую городскую тюрьму. В подвалах я ещё был раздосадован тем, почему так долго разбираются с моим делом. Это же абсолютно ясно, что я не сделал Советской власти ничего плохого. Схватив меня, заталкивая в машину, меня явно с кем-то перепутали. Товарищ Красавин! Извините – гражданин следователь. Я перед вами как на ладони. Вы ошиблись. Принимаете меня за кого-то другого, а я перед страной ни в чём не виноват. Даже в мыслях!

Я произношу такие монологи мысленно, особенно по ночам, ворочаясь на нарах. Но когда тебя ведут из подвала в автомобиль для перевозки заключённых – «воронок», направляющийся в тюрьму, понимаешь полную беспомощность перед надвигающимся на тебя чем-то неотвратимым и страшным.

Прибывших в городскую тюрьму на несколько дней помещают для обследования в «карантин». Я совершенно и даже слишком здоров. Отчасти по этой причине происходит инцидент, после которого обо мне заговорила тюрьма. А дело было так.

Я сидел в камере, мучаясь неизвестностью – что будет дальше? В зоне два корпуса: уголовников-бытовиков и политических. Хотя это разграничение нигде полностью не соблюдалось, подавляющую часть «населения» каждого корпуса всё же составляли те, для кого он предназначен. Сижу и думаю, что делать, как достучаться до кого-нибудь, ещё способного слушать. И тут в камере между мною и тремя сидевшими произошла драка. Камеру открыл старший надзиратель Мельник. И попросил меня выйти в коридор. Я вышел. И тут же тяжёлой связкой тюремных ключей он ударил меня в лицо – шрам сохранился до сих пор. Для меня самого было неожиданным, что моя инстинктивная ответная реакция окажется такой силы. Когда подскочили другие надзиратели, они кинулись не ко мне, а к отлетевшему в угол Мельнику, хлопоча над ним и стараясь привести его в чувство. Меня ведут к начальнику тюрьмы Савину. Он и его офицеры поражены наглостью – заключённый! сворачивает скулу! старшему надзирателю! Случай для тюрьмы редчайший. Они даже не бьют меня, только рассматривают удивлённо.

Я оказываюсь в изоляторе. Дня через два, после полуночи, меня выводят из изолятора, через дворик ведут в другой корпус. Полная тишина, слышен только железный лязг открываемых передо мной зарешеченных дверей и наш топот по бетонному полу. Из какой-то камеры доносятся отчаянные выкри-

* Остров Хлебникова (в архипелаге Известий ЦИК) – открыт в 1933 г. самим Хлебниковым, тогда же назван по его фамилии. В заливе Русская Гавань на о. Северном есть мыс Хлебникова – назван в 1930 г. экспедицией ВАИ, доставленной на Новую Землю ледоколом «Г. Седов», где Хлебников был тогда старшим помощником у капитана Воронина.

ки: «Ле-е-е-нин!», «Ста-а-а-лин!», «Ле-е-е-нин!», «Ста-а-а-лин!»... Сливаясь с гулкими звуками наших шагов, приглушённые крики давят на душу своей неуместностью и безумием. Даже сейчас, когда прошло уже столько лет, они стоят у меня в ушах – «Ле-е-е-нин!», «Ста-а-а-лин!»

Меня приводят в камеру. В ней три узкие кровати. Одна под зарешеченным окном, две другие вдоль стен слева и справа. Под окном сидит человек с наброшенным на плечи одеялом, обхватив руками колени. Другой, слева от меня, дремлет или спит. Я негромко здороваюсь. Ничего не услышав в ответ, сажусь на свободную кровать. Рядом на тумбочке шесть алюминиевых мисок. Суконное одеяло пахнет папиросным дымом и потом. Собираюсь лечь, как вдруг человек под окном начинает визгливо, нервно лаять. Мне казалось, я не из робкого десятка, но тут стало страшно. Опускаю с кровати ноги и в этот момент вижу, как спавший на другой кровати, разбуженный лаем, сползает на бетонный пол и шумно трясётся, подбрасываясь всем телом, словно под ним вибратор. А лай продолжается. Фантасмагория какая-то! Мне не по себе. Чтобы приблизиться к двери, надо перешагнуть через бьющегося в припадке, а я не могу себя заставить это сделать. Хватаю миски, оказавшиеся под рукой, и начинаю с силой швырять одну за другой в железную дверь, надеясь грохотом привлечь внимание надзирателей. На шестом броске отворяется кормушка:

– Чего шумишь?! – спрашивает надзиратель.

– Тут что-то непонятное! – пытаюсь объяснить.

– Чего тебе непонятно? Один сошёл с ума, другой припадочный... Спи!

Я не думаю, что миски предназначены для срочного вызова надзирателя, но другой их функции обнаружить не удаётся, и я мысленно благодарю администрацию тюрьмы хотя бы за такой способ связи с нею. Под дикий собачий лай и под трясучку соседа провожу эту ночь.

Утром новая смена надзирателей уводит меня в корпус для политических, поднимает на второй этаж и помещает в камеру с табличкой «41».

Это замечательная камера – вроде все нормальные.

На три узких кровати шесть человек – спят по двое. Народ разношёрстный, большинство связано с морем. Есть морские офицеры, этапированные из Порт-Артура, Харбина, Дальнего. Помню командира подводной лодки Диму Янкова. Как сюда попал? Говорит, слушал «Голос Америки», а командир другой подлодки донёс. По шесть лет получили оба. Он потерял погоны, работу, семью – всё! Мы с ним просидели вместе почти месяц. Года три спустя снова встретились на Колыме, в лагере Перспективном на концерте Вадима Козина, но рассказ об этом впереди.

В камере мы говорим о книгах, прочитанных когда-то, в другой жизни. Единственное развлечение в тюрьме – книги и домино.

Совсем равнодушен к домино Ли Пен Фан, чудесный кореец лет тридцати двух, очень образованный человек. Он свободно владеет английским, японским, корейским, а на русском говорит с той прекрасной чистотой и певучестью, как говорят со сцены Малого театра. Его кумир – Пушкин. Нашему Ли шьют шпионаж. Когда меня уводили, он ещё оставался в камере, и сколько я ни пытался потом узнать о его судьбе, выяснить что-либо не удалось.

В этой же камере через небольшой промежуток времени я просижу ещё месяц-полтора с Хлебниковым. Его вызывали на допрос почти каждый день.

Помню Дормидонтова, старшего радиста с теплохода «Ильич». Лет пятидесяти, с бородкой клинышком, в пенсне. Его история проста. Теплоход стоял

в китайском порту, Дормидонтов на спардеке наблюдал за погрузкой китайских станков и в кругу моряков усмехался: «Так вывозить нам ещё лет на десять хватит...» Ему дали шесть лет.

В камеру просачиваются новости. Оказывается, посадили Костю Семёнова, тоже 58-я статья. Задержали штурмана Ваську Баскова.

В китайском порту Дайрен мы после ресторана возвращались на пароход на рикшах – там не было другого транспорта. Подвыпивший Васька норовил вырваться вперёд, погонял своего бедного рикшу, ему кричали: куда гонишь человека, ты же без пяти минут в партии! Кто-то из моряков донёс – не сам же рикша! – и Васька был объявлен буржуазным разложением.

Неожиданно мне с воли приносят передачу. Ломаю голову, от кого бы это могло быть. В пакете сухари, масло, конфеты, сушки. И папиросы «Пушка», хотя я не курил. Оказалось, передача от Риты Спартак. Рита – дочь известного владивостокского адвоката, подруга сестры Джермена Гвишиани, отец которого возглавлял краевое управление МГБ. Она была тонкой натурой, музыкально одарённой и при первом знакомстве спросила, нравится ли мне Шопен. «Нет!» – с бравадой ответил я. Её глаза округлились. С тех пор каждый раз, когда я приходил к ней домой, она звала маму: «Посмотри, это тот Вадим, которому не нравится Шопен!» И вдруг – посылка... Разумеется, передача Риты в тюрьму никак не намекала на попытку её отца-адвоката или кого другого вытащить меня отсюда, за этим поступком не было ничего, кроме женской жалости.

Прошло четверть века, я давно уже был на свободе. Оказавшись по делам в Хабаровске, от друзей узнал, что где-то здесь живёт Рита. Мы нашли адрес. Дверь открыла незнакомая женщина. «Простите, здесь живёт Рита Спартак?» – «Я Спартак...» – сказала женщина. Я всматривался в её лицо и думал, как неловко, что сразу не признал Ритину маму. «Я Спартак, – повторила она. – Рита Спартак». Это была Рита. Я не знал, что так изменило её милое молодое лицо, старался ничем не выдавать изумления, и для меня до сих пор тайна, как за четверть века повернулась её судьба, – мне она ни слова не сказала. От неё я узнал, что её подруга Жанна Гвишиани, с которой я тоже был знаком, умерла от сахарной болезни.

В нашем владивостокском кругу беда обошла стороной только двоих – Джерика Гвишиани и Виктора Николайчука.

Знакомый нам Джерик Гвишиани, сестра которого дружила с Ритой Спартак, уехал учиться в Москву и со временем стал известен как академик Джермен Михайлович Гвишиани, видный советский философ, критик буржуазной социологии, заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике. Он женился на дочери А.Н. Косыгина, но даже и без этого родства, я уверен, он сам по себе способен был многого добиться. Мне неловко, что когда-то в молодости во владивостокском клубе НКВД из-за какой-то ерунды мы схватили друг друга за грудки и я, кажется, был неосторожен в обращении с ним. Если эти строки попадут Джермену Михайловичу на глаза, пусть он воспримет их как моё запоздалое извинение.

Виктор Николайчук был штурманом. Мы подружились ещё подростками, вместе учились, проводили время в одних компаниях. После возвращения «Емельяна Пугачёва» из заграничного плавания заместитель начальника политеуправления пароходства Раскатов предложил мне выступить в Дальневосточном политехническом институте с разоблачением американского образа жизни. Я нашёл причины отказать. Как-то с друзьями мы ус-

ловились встретиться в ресторане «Золотой Рог», Витька попросил заехать за ним в Политехнический.

Я вошёл в актовЫй зал и замер: на трибуне стоял Николайчук и громил американские нравы. «Витька, – спросил я, когда мы вышли на Ленинскую, – зачем ты врал?» Он смотрел на меня с удивлением: «Почему «врал»?! Я говорил, что положено!» Мы вскочили в трамвай, доехали до ресторана, но в наших с Витькой отношениях что-то надломилось.

В 1977 или 1978 году Владимир Высоцкий познакомил меня со своим приятелем Феликсом Дашковым. Дашков был капитаном теплохода «Белоруссия». Мы сидели в моей московской квартире. А так как Феликс когда-то работал в Дальневосточном пароходстве, у нас оказалось много общих знакомых. Перебирая их фамилии, я назвал Николайчука. «Как его зовут?» – спросил Дашков. – «Витька...» – «А ты знаешь, кто он сейчас?» – «Нет...» Тогда-то я и услышал от Феликса, что друг моей юности, оказывается, заместитель министра морского флота СССР. Феликс дал мне его рабочий телефон. Высоцкий просил меня пока не звонить, подождать его возвращения: он улетаЛ в Париж, а ему хотелось услышать, как большой советский начальник отнесётся к звонку старого друга, прошедшего через колымские лагеря.

Дней через десять я не выдержал и позвонил.

Трубку сняла секретарь замминистра. «Кто его спрашивает?» – «Скажите – Туманов...» Слышу в трубке бархатистый, самоуверенный, вопроситель-ноначальственный голос, каким говорят люди, осознающие свою значительность: «Да-а-а?» Это произносят с особой интонацией, которая позволяет, в зависимости от ситуации, сразу перейти на официальный тон или, напротив, дружеский. – «Скажите, вы тот Николайчук, который плавал на «Новгороде»?» Последовала пауза, и я продолжил: «Вам фамилия Туманов ничего не говорит?» Новая пауза затянулась. – «Вадим?» – «Да...» – и жду, что сейчас услышу: где ты?! Хватай машину! Или иначе: стой на месте, я бегу к машине, сейчас буду!

А трубка молчит, я уже ругаю себя за этот звонок, и говорю, извиняясь: «Мне капитан Дашков дал ваш телефон...» – «Знаю Дашкова, мы вместе в Генуе были...» И опять молчание. «Ну, зачем ты позвонил?» – клянУ я себя. «Вот номер моего телефона, – говорю, – я завтра улетаю. Если у вас будет желание, позвоните». – «Я тоже завтра улетаю», – с облегчением говорит заместитель министра. Меня всего трясло.

Когда вернулся Высоцкий, я передал ему разговор с Николайчуком. Володя выругался:

– Он, наверно, подумал, что ты только что освободился, стоишь в телегрейке и в сапогах на Казанском вокзале, захочешь переночевать или попросишь четвертак на дорогу... Я очень хотел бы его увидеть!

Высоцкому не пришлось с ним встретиться – пришлось мне, причём при неожиданных обстоятельствах.

Я уже забыл о неприятном эпизоде, когда в 1997 году меня, президента компании «Туманов и К°», приглашают в подмосковный санаторий на встречу ветеранов Дальневосточного пароходства. В холле множество людей в орденах и медалях. Басков Василий, рядом – Николайчук. Злость охватила меня, я иду напрямик к нему:

– Как же тебе, Витька, не стыдно! – говорю. – Мы же с тобой выросли вместе, одну рубашку, одну куртку носили по очереди...

Николайчук покраснел:

– Пойми, у меня сидели другие замы, я не мог продолжать разговор...

Но я уже не могу остановиться:

– Ты забыл, какие мы были в молодости. Теперь ты замминистра. Ну и что?! – и пересказал ему картинку, нарисованную Высоцким: – Ты, наверное, думал, что я звоню с вокзала и буду просить четвертак?

– Что ты, Вадим. У меня твоя фотография, я всегда помню тебя и ребят.

Потом он действительно передал мне фотоснимок, на котором по-приятельски сидят два молоденьких штурмана – он и я. Кто тогда знал, какими разными окажутся наши судьбы.

Прошло ещё три года. Время от времени мы с Витькой перезваниваемся и изредка видимся. Он уже не замминистра, вышел на пенсию.

– Как здоровье, Витя? – спрашиваю я.

– Глаза, Вадим, отказывают – слепну.

– Поедем к врачам.

– Ну что ты, Вадим. Я из своей комнаты давно никуда не выплываю...

Первым следователем по моему делу был капитан госбезопасности Фролов. Невзрачный, хитроватый человек, запомнившийся мне своими вопросами, как бы случайными, не имевшими никакого отношения к истории мошенничества, к которой меня решили сделать причастным. Обвиняемым в подделке документов для получения груза был Костя Семёнов, с которым мы вместе плавали на «Ингуле» и на «Емельяне Пугачёве». Мое знакомство с Костей давало основание следствию обвинить меня в соучастии. Был ли я на самом деле соучастником, знал ли о подлоге и не сообщил – это называлось тогда недоносительством – или как-нибудь иначе был причастен – детали, которые для обречённого уже не имели значения.

На суде я был в ярости. Когда человек украл метлу и его за это судят, ему обидно, что попался, но винить некого, кроме самого себя: пусть наказание неадекватно проступку, ему хотелось бы получить срок поменьше, но он знает, что метлу-то он украл. Он не злится ни на следователя, ни на существующую власть. Но если он не украл метлу и знает, что не виноват, а его обвиняют, в человеке ненависть ко всему и ко всем.

Допросы не предвещали ничего плохого. Следователь Фролов между прочим спрашивал, действительно ли я говорил в кругу друзей, будто люблю Есенина, и правда ли, что насмеялся над Маяковским. Да, признавался я, мне и сейчас нравится первый и я не понимаю второго.

– Маяковский был и остаётся лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, – смотрит на меня Фролов. – Вам знакомы эти слова? Правда, что вы отказались осудить перед студентами американский империализм, как вас просило Политуправление пароходства? И даже утверждали, что в Америке хорошо?

– Вы это и сами знаете, гражданин следователь.

– А в Дайрене вы ездили на рикшах?!

– Там все на них ездят, больше не на чем.

– А вы не подумали, что, эксплуатируя бедного китайского рикшу, вы подрываете основы интернационализма?

– Я же ему заплатил!

Иногда нервы не выдерживают, я срываю злость на надзирателях тюрьмы. И снова изолятор. Там можно встретить весьма колоритные фигуры. Мне за-

помнился владивостокский вор Володька Лопухин, по кличке Лопоухий, лет сорока. Я не встречал людей, которые бы так страдали без курева. Он часами мог просить у надзирателя: «Дай покурить!» Однажды, желая хоть как-то привлечь к себе внимание и выпросить курева, он пришел пуговицы на голый живот. Надзиратель посмотрел и сказал: «Ты лучше себе член пришей!» И захлопнул кормушку. «Ладно!» – сказал Лопоухий. Сделав то, что предложил надзиратель, снова постучал. Когда тот увидел его «работу» – просто одурел. У него отвисла челюсть. Лопоухий сработал на совесть. Надзиратель полез в карман, бросил в окошко полпачки смятого «Прибоя»:

– На, кури!

А время идёт.

Суд над нами с Костей объявляют закрытым, кроме обычных участников заседания и нас, обвиняемых, в комнате никого. Боясь, что на меня не наберётся обвинений для статьи 58-10, следователи притащили меня к делу, к которому я вообще не имел никакого отношения. Я сейчас не помню в точности, но речь шла о том, что я передал Володе Овсянникову, штурману другого парохода, какой-то бланк, который, оказывается, кто-то использовал не по назначению. Единственное, что было ясно мне и, наверное, всем участникам судебного заседания, так это старание следствия во что бы то ни стало, под любым предлогом посадить меня. По этому делу прокурор просил дать мне шесть лет, как и Косте Семёнову. Но поскольку я говорил грубо и на повышенных тонах, судья мне дал пятнадцать и распорядился вывести из зала. Я никогда не считал себя виновным по этой статье. Поэтому, получив буквально через несколько дней по статье 58-10 восемь лет, я никогда не обращался с просьбой о пересмотре того дела. Костя Семёнов из лагеря писал ходатайства, и его освободили «за отсутствием состава преступления».

Запомнилось, как судья меня спросил: «Почему с такими настроениями вы вступали в комсомол?» Я ответил: «Теперь, сидя в тюрьме, понимаю, что был молод и глуп...»

Вскоре после суда нас перевозят под Владивосток, где в районе Второй Речки за несколькими рядами колючей проволоки известная пересыльная тюрьма № 3/10. Эти два слова «три-десять» хорошо знал весь Восток Союза. Для десятков тысяч людей именно отсюда начиналась дорога на Колыму.

Уже в первые дни, попав в барак, я услышал смешные и грустные рассказы об истощённом до предела полубезумном поэте, который здесь сидел лет десять назад, то есть в 1939 или 1940 году. Потом на Колыме я встречу среди солагерников Пичугина, Мамедова – оба до ареста были партийными работниками высокого ранга – и Еськова, когда-то командира Красной Армии, об этих троих рассказ впереди. Они прошли через «три-десять» в конце тридцатых годов и уверяли, что в их бытность на пересылке лагерная прислуга, ссученные, с ведома администрации утопила странного поэта в уборной. Мне неприятно об этом писать, тем более, что никто из них сам тому свидетелем не был, только слышал от других, а легенд и мифов в зонах бытует достаточно. Но я решаюсь предать бумаге, что слышал. Имя того поэта было – Осип Мандельштам.

В воспоминаниях Н.Я. Мандельштам содержатся свидетельства о смерти поэта в лагерном лазарете Второй Речки от тифа. Но никто из свидетелей, как верно замечала вдова, не закрывал Осипу Эмильевичу глаза и не хоронил, потому истиной на самом деле может быть любая версия. Один бывший ко-

лымский зэк пытался утешить Надежду Яковлевну: «Осип Эмильевич хорошо сделал, что умер, иначе он бы поехал на Колыму».

Расскажу, какой я увидел пересылку «три-десять» на Второй Речке в начале 1949 года. В зоне было множество бараков. Трудно даже примерно подсчитать, сколько в них могло находиться людей. Тем более, что долго здесь не задерживались. Подобная пересыльная зона в Ванино вмещала до 30 тысяч человек. В «три-десять», я думаю, осуждённых содержалось единовременно меньше, но бараки постоянно были переполнены, по преимуществу – направляемыми на Колыму.

Основали пересылку в 1931-32 годах, когда начиналась отправка осуждённых в леса и на шахты «Дальстроя». В мою бытность на пересылке хозяйничала команда известного в прошлом вора – ссученного Ивана Фунта и его подручных, помогавших администрации обеспечивать в зоне порядок, как они его понимали. С новичков снимали сохранившиеся и ещё не потерявшие вид вещи. Команда ссученных контролировала работу лагерной кухни, передачи, денежные переводы.

Иван Фунт числился комендантом пересылки. Впасть в немилость к нему или к его подручным было страшнее, чем навлечь на себя гнев лагерного начальства. У администрации, измывавшейся над заключёнными, ещё могли быть какие-то внутренние тормоза. Хотя бы проблески мысли о своей семье, о детях, о карьере, наконец. Комендант и его команда сомнений не знали. Это была созданная лучшими умами госбезопасности крепкая рука, наводившая ужас на заключённых. При этом создавалась иллюзия неосведомлённости чекистов о произволе, чинимом в зонах как бы без их ведома. И даже когда головорезы устраивали кровавые оргии в присутствии администрации, многие заключённые продолжали верить, что лагерное начальство хотело, но было бессильно их остановить. Не знаю, где появились первые зондеркоманды, в фашистской Германии или сталинском Советском Союзе, но их создание, бесспорно, было дальновидным и по-своему замечательным изобретением системы перемола личности.

Фунт был среднего роста, очень крепкий, почти без шеи – бритая голова, казалось, как чугунный шар циркового артиста, тяжело перекачивается по плечам. Неподвижными оставались только глаза, пронизывающие человека насквозь, до дрожи всех внутренностей. На вид ему было 43-44 года. Я ни от кого не слышал его настоящего имени. Уголовный мир знал этого страшного человека только под кличкой Фунт. В прошлом вор, он где-то был сломлен, стал первым помощником администрации лагерей. Когда он начал принуждать воров переходить на сторону администрации, ссучиваться, в зонах произошло много крови. Я не видел, чтобы он сам кого-то тронул пальцем, но достаточно было еле заметного прищура глаз или слабой усмешки, как его команда со сноровкой натасканных охотничьих псов бросалась на очередную жертву, не успокаиваясь, пока не разорвёт на части.

Я познакомился с Фунтом в бараке. Возможно, я сделал что-то не так, уже не помню в точности, кажется, просто где-то замешкался, как вдруг Колька Заика, ближайший подручный Фунта, сильно ударил меня ногой в пах. Я не успел увернуться, удар был болезненный, но, когда я машинально попытался нанести ответный, он отскочил в сторону, а его приятели вместе с надзирателями бросились на меня, ещё скорченного от боли. Это я потом понял, что в зоне ты попадаешь в стадо, у тебя нет права защитить себя или хотя бы что-то

возразить. Ты никто, тебя могут бить, убить. Остаётся примириться с мыслью, что ты уже не человек. Только это осознание может продлить твоё физическое существование.

Начальник отдела борьбы с бандитизмом Мачабели как-то, отвечая на вопросы заключённых, которые спросили его: «Что вы делаете – стравливаете воров с суками, с беспредельщиками? То же и сейчас устраиваете в бараках, зная, что может получиться резня», – с грузинским акцентом ответил: «Знаете поговорку: «Жили-были два бик, белый бик и чёрный бик, всё разное – цвет разный, характер разный. Вот, понимаешь, живут год, живут пять – или характер меняется, или цвет меняется». Находясь иногда в обществе, которое было мне отвратительно, я не раз вспоминал французскую поговорку, от которой меня коробило: «В стране горбатых жить – горбатым быть. Родись или кажись».

В руках налетевших на меня были палки, я почувствовал удары по голове и по плечам. Но не успел хоть как-то прикрыться, как навалившиеся на меня расступились. Я увидел Фунта.

– В чём дело? – спросил он.

Ему рассказали. Он приказал меня больше не бить, а мне – зайти к нему. Фунт располагался в конце барака в отдельной комнате. Сидя на кровати, жестом указал мне на табурет, я присел. Его телохранители остались в коридоре.

– Значит, моряк? И боксом занимался?

Откуда он знает обо мне? Слух ли прошёл, или секретный отдел лагеря, знакомясь с делами заключённых, информирует Фунта о новичках, к которым стоит присмотреться?

Я кивнул. Мне не запомнилось, какими в точности словами он выразил предложение, смысл которого не вызывал сомнений. Фунт предложил войти в его команду и прожить назначенные судом годы хозяином своего положения, у которого не будет другого начальства, кроме как Иван Фунт. Хочешь, говорил он, будешь нарядчиком, хочешь – заведуй столовой. Чугунный шар остановился, и я ощутил, как в меня проник ожидающий взрывоопасный взгляд. Что-то неистребимо сидело во мне, мешая пойти в услужение к кому бы то ни было. Тем более – к лагерному начальству. В моих глазах это была та же власть, которая меня посадила.

– Спасибо, но я не могу этого сделать, – сказал я.

– Ты что?! – удивился Фунт.

– Мне непонятно, как это люди идут служить тем, кто их осудил.

Он на меня смотрел как на ненормального.

После этого разговора я ушёл этапом в бухту Диомид. Там в горах располагался лагерь строгого режима, где заключённые с утра до ночи разбивали кайлами камни и по узким тропам таскали тяжёлые носилки к морю.

Я думал, что больше не увижу коменданта «три-десять». Но судьба распорядилась иначе. С Иваном Фунтом мы встретимся в Ванино перед тем, как в колонне заключённых я буду подниматься по трапу на палубу «Феликса Дзержинского», увозившего наш этап на Колыму.

Но перед отправкой в Ванино кое-что ещё произошло.

Надо бежать! Как-нибудь, куда-нибудь, но бежать, бежать, бежать – только эта мысль, одна она занимала и переполняла моё существо.

Бухта Диомид окаймлена горами. С палубы судов, проходящих мимо или бросающих якорь на рейде, открывается панорама изрезанного берега.

Токаревский маяк на горе виден с территории зоны. Каким желанным он мне казался с мостика, когда мы проходили мимо, поглядывая на вечерние проблесковые огни. Они предупреждали о подводных камнях, помогали определить место корабля по пеленгам и обещали скорую панораму Владивостока. Но когда после светового дня на каменоломне я брёл в строю по вечерней зоне с отяжелевшей спиной, стараясь не слышать ни крики охранников, ни лагерьных собак, белый маяк неуместно напоминал о прошлой жизни, оставшейся где-то бесконечно далеко. Как же это я раньше не ценил простое счастье – глотать солёный ветер и через короткие промежутки времени наблюдать яркие вспышки маяка?! Теперь белую башню я вижу с обратной стороны, через перепаханную охранную полосу, через каменную стену и три ряда колючей проволоки. На нарах, рядом с тремя сотнями заключённых, таких же обессиленных, голодных, злых, слыша гудки пароходов, плывущих мимо, навстречу портовым огням, я чувствовал, как подкатывают приступы бешенства: за что мне это всё?!

Это трудно представить – когда ты молодой, всё у тебя хорошо, и вдруг в какой-то момент ты оказываешься в подземелье, а совсем рядом, как вчера, проходят люди, несутся автомобили, гудят проплывающие мимо маяка теплоходы. А ты в двух шагах от маяка, сидишь в зоне, утром и вечером одно и то же – разводы, проверка... Не двадцать пять лет, а год, месяц выдержать почти невозможно. Это что-то страшное.

В череде однообразных дней, в грохоте кайл, ломов, лопат, в клубах пыли, когда после четырёх-пяти часов в каменоломне ходьба с носилками по тропе казалась отдыхом, почти блаженством, случилась встреча, о которой я потом долго вспоминал.

Однажды вечером, когда конвой вёл нашу бригаду из каменоломни в зону, наш путь пересекла парочка, возвращавшаяся от берега в посёлок. Он в мичманке и в модном тогда среди штурманов чёрном макинтоше английского покроя, а юная блондинка – в вельветовой куртке. Когда, обнявшись и не обращая внимания на колонну заключённых, они приблизились к нам, я узнал моего приятеля Мишку Серых. Он жил по соседству с Костей Семёновым, мы часто вместе проводили время и проходили штурманскую практику на одной палубе. Его отец был репрессирован в 1937-38 годах, и в Мишке постоянно жил страх, что в какой-то момент ему могут бросить в лицо: «Сын врага народа!» Зная об этой его уязвимости, я не хотел смущать его окликом, обнаружить его связь с арестантом. Пусть себе прогуливается. Но, когда они поравнялись со мной, меня сразила мысль, что это, быть может, последний мой знакомый из прошлой жизни, встреченный перед отправкой, скорее всего, на Колыму, и я не выдержал.

– Мишка-а-а! – Парочка обернулась. Задержала шаг колонна, конвоиры защёлкали затворами, но, убедившись, что угрозы порядку нет, быстро пришли в себя.

– Что, знакомый? – подходит ко мне старший конвоя.

Я молчу, предоставив Мишке право решать, знакомы мы или нет.

– Вадим?! – Мишка стремительно направляется ко мне. Его останавливают.

Между нами стенкой конвоиры. Мишка уговаривает старшего разрешить передать мне что-нибудь. То ли осанка штурмана расположила конвоиров, то ли присутствие девушки – но на виду у всей колонны Мишка достаёт из своих карманов деньги, сколько их там было, и – это было невероятно! – пере-

даёт мне через конвоиров вместе с пачкой сигарет, хотя знает, что я не курю. Пожать друг другу руки нам не дают.

Сколько я ни оборачивался, Мишка и его девушка стояли, не двигаясь, помахивая нам, пока колонна не скрылась за сопкой.

Потом Мишка Серых стал известным на Дальнем Востоке капитаном. Его судно типа «Либерти» шло из Канады груженное пшеницей. Во время шторма судно почти раскололось надвое, но Серых и его экипаж всё-таки привели пароход в порт назначения. Он стал Героем Социалистического Труда. Мы с ним больше не встречались.

Я пишу эти строки, когда Михаила Серых уже нет в живых. Но пусть хотя бы на небесах Мишка знает, что настоящим героем в своей памяти я его числю с нашей последней минутной встречи весной 49-го в бухте Диомид – между каменоломней и лагерем.

Мысль о побеге не оставляет меня, но конкретного плана не придумывается. В бараке моим соседом по нарам оказывается Толя Пчелинцев, осуждённый на 15 лет, не помню за что. С ним мы бьём камни и «повязаны» одними носилками. Стоит одному споткнуться, как камни обрушатся на другого. Мы друг друга не подводим, хотя спускаться приходится под дождём, в слякоть, когда вязкая глина плывёт под ногами. По ночам, лёжа рядом, мы подолгу разговариваем. Ему лагерь тоже неведомо, он тоже решил бы бежать – был бы случай. Мы не подозревали, что возможность появится раньше, чем ожидали, но использовать шанс не удастся.

Март ветреный и холодный. С моря низко плывут кучевые облака, почти цепляясь за сторожевые вышки, за крыши бараков. Сырой воздух вместе с каменной пылью не втягивается, а скрипуче вталкивается в грудь. Пыль забивает нос, уши, глаза, путается в волосах, оседает на шее, и мы радуемся ливню, когда можно подставить лицо под холодные струи воды.

В один из таких дней нас с Толей посылают переносить из сарая в каменоломню кайла и лопаты в сопровождении начальника конвоя. Мы метрах в шестидесяти от карьера, где за пыльной завесой заключённые стучат ломami по камням. Поблизости двухэтажные дома. Я вижу женщину: поднимает из стоящего на табуретке жестяного тазика бельё, выкручивает и, привстав на носках, развешивает на верёвке, закрепляет прищепками. В голове моментально просчитываются расстояния от склада до нашего охранника, затем от него до посёлка и до каменоломни. Намётанный глаз быстро оценивает окружающее пространство. На десятки шагов ни одного автомата, кроме того, что на груди у нашего конвоира. Мы с Толей переглядываемся и понимаем друг друга. «Рвём?» – «Давай». Мне нужно, проходя мимо конвоира, одним рывком оказаться с ним лицом к лицу, поймать автомат левой рукой, правой ударить его, а затем обоим рвануть в разные стороны к лесу. Что делать дальше, видно будет, а пока – бежать!

Оказавшись близко от конвоира, я вижу, как он сосредоточенно что-то ищет в карманах. У меня в животе похолодело – пора! Я прыгаю к нему, но сильно ударяюсь пальцами об автомат – потом с месяц болела вся рука. Всё же удаётся схватиться за автомат и нанести удар.

Но в моей памяти резче не эта моментальная сценка, а табурет с тазиком и безумный крик испуганной женщины. Мы, как условились, кинулись в разные стороны, но через десять-двенадцать прыжков я запутался в витках проводов на земле. Падаю, меня настигает конвой.

Не видел, как и чем меня били, – пришёл в себя на вторые сутки в изоляторе.

Я сильно, очень сильно избит, но, очнувшись, с радостным удивлением обнаруживаю, что все зубы целы! Это невероятно. Зубы оказываются прочнее всех частей тела. Бывало, меня били прикладом по голове, иногда так, что голова, казалось, отлетала в сторону, но зубы в хрящевых окопах стояли насмерть. Уже не осталось ни волос, ни ума, а зубы – тьфу-тьфу! – до сих пор целы.

Толе удаётся убежать, но потом и его ловят. Некоторое время спустя при очередной попытке бежать его застрелили.

Попытка побега наделала много шума. В лагере сильно ужесточилась охрана заключённых. Через две недели я уже в силах передвигаться, и меня возвращают из Диомида снова на пересылку «три-десять». Ивана Фунта и его команды уже нет, её препроводили наводить порядок в других лагерях, а здесь хозяйничала новая комендатура, с такими же повадками, как прежняя. Узнать её поближе я не успеваю. Через несколько дней большой группе заключённых, человек восемьсот, приказывают собираться с вещами.

Во время сборов я знакомлюсь с Колей Федорчуком по кличке Хохол. Известный вор, он уже побывал на Колыме, каким-то чудом вернулся на материк, но снова попался и теперь собирался в лагерь «Дальстрой» во второй раз. Федорчук рассказал историю, которая давала представление о том, куда нас отправляют и что нас ждёт. То, что он мне рассказал, знало довольно много людей, с которыми я встречался в лагерях на Колыме.

Это случилось в районе лагеря Бурхалы Северного управления. Федорчуку оставалось месяца четыре до освобождения, он работал в дорожном управлении, там бесконвойники вели ремонт дороги. Однажды зимой, проходя лесом, он услышал стон. В зимние месяцы для мертвецов не копали могилы: слишком трудно долбить мерзлоту. Трупы складывали в короба на лыжах, по пять-шесть тел в короб, вывозили за зону и оставляли в лесу. Часто в короба бросали и тех, кто ещё дышал, но кому жить явно оставалось несколько часов – диагноз ставил «лепило», как называли лагерного врача. Иногда тело подтаскивали к коробу, а человек хрипит: «Я ещё живой!» А ему в ответ: «Молчи, падла, лепило лучше знает!»

И вот Коля, проходя мимо снежного завала, слышит стон. И видит едва не мертвеца, но всё-таки живого. Человек был почти невесом, и Коле ничего не стоило взять его на руки и потащить к себе в домик. Там вместе с товарищем они вернули доходягу с того света. Продукты они добывали обычным в тех краях способом: выходили на трассу к Бурхалинскому перевалу, по которому поднимались машины с продовольствием по пути от Магадана до Индигирки. Поравняется машина с укрытием – Коля или его приятель прыжком окажется на дороге, зацепится за машину, взберётся в кузов и сбросит на дорогу мешок сечки или сахара – что везут. Скоро машины с продовольствием стал сопровождать конвой.

«Ещё бы сала, мы бы горя не знали!» – вздыхал Коля. Принесённый им из тайги человек мало-помалу откормился, вместе с ними стал строгать черенки. Самое трудное было, говорил Коля, найти ему очки. Он не мог обходиться без них, сильно страдал, а нужны ему были не какие-нибудь очки, а с разными диоптриями. На Колыме тогда легче было раздобыть десять паспортов, чем одни очки.

И вот пришла пора Коле освобождаться и уезжать на материк. «Послушай, ты же списанный, никому не нужный, никто тебя не ищет. Я найду тебе паспорт, и езжай со мной или куда хочешь, – говорил Коля спасённому. – Ты же пропадёшь!» Но уговоры не действовали. Расставшись с Колей, человек вернулся в свой лагерь. И надо же случиться такому: оказалось, в лагерь уже пришли документы о пересмотре его дела. Он подлежал освобождению. Это был крупный авиастроитель из Ленинграда.

Продолжение этой истории скоро мне придётся наблюдать самому. Одним этапом с Колей Федорчуком мы прибыли на Колыму. Я – первый раз, он – второй. В штрафной лагерь Случайный, где мы оба оказались, на имя Николая Федорчука пришли две посылки из Ленинграда. В них была фотография прекрасного одетого человека в массивных роговых очках, вместе с большой семьёй. Консервы, сгущёнка и нашпигованное чесноком сало. «Ну и память, падла!» – удивлялся счастливый Федорчук.

В ночь перед отправкой колонну ведут в баню. Конвоиры посмеиваются, перешучиваются. Причина их веселья становится понятной полчаса спустя. В предбаннике мы разделись, кто до трусов, кто догола, повесили одежду на крюки прожарки, где её обдадут горячим паром и вернут после бани тёплой, волглой, прилипающей к телу. Мы уже входили группами в плотный, сырой туман бани, когда конвоиры ввели в предбанник бригаду женщин. Баня ошарашено притихла, слегка заволновалась, кое-кто машинально стал прикрывать руками свои интимные места, но женщины, замученные, худые, бритоголовые, не обращали на нас внимания, словно нас тут не было, и послушно, с привычной деловитостью снимали с себя то немалое, что на них было, не стесняясь обвисших телес.

Шаяк на всех не хватало, одна приходилась на двоих-троих. Мне досталась шайка на пару с девушкой лет двадцати трёх. Она смущалась первые минуты, а когда мы стали мыться, помогая друг другу, перестала воспринимать меня и всех других окружающих как лиц противоположного пола. Девушка неистово мыла голову и всю себя, будто не надеясь, что эта удача может повториться. У неё сильно выступали ключицы, казалось, на них, как на вешалке, держалось её обмякшее тело. Галя Кривенко – так её звали – была из Харбина, из круга русской молодёжи, оказавшейся в Маньчжурии маленькими детьми. Их привезли беглецы-родители из охваченных Гражданской войной городов Сибири и Дальнего Востока. Повзрослев, они не помнили, не знали Россию.

Я встречал этих стареющих соотечественников в портах Маньчжурии во время прогулок по городу и даже танцевал с их дочерьми в дайренских русских ресторанах. Но даже в страшном сне я не мог бы себе представить, что вспомнить об этом мне придётся в пересыльной тюрьме на Второй Речке в бане с женщинами перед отправкой этапа на Колыму.

Галя рассказала, что она подруга Лизы Семёновой, младшей дочери атамана Семёнова, когда-то ближайшего друга и соратника барона Унгерна. В 1920 году Колчак произвёл Семенова в генерал-лейтенанты и назначил «главнокомандующим всеми вооружёнными силами и походным атаманом всех российских восточных окраин». Атаман, обладавший огромной физической силой, считал себя по линии отца (монгола или бурята) прямым потомком Чингисхана, и его уверенность в себе передалась дочерям – старшей Татьяне и младшей Елизавете. Я это слышал от русских эмигрантов в Дайрене, а кое-что

от самой Лизы, с которой однажды танцевал в дайренском ресторане. Одно время она там была пианисткой в оркестре. Когда я сказал об этом знакомстве Гале, она встрепелась: «Её забрали почти в одно время со мной, она должна быть тоже где-то в лагерях». Как сложилась судьба Гали, не знаю. Атамана Семёнова повесили в 1946 году в Москве, на Лубянке. Татьяна Семёнова с малолетним сыном отбывала срок в Тайшете. Лизу Семёнову на пересылках я не встречал, но от заключённых слышал, будто её видели в одном из женских лагерей. Ей было тогда лет двадцать.

Вагоны, в которые загоняли наш этап – человек 600-800, не имели ничего общего со «Столыпинскими», которые разделены на тюремные камеры, устроенные по типу купейного вагона, где сквозь зарешеченную железную дверь, выходящую в проход, охрана может круглые сутки наблюдать и слышать заключённых. Наши же красные товарняки с широкими дверями, наружной перекладной и тяжёлым замком были копией вагонов, в каких по сибирской железной дороге перевозили скот. С небольшой разницей: ни сена, ни соломы у нас не было. В паровозном дыму, под лай собак и крики конвоиров мы поднимались в вагон.

По обе стороны были сколочены двухъярусные нары, в углу стояла бочка-параша. В вагоне оказалось несколько знакомых по Владивостокской тюрьме и по пересылке.

Я обрадовался, увидев Колю Федорчука. Тут же был Володя Млад, лет двадцати семи или двадцати восьми, с нежным женским лицом и обезоруживающей улыбкой – один из самых известных воров Владивостока. Мы познакомились ещё на «три-десять». В вагоне меня многие знали по истории с надзирателем Мельником, ударившим меня связкой ключей в лицо и потом долго лечившимся. В верхних углах вагона были два зарешеченных окошка, сквозь которые хотя бы отчасти выплывал из вагона наружу тяжёлый хлорный дух. Устроившись на нарах или на полу, осуждённые слюнявили карандаши, писали письма, складывали треугольником и на остановках, подсаживая друг друга на плечи, просовывали их в ячейку оконной решётки. Может, кто подберёт и бросит в почтовый ящик.

Мы ехали под гроыханье колёс, радовались свету в окошке и томились неизвестностью. На некоторых остановках охрана выводила нас из вагонов на насыпь, окружённую конвоем с собаками. Наряды поднимались в вагоны, деревянными молотками простукивали пол, стены, крышу – нет ли признаков замышляемого побега, загоняли всех снова в вагон и теми же молотками колотили замешкавшихся. Конвоирам даже доставляло удовольствие обрушивать на последних молотки. Под их руку никому не хотелось попадаться. Все влетали в вагоны, как сумасшедшие. Жалели только, что не добрали свежего воздуха. Пусть смешанного с прогорклым паровозным дымом, с пылью из-под солдатских сапог – всё-таки это был воздух.

И снова стучали колёса.

О наступлении утра или вечера мы узнавали по тому, как в зарешеченном окошке синел, краснел, золотился свет. На душе было тоскливо. Мои друзья где-то во Владивостоке, в рейсах... Неужели я не вернусь к ним целых восемь лет?!

Поезд миновал Хабаровск и шёл к Ванино, когда я заметил в вагоне необычное оживление. Воры что-то замышляли, с ними был Володя Млад. В каждом сообществе уголовников выявляется лидер, которому другие послуш-

ны. Это не страх перед авторитетом, а способ коллективного самосохранения. Воры собирались в кружок, перешёптывались, и хотя я не был приглашён в их компанию, догадался, что готовится побег. Не знаю, откуда у них взялась пилка. Это вообще загадка, как в любых обстоятельствах к заключённым попадают пилки и ножи. На Колыме я не раз буду изумляться людской изобретательности. Стальной проволокой от буксирного троса они могут быстро и так гладко распилить бревно, словно поработала электропила с тончайшим диском. Один колымский надзиратель из украинцев всё удивлялся: «Ну шо це за люди! Таку иголку найдуть, – сводил вместе два указательных пальца, – и такой нож зроблють!» – раскидывал обе руки.

Не знаю, чем воры в нашем вагоне распиливали пол, но много времени им не потребовалось. По неписаным законам воры никому не могли запрещать бежать вместе с ними. И я бы тоже побежал, даже не дожидаясь приглашения, но, когда работа на полу заканчивалась, ко мне подошёл Млад:

– Будем отваливать. Если хочешь – давай с нами.

В полу открылась небольшая дыра, и было видно, как пролетают внизу шпалы. Я оказался в очереди седьмым или восьмым. Кто-то опытный, уже бывавший в таких ситуациях, подсказал, что после Комсомольска-на-Амуре поезда сбавляют скорость и это лучшее время для побега. В тот день на указанном нам перегоне почти одновременно с нами бежали заключённые из других поездов. Но постараюсь вспомнить, как это происходило у нас.

Уже вечерело, когда поезд, постояв на какой-то станции, только-только начал движение и ещё не успел набрать скорость, как первый, опустив ноги над пролетающими шпалами, держась руками за края отверстия, отпустил наконец руки и провалился вниз, моментально распластавшись на шпалах, чтобы чугунные подвески не размозжили голову. На некоторых поездах в местах сцепа последних вагонов свисали, доставая почти до шпал, металлические кошки, убийственные для беглецов, но сейчас об этом никто не думал. За первым, не теряя времени, нырнул второй, вывалился третий, кувыркнулся четвёртый. Подмигнув мне, уже свисая, спрыгнул Млад. Когда пришёл мой черед, я грохнулся на шпалы и прижался к ним, а когда надо мной простучал последний вагон и открылось небо, с платформы последнего вагона охрана открыла беспорядочную стрельбу. Мы побежали. Бежало человек двенадцать. Послышались ещё выстрелы. Поезд резко остановился, на насыпь прыгивали солдаты с собаками.

Мы бросились врассыпную. Солдаты с карабинами и собаки – за нами. Я никогда не думал, что в поезде столько конвоиров. Откуда они взялись? Отовсюду слышалась стрельба. Впереди меня, шагах в пяти, бежал парень из нашего вагона. Пули размозжили его голову. Одно мгновение я видел человека на ногах и с разломанной надвое головой. Как будто её топором рассекли пополам. Он рухнул наземь, из половинок черепной коробки вывалились мозги. Два кровоточащих полушария. Подоспевшая овчарка ткнулась в мозги и, мне показалось, лизнула их.

Это сейчас припоминаются детали, а тогда я не успел ничего ни подумать, ни почувствовать – огромная собака прыгнула на меня со спины, зубами вцепилась в правый бок, свалила. Впереди меня и за мной тоже падали. Я успел натянуть куртку на голову. Слышались крики и стрельба. Конвоиры бежали по шпалам, стреляя на ходу. Человек семь были убиты. Меня схватили и потащили к поезду.

Когда пришёл в себя, оказалось, что меня закинули в другой вагон. Снова началась проверка, нас опять сбросили на насыпь, обыскивали каждого. Поезд простоял несколько часов. Нам, сидевшим на земле, тайга казалась огромной – в полнеба, но побродить по ней напоследок уже было не суждено. Беглецов никто не переписывал, уголовного дела не возбуждали. Не имело смысла: за побег давали три года, но почти у всех в нашем этапе были большие сроки, а при вынесении приговоров по двум или больше делам меньшие сроки поглощаются большими.

И вот конец пути – Ванино.

Поезд остановился в стороне от станции, на запасных путях. Накапывал дождь. Нас выстроили в колонну и повели по склону холма наверх от железной дороги. Там за смотровыми вышками находились пересыльные зоны – помню шестую, седьмую, восьмую... В пересылке, говорили, размещалось до 30 тысяч заключённых. Их везли из Тайшетлага, Карлага, Бамлага и множества других лагерей для погрузки на спецпароходы, уходившие на Магадан.

Нашу колонну привели к железным воротам пересылки. Этап поджидало начальство лагеря и комендатура. Нас посадили на землю, офицеры спецчасти с формулярами в руках выкрикивали наши имена. Из толпы вышел комендант лагеря. Он был в офицерских галифе, заправленных в хромовые сапоги, и в военном кителе без погон. Если бы не широкие плечи и катающаяся между ними чугунная голова, я бы ещё сомневался, не обознался ли, но сомнений не было – Иван Фунт! Видно, пошёл в гору, если стал комендантом пересылки, более крупной, чем владивостокская, неминуемой для каждого, кто шёл на Колыму. В его окружении знакомые лица – Колька Заика, Валька Трубка, другие бандиты.

Фунт шагнул вперёд и обратился к этапу с короткой речью. Я запомнил первую фразу, смысл которой не сразу дошёл до меня:

– Так, б...и, права здесь шалапинские!

Подразумевались права грубого крика, брани, ругани, которые вместе с лаем собак и лязгом винтовочных затворов отныне будут сопровождать каждый наш шаг. Станут звуковой средой обитания, заглушат память о других звуках, которые остались в прошлой жизни. Однако тогда я этого не понимал.

Но представление перед воротами зоны только начиналось.

По формулярам стали выкрикивать воров. В числе первых назвали Володю Млада. Его и ещё десять-двенадцать человек поставили отдельной шеренгой. Поблизости был врыт столб, на нём кусок рельса. К шеренге подошёл Колька Заика, держа в опущенной руке нож. Этап, четыре-пять тысяч человек, сидя на корточках, молча наблюдал за происходящим. Первым стоял молодой незнакомый мне парень. К нему шагнул Заика:

– Звони в колокол.

Это была операция по ссучиванию так называемых честных воров – заставить их ударить по рельсу, «звонить в колокол». Что-либо сделать по приказу администрации, хотя бы просто подать руку, означало нарушить воровской закон и как бы автоматически перейти на сторону сук, так или иначе помогающих лагерному начальству.

– Не буду.

– Звони, падла! – Заика с размаху ударил парня в лицо. Рукавом телогрейки тот вытер кровь с разбитых губ.

– Не буду.

Тогда Заика в присутствии наблюдающих за этой сценой офицеров и всего этапа бьёт парня ножом в живот. Тот сгибается, корчится, падает на землю, дёргается в луже крови. Эту сцену невозмутимо наблюдают человек двадцать офицеров. Заика подходит к следующему – к Володе Младу. Я вижу, как с ножа в руке Заики стекает кровь.

– Звони в колокол, сука! Над плацем мёртвая тишина. Девичье лицо Млада зарделось чуть заметным волнением:

– Не буду.

Заика ударил Млада в лицо ногой, сбил на землю, стал пинать сапогами, пока другие бандиты не оттащили почти бездыханное тело в сторону.

Млад останется жить. В 1951-1952 годах его зарежут где-то на Индигирке. Бандит подошёл к третьему:

– Звони в колокол!

Третий побрёл к столбу и ударил, за ним четвёртый, пятый... Может быть, кто-то ещё отказался, не могу вспомнить. Часа через три этап подняли и повели в зону. Здесь колонну разделили. Я оказался в числе тех построенных отдельно, кто бежал с поезда или по другому случаю был на подозрении. Тут подошёл Иван Фунт:

– Старый знакомый! – Фунт повторил предложение войти в комендантскую команду.

– Мы с вами уже говорили. Я не смогу работать на тех, кто меня посадил.

Мне показалось, этот негодяй теперь смотрел на меня с симпатией и даже с тайным уважением. Я слышал, когда-то его самого, честного вора, долго не могли сломать, но кто знает, через какие испытания пришлось ему пройти, прежде чем стать на сторону администрации.

– Ты же подохнешь на Колыме, – сказал Фунт. Я пожал плечами.

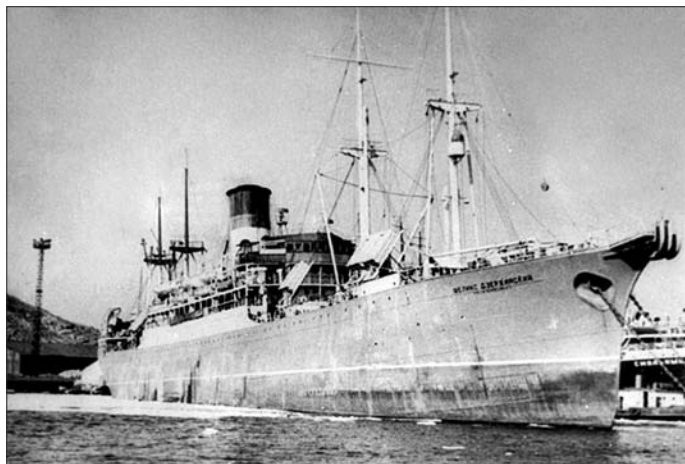
Нас ведут в огромный барак, за свои габариты получивший название «вокзал». В полутёмном высоком помещении нары в три яруса, а в проходе под потолком с необструганных перекладин свисают, покачиваясь, на проводах семь или восемь повешенных. Их головы не покрыты и склонены набок, на нас устремлены выпученные глаза. Видимо, это дело рук Фунта и его команды.

Все засыпают на нарах в полной тишине, не обращая внимания на повешенных. Трупы висят над нами так высоко, что, даже привстав с верхних нар, никто бы до них не дотянулся. Я ворочаюсь, не могу уснуть на спине: вижу над собою повешенных. В бараке густой смрадный дух, меня слегка подташнивает.

Через много лет я расскажу эту историю Высоцкому, и он напишет «Райские яблоки»: «...И среди ничего возвышались литые ворота, И огромный этап – тысяч пять – на коленях сидел».

Издали пароход «Феликс Дзержинский», должно быть, похож на пиратский корабль с клиперским форштевнем. На самом деле его удлинённый нос объясняется первоначальным предназначением. Корабль строили для прокладки глубоководного морского кабеля. Не знаю, в каком году «Феликс Дзержинский» вместе с подобными ему «Джурмой», «Советской Латвией», «Дальстроем» передали НКВД, перепрофилировав для перевозки живого груза. Скорее всего, в середине 40-х. Кроме этих четырёх, для перевозки заключённых привлекали дополнительно суда Дальневосточного пароходства. Чаще всего это были «Ногин» и «Александр Невский».

Наш этап поднимали по трапам на палубу пятитрюмного «Феликса Дзержинского». Вместо пяти с половиной тысяч человек в этот раз погрузили



Пароход «Феликс Дзержинский»

щения и откуда хорошо просматривается главная палуба. Там как раз больше всего автоматчиков. Бросается в глаза неимоверное их количество. Никто не помнит, чтобы при погрузке и во время плавания было столько охранников и собак. Причина была не в особенностях этапа (тут были вместе уголовники и политические) и даже не в превышении обычной численности перевозимых. Повышенные меры безопасности вызывались присутствием на борту генерала Деревянко, начальника Управления Северо-Восточных исправительных трудовых лагерей (УСВИТЛа), человека, довольно близкого к высшей власти. Осенью 1945 года в качестве командующего Дальневосточной армией* он вместе с генералом Макартуром на линкоре «Миссури» участвовал в подписании акта о капитуляции Японии. Не знаю, находился ли он в числе тех, кто с высоты капитанского мостика наблюдал за погрузкой заключённых, но капитан «Феликса Дзержинского» Караянов, я уверен, нервничал.

Незадолго до этого, в 1947 году, на рейде Магадана взорвался пароход «Генерал Ватутин». Судно типа «Либерти», груженное десятками тысяч тонн аммонита, уже вошло в Нагайскую бухту, когда загорелся второй или третий трюм. Люди прыгали на лёд, пытались спастись. Капитан развернул пароход и направил в море, но выйти из бухты не успел. Ничего не осталось ни от корабля, ни от команды. Можно представить силу взрыва, если якорь «Генерала Ватутина» весом 3750 кг нашли потом на берегу. Пароход «Выборг», стоявший поблизости на рейде, был загружен детонаторами. Они, конечно же, сработали, и от судна тоже остались одни круги на воде.

* Начальником УСВИТЛа был с 27.07.1948 г. по 03.05.1951 г. генерал-майор Андрей Афанасьевич Деревянко, в годы войны служивший в МПВО УНКВД. В числе представителей государств, подписавших Акт о безоговорочной капитуляции Японии, был генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко. Дальневосточной армии в 1945 г. не существовало; были 1-й и 2-й Дальневосточный фронты. К.Н. Деревянко был переведён на Дальний Восток на должность начальника штаба 35-й армии в связи с предстоящей войной с Японией. Но в августе был назначен представителем Главного командования советских войск на Дальнем Востоке при штабе Верховного главнокомандующего союзными армиями генерала Д. Макартура на Филиппинах. Уже в Маниле К.Н. Деревянко получил приказ о переподчинении Ставке Верховного главнокомандования и полномочиях на подписание Акта о безоговорочной капитуляции Японии от имени Советского Верховного главнокомандования.

шесть с половиной тысяч. Перед погрузкой каждого обыскивали.

Наша колонна (немногим более тысячи человек), подгоняемая конвоем, слетает по деревянной лестнице в третий трюм. Он ближе других к расположенному в средней части судна спардеку, где возвышается капитанский мостик, рулевая рубка, другие служебные и жилые помеще-

Когда это случилось, я был во Владивостоке и хорошо помню, как в помещении пароходства вели под руки рыдающую вдову капитана «Выборга» Плотникова, она была вся в чёрном и смотрела вокруг обезумевшими глазами.

Об этом не было публикаций, даже говорить о случившемся запрещалось. Мне о происшедшем подробно рассказывал Герман Александрович Ухов, начальник Магаданского порта, которого тоже посадили в 1948 году. Мы с ним несколько раз встречались во Владивостокской тюрьме. После освобождения он будет работать в навигационном отделе Дальневосточного пароходства. И хотя на «Феликсе Дзержинском» не имелось взрывчатки, капитану Караянову было отчего нервно ходить по мостику, подняв на холодном ветру капюшон. Живой груз в трюмах, он это понимал, мог в любое мгновение вспыхнуть, и неизвестно, какие последствия страшнее. Судя по тому, что вскоре произошло, я думаю, капитан осознавал близость опасности.

Нашу колонну больше чем в тысячу человек спустили в третий трюм. Здесь были сколочены нары в три яруса. Если мы были грузом, то исключительно сыпучим, вроде зерна или картошки, который свалили в трюм как попало, надеясь, что утрясёмся сами по себе. Трюм задраен трюмными лючинами. Но был оставлен небольшой проход, ставший для нас целым миром. Мы видели сапоги охранников, морды собак, слышали команды. В люк опускали для нас мешки с хлебом и бидоны с пресной водой. Через него мы выбирались на палубу, чтобы в сопровождении конвоя добрести до уборных – отвратительно пахнущих железных коробок, приваренных к фальшборту.

Шёл второй день плавания, когда на нарах нижнего яруса сгрудились человек 30-40. Ещё в шестой зоне Ванино мы, группа моряков, знавших друг друга, как бы шутя поговаривали: хорошо бы в проливе Лаперуза свернуть вправо... К японским островам.

Скоро весь третий трюм оказался в какой-то мере посвящённым в наши планы, иначе было невозможно избежать хаоса и столкновений ничего не понимающих, разбушевавшихся людей. Большинство поддержало намерение, хотя практическая реализация замысла каждому виделась по-своему. Организаторами мятежа стали бывшие боевые офицеры Советской Армии и моряки-дальневосточники (капитаны, штурманы, механики). Я в их числе. Было и несколько воров – без них тоже нельзя было обойтись.

Об офицерах стоит сказать отдельно. Они прошли через всё самое страшное, что может быть на войне. Среди них не было штабных офицеров. Все командовали – кто ротой, кто взводом, батальоном, батареей. По окончании войны в Европе в августе 1945 года их бросили в Маньчжурию на разгром японской Квантунской армии. В составе Забайкальского, Первого и Второго Дальневосточных фронтов во взаимодействии с Тихоокеанским флотом они сломали мощную японскую оборону, преодолели Большой Хинган и освободили важнейшие маньчжурские города.

После американской атомной бомбардировки Япония капитулировала. Это привело к окончанию Второй мировой войны. Наших боевых офицеров пьянил воздух победы. Они напропалую ругали воинское начальство и власть. Большинство их было арестовано в Дайрене и Порт-Артуре. Теперь генерал Деревянко, участник подписания японской капитуляции, стоял на капитанском мостике, а победители – боевые офицеры – томились в трюме. На них были замызганные куртки и выцветшие гимнастёрки без пуговиц и с белесыми разводами от пота, с вылинявшими пятнами на месте боевых орде-

нов и нашивок за ранения. Ордена отбирали при аресте, а нашивки срывали уже потом, на допросах. В трюме армейские офицеры были единодушны: необходим рывок на главную палубу и захват парохода. Мне запомнилось, как капитан, бывший разведчик, горячился: «Один автомат вырвать, и куда эти птенцы денутся?!»

В число организаторов мятежа входили полковник Ашаров (имени не помню) – бывший сотрудник военной контрразведки, Иван Иванович Редькин – полковник инженерных войск, и отчаянный капитан Васька Куранов – он возглавил первую группу захвата. В неё входили только добровольцы. Замысел был прост: первая группа военных, по преимуществу бывшие фронтовики, вырывается на палубу, разоружает и изолирует конвой, захватывает мостик и радиорубку. Надо моментально овладеть радиорубкой, чтобы никто не успел подать сигнал тревоги.

Вслед за военными, почти одновременно с ними, на палубу влетает вторая группа – из моряков. Я должен был с другими судоводителями и механиками занять штурманскую, рулевую рубку и машинное отделение, быстро изменить курс – на остров Хоккайдо или к берегам Калифорнии. Со мною были штурман Саша Ладан, механик Борис Юзович, другие опытные моряки. Терять им было нечего, а возможная свобода пьянила, торопила действовать. Были и уголовники – помню ростовского вора Игоря Благовидова, много старше большинства из нас.

Борис Юзович рассказал мне накануне свою историю. В 30-е годы его отчислили из Владивостокского мореходного училища как выходца из состоятельной еврейской семьи. Среди студентов-активистов, поддерживавших руководство училища, был его сверстник Зернышкин, учившийся на судоводительском, впоследствии капитан дальнего плавания. Выгнанный отовсюду Борис ночевал в котельных, жил впроголодь, но всё же стал, как хотел, судовым механиком. В годы войны судьба свела их на одном пароходе – капитана Зернышкина и старшего механика Юзовича. В проливе Лаперуза, где-то в этих водах, их судно задержал японский сторожевой корабль. Японцы подошли борт к борту, ворвались на палубу, бросились спускать с флагштока флаг СССР. Зернышкин стоял не шевелясь, а Борис с матросами кинулись на японцев и не дали им тронуть флаг. Лет пять спустя Бориса посадили по статье 58-10.

Споры в трюме не утихали. В этой ситуации опаснее всего утратить осмотрительность, бросаться в операцию сломя голову, и обе группы, сгрудившись на настиле трюмного днища, обсуждали будущие свои действия и общий замысел. Нас всех озадачил Иван Иванович Редькин, милейший немногословный человек, к которому все успели проникнуться симпатией. Некоторым из нас он годился в отцы. Не повышая голоса, он стал убеждать уже разгорячённых, вошедших в раж людей отказаться, пока не поздно, от безумной затеи. Когда он исчерпал свои доводы, в которых даже самые решительные не могли не видеть резона, Редькин не спеша каждому поочерёдно посмотрел в глаза:

– Ребята, поверьте, я был на Халхин-Голе, на Финской войне и видел, как льётся кровь... Больше не хочу! Лезть сегодня на рожон было бы безумием. Конвой усилен, посмотрите, сколько автоматов! Пройдёт время, мы отсидим и вернёмся, пусть не все, но кто-то обязательно вернётся. А так... Зачем?

Но у тех, к кому он обращался почти с мольбой, и у меня тоже, уже разгоралась надежда, и не существовало слов, которые бы тогда заставили свою волей её погасить.

Все были настолько разгорячены, что стоило кому-то сказать «убить его!» – и человека растерзали бы. Я боялся, что ещё пара минут, и наэлектризованная масса неминуемо разрядится именно на нём, ни в чём не виноватом и самом незащищённом. И я старался всех перекричать:

– Человек так думает! Это его право! Поверьте мне. Он же не хочет всем нам плохого. Сам я смотрю по-другому. У нас сегодня есть возможность вырваться. Возможность небольшая, но она есть. Пусть нам не повезёт, но лучше, парни, последний рывок, чем дать самих себя менять на колымское золото, как уже там обменяли десятки тысяч людей.

Когда Иван Иванович объявил, что в любом случае будет действовать вместе со всеми, трюм окончательно забыл о его колебаниях. А споры продолжались всю ночь. В углу слабо светила электролампочка, создавая тревожную полутьму. Люки были задраены, в борта глухо бились волны. С днища трюма, где мы сидели, волнуясь и препираясь, голоса поднимались не выше второго и третьего яруса, откуда свешивались, прислушиваясь, бритые головы.

Диспут касался двух принципиальных вопросов: куда вести корабль и как поступить с генералом Деревянко, с капитаном Караяновым, со всей флотской командой и сворой конвоиров.

Многие настаивали взять курс на Сан-Франциско. И там всем шести с половиной тысячам заключённых предъявить американским властям и мировой общественности наши формуляры, из которых видно, за что нас посадили, куда везли, что вообще творится. Даже воры, осуждённые заслуженно, согласны были досиживать свой срок на какой-нибудь американской Колыме.

Большинство же отдавало предпочтение Японии. Она была рядом, путь к ней короток, больше гарантий нашей безопасности.

Учитывался и неожиданный вариант: захватив пароход, мы можем тут же натолкнуться на чью-нибудь подводную лодку. Мы, может быть, выберемся на берег, но даже если потонем, это будет совсем не та смерть, какая нас ждёт в колымских лагерях.

Мысль о том, чтобы бежать в другую страну, в первый раз пришла мне в голову ещё в подвале водного отдела МГБ во Владивостоке, когда я лежал на нарах, тупо уставясь в потолок и вспоминая, как просто было остаться в Гетеборге, раствориться в чужом городе и избежать всего кошмара, который поджидал меня на родине неизвестно за что. Мне ненавистны были старческие рожи во власти, все подряд, распоряжавшиеся моею судьбой, противно было бессилие всех вокруг и моё собственное – постоять за себя. Направляясь на Колыму, я был уверен, что захват судна и побег – последняя возможность выжить.

Мнения разошлись и в том, что делать с генералом Деревянко и офицерами конвоя. Самые отчаянные, в основном из уголовников, предлагали после захвата судна конвой расстрелять, а генерала вздёрнуть на рее. Возможно, в их глазах ещё покачивались повешенные, с которыми мы провели ночь на «вокзале» в пересыльном лагере в Ванино. Я не думаю, что так бы всё и случилось. Тем более, когда судно собирается идти в иностранный порт демонстрировать, как советский режим нарушает права человека.

На третьи сутки мы точно определили местонахождение судна. Справа уже были видны очертания японских берегов в проливе Лаперуза. Мы шли морским коридором между Сахалином и Хоккайдо. К этому времени наладилась установленная ворами связь с четвёртым трюмом. Он был на нашей же палубе, но по другую сторону спардека, ближе к корме. Сообщения из трюма

в трюм передавались во время вывода заключённых к туалетам, приваренным на палубе к левому и правому фальшборту. К ним постоянно стояли длинные очереди. Связными были также сами заключённые, которых привлекли к хозяйственным работам. Они таскали по палубе и спускали на верёвках в трюмы мешки с сухими пайками. Через них мы узнали о согласии четвёртого трюма выступить одновременно с нами. Там тоже было больше тысячи человек. Верховодил в четвёртом известный вор Пашка Бодайбо, знакомый нам по Ванинской зоне. Происхождение его клички для меня осталось загадкой. Может, он родом из какого-то посёлка на Ленских золотых приисках, но не исключено также, что отбывал срок в одном из бодайбинских лагерей на при-токах Витима.

Рывок первой группы был назначен на полночь, когда конвоиры поднима-ют лючины для вывода очередной партии заключённых к туалету. Едва люк приоткрылся, в согласованное с четвёртым трюмом время Васька Куранов и с ним восемь-девять десятков людей рванули на палубу. Они не успели под-няться во весь рост и сделать даже пару шагов, как со всех сторон был открыт шквальный огонь. Конвой, кем-то предупреждённый об операции, хорошо подготовился к обороне. Из темноты раздавались выстрелы, лаяли готовые со-рваться с поводков собаки, первые трупы рухнули на мокрую палубу, и люд-ская масса скатилась обратно в трюм, откуда минуту назад вырвалась.

Шла стрельба и у четвёртого трюма.

Не только я, весь наш трюм был уверен, что кто-то из заключённых нас заложил. Автоматные очереди и лай собак на ночном пароходе заглушались громкоговорителем с капитанского мостика:

– Третий и четвёртый трюм! Если вы немедленно не вернётесь на свои места, будет открыта система паротушения. Повторяю: если немедленно не вернётесь на свои места...

Система паротушения – это трубопровод, по которому при возгорании грузов подаётся в нижние части трюмов горячий пар. Открыть паротушение – значит тысячу обитателей трюма сварить в кипящем котле, так что даже кости разварятся. Заключённые понимали, с кем имеют дело. Никто не сомне-вался в готовности собравшихся на капитанском мостике включить систему. Я представил себя сваренным и испытал чувство страха. Простого животного страха.

Наверху не прекращается стрельба. Бунт провалился. На палубе осталось четырнадцать застреленных из первой группы бунтовщиков. Мы сидим глубо-ко внизу, в уже задраенном трюме, тяжело переживая гибель товарищей и своё поражение.

Всё могло быть иначе, если б не чей-то предательский донос, но это было слабое утешение – мы проиграли свои жизни в очередной раз.

С некоторыми участниками бунта, оставшимися в живых, мы ещё встре-тимся. Саша Ладан попадёт в Западное управление лагерей. Срок у него был небольшой, кажется шесть лет, он скоро станет бесконвойным и будет рабо-тать где-то в сусуманской геологоразведке. После освобождения попадёт в Казахстан, мы будем переписываться. Мы перезваниваемся и сейчас, когда я пишу эти строки.

С Борисом Юзовичем мы встретимся в колымских лагерях. Освобо-дившись, Борис вернётся на материк и станет механиком-наставником в Азовском пароходстве.

Иван Иванович Редькин окажется в лагере Перспективном и на прииске «Мальдяк» начальником механических мастерских. Мы с ним будем вспоминать эту ночь и беспричинно смеяться, представляя, как бы мы жили сейчас где-нибудь у подножья Фудзиямы, отдыхая в тени цветущей сакуры, если бы фронтовикам из третьего трюма удалось вырвать из рук конвоиров хотя бы один автомат. В 1956 году Иван Иванович освободится, оставит Колыму и тихо умрёт в одном из шахтёрских посёлков Донбасса.

Игоря Благовидова я увижу в одном из лагерных бараков на Бурхале, у нас будет время обменяться новостями, но как потом сложилась его жизнь, никому из наших общих знакомых не ведомо. Следы его затерялись в колымской тайге.

С Василием Курановым мы будем встречаться в штрафной зоне на «Широком». Жизнь его окончится печально. В 1953 году в ночной барак ворвутся возвращённые из побега воры Колька Варавкин по кличке Нос и его приятели, увидят человека, спящего не на нарах, как все, а в проходе между ними на отдельной кровати. Им придёт мысль, что это явно ссученный, потому что спит на привилегированном месте – в проходе. Они набросятся на «суку» с ножами. Утром выяснится, что убитый – бывший боевой капитан Василий Куранов.

Мы вместе провели не так много времени, но, как это бывает, он вдруг стал очень симпатичен и близок мне. Моя горечь от его гибели безмерно усиливалась ещё тем, что и с Колькой Варавкиным мы тоже были дружны. Я потом говорил ему: «Если бы ты, Колька, знал, кого вы зарезали!» Колька очень жалел о случившемся. Варавкин был интересным парнем – смелый, красивый, внешне он напоминал артиста Кторова. Когда его, подследственного, бросили в камеру и он ожидал суда, который мог вынести ему смертный приговор, в руки ему попал учебник высшей математики, и Колька взялся его штудировать.

Лет через десять, когда я освободился и уже возглавлял золотодобывающую артель, неожиданно пришло от Кольки письмо. Он писал из Новокузнецка, где случайно услышал обо мне и моей бригаде, писал, что вспомнилось, как мы с ним были в побеге, и он не понимает, как я мог остаться среди серых сопков, напоминающих страшное время, которое мы пережили. Письмо кончалось такими словами: «Мне так хочется тебя увидеть – нас ведь мало осталось из племени могижан!»

Увидеться нам было не суждено.

Всё это будет потом, а сейчас, весной 1949 года, тесно прижавшись друг к другу, мы молча смотрим из приоткрытого на время трюма в ночную бездну, на холодные звёзды в чёрном квадрате неба, и гадаем, как встретит нас Магадан...

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы намерены продолжить публикацию глав из книги «Туманов. Всё потерять – и вновь начать с мечты...» и поэтому считаем необходимым сделать пояснение насчёт наших примечаний к авторскому тексту.

Мемуарная литература личного характера отличается от исторической мемуаристики тем, что сведения о некоторых событиях и отдельных личностях передаются автором так, как он запомнил, как слышал в своё время и т.п., и это бывает важно, поскольку именно в этом виде они влияли на восприятие действи-

тельности и взаимоотношения вовлечённых в эти события лиц. Фактологические ошибки в таком случае можно отнести, скорее, на недостатки редакторской работы; как писал Андрей Вознесенский: «Так Пушкин порвал бы, услышав, что не ядовиты анчары, великое четверостишие и начал сначала!»

Мы придерживаемся того принципа редактуры, по которому неточности, допущенные автором в уже опубликованном тексте, не могут быть игнорированы при его перепечатке, поэтому отмечаются в виде сносок. Тем более что далеко не все источники, список которых приводится ниже и может быть интересен для всех интересующихся этими темами, могли быть доступны автору или редактору в период работы над книгой.

Аветисов Г.П. Имена на карте Российской Арктики / ВНИИ Океангеология. – СПб.: Наука, 2003. – 342 с.: 119 ил. (портр.)

Аветисов Г.П. Арктический мемориал 2006 г. Санкт-Петербург: Наука, 2006. – 618 с.

Аветисов Г.П. Имена на карте Арктики. – СПб., ВНИИ Океангеология, 2009. – 623 с., фото – 162.

Ведомости Верховного Совета СССР от 18 ноября 1944 г. № 61 (321) (Указ Президиума Верховного Совета СССР «О награждении орденами и медалями...», откуда взята информация о месте службы А.А. Деревянко в годы войны. Опубликовано на сайте <http://forum.mozohin.ru>, см. также <http://vif2ne.ru/rkka/forum/arhprint/28251>.

Великая Отечественная война 1941–1945: энциклопедия. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. – 832 с. с илл., 35 л. илл.

Глущенко А.Г. СЕВВОСТЛАГ. – Lib.ru: Журнал «Самиздат»;

Деревянко, Кузьма Николаевич – <http://ru.wikipedia.org/wiki>

Лавров Б. Первая Ленская / Очерки о первом караване советских судов, прошедших через Северный Ледовитый океан к устью реки Лены. М.: Молодая гвардия, 1936. – 287 с.

Либерти «Александр Невский» и его капитан испанец Альварес. – // Паперно А.Х. Ленд-лиз. Тихий океан. – М., ТЕРРА – Книжный клуб, 1998. – (Тайны истории в романах, повестях и документах).

Папанин И.Д. Лед и пламень. – М.: Политиздат, 1977. – 416 с. с ил.

Северный морской путь – арктическая дорога жизни: история открытия и освоения Северного морского пути : рек. список лит. / Муниципальное учреждение культуры муниципального образования «Город Архангельск» «Централизованная библиотечная система», Центр. гор. б-ка им. М.В. Ломоносова ; [сост. Г.И. Попова]. – Архангельск, 2012. – 87 с.

Северный морской путь: Ледоколы – сила крушащая льды. – / электрон. ресурс. <http://polyris.ucoz.ru/publ/0-0-0-0-1>.

Транспорты типа «Либерти». – Википедия / электрон. ресурс. – <http://ru.wikipedia.org>.

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ОБЛАСТНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

2 АПРЕЛЯ 2103 г. состоялись открытие мемориальной доски и литературно-музыкальный вечер, посвящённый памяти поэта и просветителя Геннадия Михайловича Гайды (1947-2008). Напомним, что 21 ноября 2012 г. прошло празднование 65-летия со дня рождения поэта. К этой дате было приурочено открытие выставки живописи в Иркутской галерее Виктора Бронштейна (Иркутск, ул. Октябрьской революции, 2), так как одновременно отмечалось и 15-летие его собрания картин иркутских художников. В 1998 году вместе с Г.М. Гайдой В.В. Бронштейн организовал выставку в ресторане «Вернисаж», приобретя на ней первую картину – заслуженного художника России Владимира Кузьмина.

Открытие мемориальной доски состоялось при большом стечении жителей города. Собрались не только литераторы – но и жильцы дома № 2 по ул. Марата, где размещалась доска, художники, музыканты, сотрудники ПКФ «СибАтом», моряки. Вечером стихи поэтов Серебряного века – Александра Блока, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Сергея Есенина прочли со сцены Органного зала Иркутской областной филармонии Виктор Бронштейн и Сергей Корбут. Звучали стихи Геннадия Гайды. Все мероприятия прошли за счёт средств Виктора Бронштейна.

13 АПРЕЛЯ в Ангарском музее минералов Валерий Дмитриевский провёл творческую встречу с читателями, названную строкой из его стихотворения: «Жизнь, работа, стихи и любовь». Прозвучали стихи разных лет, песни на стихи поэта в исполнении ангарчанки Надежды Сычёвой и в записи композитора из Бурятии Бориса Дудика. В. Дмитриевский прочитал также отрывок из недавно написанного рассказа «Под крылом Лебедя». Свои стихотворные приветствия автору прочитали Антон Шмигун и Валерий Храмов. Это третья по счёту встреча ангарчан со свои земляком с начала года.

25-26 АПРЕЛЯ состоялась поездка членов Иркутской областной писательской организации Анны Рандиной (Шелехов), Людмилы Соболевской, (Ангарск), Татьяны Ясниковой (Иркутск) в Нижнеудинский район. Ими были проведены творческие встречи в библиотеке п. Шумский – со школьниками, в г. Нижнеудинске – с жителями города и участниками литературной гостиной «Гусиное перо». Встречи были освещены в местной прессе и ТВ. С интересом заслушали командированные авторы стихи и прозу нижеудинцев, познакомились с тематическими выставками в библиотеках. Поездка состоялась за счёт средств министерства культуры и архивов Иркутской области, выделяемых на встречи писателей с населением.

6-8 МАЯ поэт и главный редактор журнала «Иркутский писатель» Сергей Корбут побывал в г. Братске, где провёл встречи с поэтами и прозаиками этого богатого на литературные таланты города. Рассматривалась возможность публикации в журнале произведений братчан, их сотрудничества с областной писательской организацией.

15 МАЯ состоялось собрание Иркутской областной писательской организации (председатель правления – член Союза писателей России В.В. Бронштейн). О готовящемся выпуске первого номера литературно-художественного журнала «Иркутский писатель» сделал доклад С.В. Корбут. С новой

книгой «Дыхание времени» познакомил собравшихся А.Л. Ершов. К приёму в Союз писателей России были единогласно рекомендованы А.А. Кобелев, проживающий в Нукутском районе (поэзия), Ю.Д. Коренев, депутат Думы г. Иркутска (проза), А.С. Маджаров, профессор ИГУ (художественный очерк, публицистика). А.А. Кобелев собрал рекомендации сверх положенной нормы: их написали А.Г. Байбородин, К.Н. Балков, А.К. Горбунов, А.Г. Румянцев, Т.В. Ясникова. Ю.Д. Коренева рекомендовали писатели Москвы, а из иркутян – И.И. Козлов. А.С. Маджарова рекомендовали К.Н. Балков, В.И. Зоркин, С.В. Корбут. Доклад о предстоящем Дне славянской письменности и культуры сделала Л.В. Соболевская. Принять участие в празднике, проводимом ИОГУНБ имени Молчанова-Сибирского совместно с ИДЛ, правление рекомендовало поэтам Людмиле Соболевской и Валерию Дмитриевскому.

15 МАЯ в литературном клубе «Букет» состоялась встреча Татьяны Ясниковой с читателями, среди которых видное место заняли представители Управления вневедомственной охраны – сотрудники этого подразделения традиционно много читают. Прозвучали новые стихи, представлена пьеса абсурда «Народ просыпается». Эта пьеса была опубликованная в журнале «Слово Забайкалья», по которому видно, как внимательно читинцы относятся к своим авторам, виден и вклад краевой администрации в местные культурные процессы. Не случайно читинский классик, поэт Михаил Вишняков более пятнадцати лет возглавлял пресс-службу губернатора Равиля Гениатулина.

22 МАЯ в библиотеке № 17 в микрорайоне Байкальский г. Иркутска состоялась встреча читателей с прозаиком и драматургом Н.П. Кольцовым, представившим на обсуждение пьесу «Лох». Аудитория высказала дружное пожелание автору увидеть пьесу на сцене. Вслед за тем 30 мая Н.П. Кольцов провёл встречу в Литературном клубе «Букет» (Богграда, 8), зачитав отрывки из своих произведений, вызвавших оживленную дискуссию.

30 МАЯ Елена Кимовна Балкова была утверждена в качестве члена Союза писателей России Приёмной комиссией под председательством В.Н. Ганичева. В этот день членами СП России стали около сорока человек из 80 регионов Российской Федерации.

1 ИЮНЯ в Ангарской воспитательной колонии для несовершеннолетних осуждённых прошло несколько мероприятий, посвящённых Дню защиты детей. День завершился концертом в клубе, на котором выступили поэты Виктор Бронштейн, Сергей Корбут и гитарист Александр Сага. В.В. Бронштейн не в первый раз встречается с воспитанниками этого исправительного учреждения и, кроме чтения стихов, своих и известных русских поэтов, провёл с ними беседу о ценности жизни и человеческой души, пожелал уверенно идти по пути исправления и вручил подарки.

4 ИЮНЯ на открытии музея истории Ангарского индустриального техникума (прежде ПУ-34) побывал поэт Александр Кобелев – один из выпускников первых лет, получивший сорок лет назад диплом электромонтёра. Он поделился своими воспоминаниями о времени обучения, прочёл стихи, передал в музей свои книги. Сотрудники АИТ надеются, что сегодняшние студенты будут равняться на лучших выпускников, и в этом им будет помогать открытый музей.

ПОД БАЙКАЛЬСКИМ НЕБОМ

Получила известность среди читателей новая книга рассказов Кима Николаевича Балкова «Куда подевалось небо». Она явилась продолжением «Звёзд Подлеморья», книги, вышедшей несколькими годами ранее. Автор романов «Байкал – море священное», «Будда», «За Русью Русь», «Берег времени» и многих других, отмеченных высокими премиями, последнее время большое внимание уделяет малому жанру, возвращаясь к своим истокам – и литературным, и бытийным.

Первая книга Кима Балкова, выпущенная в 1967 г., – «Небо моего детства» – тоже являлась сборником рассказов и была удостоена Государственной премии Бурятской АССР. Созвучие названий не случайно: небо Прибайкалья, его природа – это обширное и небезучастное пространство, где происходит действие. Герои рассказов – простые люди, разделяющие судьбу своей суровой земли.

Писатель родился в 1937 году в Кяхте, детские годы его прошли в селе Баргузин. В настоящее время на своей творческой даче на Кругобайкальской железной дороге он, как и прежде, выходит на берег Байкала, питающего его творчество свежими впечатлениями.

Таков рассказ «Не поспешай, брат». Герои его – старик Дамдин, одиноко доживающий дни в своём чуме, и художник Анатолий Костовский, познакомившийся с Дамдином возле Шаман-горы. Общаются они при помощи рисунков на сыром песке, не понимая речи друг друга. Художник в этом рассказе – какой он есть.

Вот заключительный абзац этого текста: «...«Не давались» глаза. Не получалось. Вроде бы и те глаза, а всё ж не совсем те... чего-то не доставало. Может статься, горестного недоумения, которое так поразило старого художника. Но однажды проснулся и поспешил к незаконченному портрету, сделал кистью мазок-другой, и – ожили глаза, а вместе и отдалились, точно бы теперь принадлежали кому угодно, только не ему, отыскавшему их в ночной тьме. А чуть погода сказали о чём-то, вселившем тревогу в душу. И были те слова отчётливо зримы, как если бы он увидел отмеченными их на сыром песке. Старый художник испытал сильное волнение, отчего серебристо-рыжие усы встопорщились, а в больших серых глазах заметалась лютая тоска, и отошёл от портрета. «Что-то случилось, – обронил мысленно. – С моим братом что-то случилось. Я должен поехать в тайгу». Он закинул за спину рюкзачок, который всё это время простоял в углу нераскрытый, и вышел из мастерской. А через день устало брёл по узкой таёжной тропе и шептал горячими губами: «Ты чего брат? Ты не поспешай... Мы ещё поживём».

Духом мудрости и сочувствия к простому человеку пронизаны все произведения Кима Балкова. Послесловие к книге написала Татьяна Ясникова. Она отсылает читателя на берег Байкала для лучшего её прочтения, где сама природа дышит сообразно и оживляет каждую травинку, упоминаемую в книге, и каждое её слово.

Презентация новой книги стихов Виктора Бронштейна «Жизнь, играй своё дивное скерцо» состоялась в Органном зале Иркутской областной филармонии. Задушевное авторское исполнение встретило глубокое понимание зала. Большинство знакомо с творчеством поэта и по предыдущим его творческим вечерам, и по телепередачам «Классическая лира» с участием коллег по перу – Геннадия Гайды и Василия Козлова. Презентацию посетили родители Виктора Бронштейна, чей возраст на рубеже девятнадцатого столетия, младший сын Даниил. И это не простое «совпадение». Всякий автор пишет о близком ему; когда это ещё и родные люди, стихи особенно удаются. (Далеко за примером ходить не надо: есенинское «Письмо к матери», исполненное в фильме «Калина красная» – одно из тех, что особенно любимо народом).

Эта связь с каждым годом сильнее
Изливает свою благодать.
В древнем храме молитва слышнее...
Слышит Бог мою старую мать.

Так пишет в своей книге «Жизнь, играй своё дивное скерцо» Виктор Бронштейн. Стихотворение об отце он завершает строками:

Только времени не сдавайся –
На живом древе сладко петь.

И они доходят до души всякого слушателя и читателя, точно так же, как стихотворение, посвящённое сыну Даниилу, разрушающее навязанные всем стереотипы проблемы «отцов и детей». Поэт пишет о том дне, когда его сын и дочь, и он сам были вместе:

И, восторгаясь светлым днём,
Они рука в руке гуляли.
Я душу грел пред их огнём,
Забыв семейные печали.

Есть в сборнике и стихи, близкие офисным работникам, их было немало на презентации в Органном зале. Например:

Отзвенело лето бедной мухой,
Что стремится к свету сквозь стекло...

Читатель заметит в сборнике и недостатки, исходящие от суеты повседневности, и некоторый надрыв, и минусы редакторской работы.

Страдаю я от суеты,
Застоллий пустых, анекдотов...

Тут явно напрашивается отмена инверсии: «Пустых застолий, анекдотов...» Хотя и есть ощущение, что кто-то когда-то в далёких веках употреблял слово «пустых» с ударением на «у», но, даже если это так, те века давно ушли, а современный читатель воспримет это как ошибку.

Стихи Виктора Бронштейна доходят не только до высоких небесных сфер, но и до нашей утонувшей в весенней слякоти глубинки. В журнале «Сибирские огни» №12, 2012 вышел очерк о его деятельности и творчестве («Любовью крутится Земля»), в другом «огненном» издании – «Северомуйских огнях» №1, 2013 – подборка стихотворений.

ДУША ТО ПЛАЧЕТ, ТО ПОЁТ

С предисловием поэта Андрея Румянцева вышла новая книга стихов Алексея Ершова – инженера, академика и поэта. Она называется «Под знаком Козерога» и снабжена фотографиями автора.

«Алексея Лукича Ершова знают у нас в Иркутске, и во всей огромной Сибири как человека, выдающегося в своей профессии. Много лет он возглавлял проектный институт «Востсибгипрошахт» и запроектировал со своими коллегами чуть ли не все новейшие угольные разрезы Восточной Сибири. Алексей Лукич – действительный член Академии горных наук, действительный член Петровской Академии наук и искусств, заслуженный строитель России, награждён орденами, медалями и ведомственными знаками.

Но есть у Алексея Лукича ещё два таланта, которые магнетически притягивают к нему людей: дар поэтический и дар редкостного обаяния, необыкновенной душевности.

Алексей Лукич со студенческой скамьи пишет стихи, и они всегда пронизаны чистотой и благородством его сердца. Неудивительно, что этого человека любят все – от черемховского шахтёра до министра угольной промышленности, от воспитанника подшефного детского дома до известного художника. Об иркутских писателях и не говорю. В. Распутин дружит с ним смолоду. Г. Машкин написал предисловие к его книге, поэты воспринимают его как собрата.

А. Ершов выпустил в свет более сорока поэтических книг. В лучших своих стихах он – мудрый знаток человеческой души, тонкий ценитель красоты, где бы она ни проявлялась: в природе, в чувствах, в искусстве. Алексей Лукич, без сомнения, поэт! Он открывает в хмурой и прозаичной жизни поэзию, говорит добрые слова о людях, о природе. Александр Блок когда-то сказал, вероятно, для таких, как он поэтов: «Сотри случайные черты, и ты увидишь: мир прекрасен!» Спасибо тебе, Алексей Лукич, за то, что ты напомнил нам о красоте земной жизни – она за случайными тяготами уже утрачивает свою подлинную сущность. Живи долго, поэт, и радуй всех, кто любит и ценит тебя!» – пишет А. Румянцев.

В декабре 2013 года Алексею Лукичу Ершову исполняется 80 лет, и книга «Под знаком Козерога» вышла в преддверии этой даты.

Прибайкалье, Приангарье –
Наша добрая страна.
Стародавние селенья,
Новыхстроек имена.

Не могу налюбоваться,
Надивиться с высоты
Ширью этой, этим царством
Первозданной красоты.

Сколько дорог исхожено Алексеем Лукичом в его проектных изысканиях, и представить трудно. Бывают разные типы поэтов: одни воспаряют в дыму безделья, другие, как Ершов, неустанно трудятся и живут для людей не только в слове, но и деятельным участием. Ершова знают в Черемхово не только как «босса», но и как организатора литературных встреч для детей и юноше-

ства. Он выделял средства для проведения вечеров памяти писателя и друга Геннадия Машкина. Шествует над детским домом Черемхово.

Поэт Ершов никогда не продавал своих книг: все они получали хождение в горняцких кругах и среди студенчества. Долгие годы возглавляя Государственную экзаменационную комиссию горного факультета ИрГТУ, он был гуманен и справедлив, как и подобает поэту.

Алексей Лукич занимался спортом – его кабинет украшают кубки спортивных побед, он играл в духовом оркестре, оставив за собой дружеские гитару и гармонию.

Я подтяну колки потуже,
Чтоб в струнах был цыганский строй:
Пусть музыке гитара служит
Своею звонкой чистотой.

Чтоб в гармоническом созвучье
На струнах трепетала жизнь,
И вместе с радостью певучей
Страданья жгучие слились.

Ты в желчь и боль мешаешь слёзы,
И в горький уксус терпкий мёд.
И вот, зависимо от дозы,
Душа то плачет, то поёт!

Поэтическая лира поэта многозвучна, полнозвучна, пронизана большим чувством любви – от скромного цветка до великой Родины, судьба которой вызывает глубокие раздумья и переживания.

С заплаканными глазами
В истоках великих рек,
Молится под образами
Русь моя целый век.

Книга «Под знаком Козерога» завершается стихотворением «Матушка Русь», где поэт делится с читателем тревогой, зовущей к действию. Издав книгу, её автор задумал было оставить свою творческую деятельность, да вот уже – подготовил новые: «Родные черемховские пенаты» о шахтёрском Черемхово, сборник «Дыхание времени» и детскую «Абвгдейка», богато иллюстрированные фотографиями.

Изобразительное творчество тоже близко нашему автору – он дружил с художником Виталием Роговым, дружит с Карлом Шулуновым.

Фотографии в книге «Под знаком Козерога» выдают дружеские и деловые связи академика и поэта: вот мэр Черемхово Вадим Семёнов, вот Иван Зарубин, управляющий делами Совета министров РФ, Иван Щадов, в недавнем прошлом министр угольной промышленности, артисты Республики Бурятия и Биликто-Лама, Моисей Скворцов, заслуженный врач России, писатели Ким Балков, Виктор Астафьев, Геннадий Машкин. И здесь же – сибирская природа: разнотравье, соболя, шмели, цветы, реки.

Какой была бы жизнь вокруг, если бы всякий русский жил с такой отдачей, как Алексей Ершов!

ЛЕСНИК ЗАГОВОРИЛ СТИХАМИ

Издательский центр «Сибирь» при спонсорской поддержке Виктора Бронштейна выпустил первый сборник стихотворений Александра Кобелева «Вещий камень». Прежде автор публиковался в периодических изданиях Сибири и Нукутского района Иркутской области, где поэт проживает. Для первой книги автор, вообще-то, недостаточно юн: он родился в 1955 году в п. Залари. После окончания строительного техникума в г. Ангарске работал там на химкомбинате. Зерно поэзии не могло прорасти как следует в условиях промышленного загрязнения.

Александр Афанасьевич решает вернуться к сельской жизни. И, когда он стал лесником в Новонукутском, на воспеваемых им тропах и дорожных ухабах окреп и сложился его поэтический слог.

А дорога хороша,
Если ходишь не спеша.
Если в думах сокровенных
Успокоилась душа.

Александр Кобелев современен поэтической иронией, по служебным лесным делам он не раз встречался с лешим, и его книга должна найти место на полке рядом с книгами известнейших наших поэтов Михаила Трофимова и Анатолия Горбунова, которые встречались с лешим тоже. Стихотворение «Леший» длинное, его читатель пусть прочтёт в книге и заодно узнает, почему у нас лесники пьют.

А.А. Кобелев – лауреат конкурса им. Николая Рубцова. Его Россия – настоящая Россия, не отозвавшаяся на посвист Соловья-разбойника. Она за заповедной чертой. Он с ней.

Сложу покорно два крыла
И навсегда уйду
В Россию ту, что умерла
В семнадцатом году.

Первый раздел сборника «Вещий камень» называется «Унгинские мотивы». Проживая в районе расселения бурят, Александр Кобелев изучил их эпос и узнал быт. «Возвращение Баатора», «Охотник Хартагай» – эти и другие стихи по мотивам бурятских сказаний перемежаются с зарисовками из народной жизни.

Конь бежит лениво.
Куржавеет грива.
Батя молчаливо
Курит свой табак.
Я сижу, болтаю
И ворон считаю.
Едем мы к Балтаю
Через Хархунак.

«Балтай – займка, хархунак – падь», – объясняются в сноске бурятские слова.

Александр Кобелев подал заявление о приёме в Союз писателей России, и неслучайно рекомендации ему дали Андрей Румянцев – народный поэт

Бурятии, Ким Балков, знаток бурятского предания и Татьяна Ясникова, тоже «маленько бурятка» по месту своего рождения.

ИНТЕРЕСНЫЙ ЖАНР

Воинствующие реалисты не принимают поэтического творчества Татьяны Ясниковой, ведь её подход во многом связан с идеями изобразительного искусства, известного ей «с рождения» во всём многообразии проявлений. Да и родители, студенты-филологи УрГУ на момент её появления на свет, внесли, очевидно, «пренатальный» вклад в её представления о слове. Словопись её стихов порой сродни экспрессионизму. Неслучайно Татьяна Ясникова один из немногих авторов, пишущих пьесы абсурда. В № 1 за 2013 г. журнал «Слово Забайкалья», выходящий при поддержке администрации Забайкальского края, опубликовал её трёхактную пьесу для театра «Народ просыпается».

Татьяна Ясникова никогда не думала, что займётся драматургией, но когда Наркоконтроль объявил конкурс на лучшую пьесу для профилактики наркомании среди молодёжи, с премиальным фондом, она быстро такую пьесу создала на известном ей материале. Конкурс не состоялся, так как кроме неё никто ничего на него не предоставил, но она поняла для себя, что это интересный жанр.

Петр Аркадьевич (жуёт). Я, говоривший мало, пришел к выводу, что говорить надо поменьше. Лучшие мои друзья уехали на траву! А ты, больше похожая на зайца, чем на человека, осталась со мной!

Дашенька. Я – похожая на зайца? Как вы можете, Пётр Аркадьевич! Зачем же меня так оскорблять! Все убежали на траву, а я осталась с вами...

Петр Аркадьевич. Ну, не сердись, Дашенька. Давай лучше посмотрим, что там, на траве, делается. (Берёт в руку пульт, на экране появляется изображение). Изображение само экстраполируется на экран из воздуха. Пульт нового поколения чутко улавливает, какую действительность мы хотим видеть. Учёные двадцать третьего века добились этого, но изображение пока немое. И чёрно-белое. Смотри! Это они, кажется, награждают Алевтину. Великолепно! Она чрезвычайная! Каждое её слово застревает занозой в сердце, и сердце ноет и болит... А это шьют государственный флаг. Ох, уж эта Алевтина! Сначала надо было флаг сшить. А вторым делом её награждать. Они всегда торопятся как можно скорее наградить Алевтину. Смотри, Алла! Алла! И чемодан с ней. Интересно, какая же в нём валюта? А в траву она конвертируется?..

Дашенька. Мы вдвоём. Но мы ещё и в театре жизни. Может быть, отпустим зрителей? Они тоже так проголодались за эти двести лет и три дня.

Петр Аркадьевич (с набитым ртом). Каких ещё зрителей? Я от тебя такого, Дашенька, не ожидал.

Дашенька. Зрители есть всегда. Вот мой дедушка-домовой всегда-всегда подглядывал за моей бабушкой... Я же слышу, кто-то пофыркивает, покашливает...

Петр Аркадьевич. Это контролирующие органы. Что же мы будем делать, если останемся без контроля?

Напомним, что термин «драма абсурда» возник после парижских премьер пьес Э. Ионеско «Лысая певица» и С. Беккета «В ожидании Годо» в самом на-

чале 50-х годов 20 века, своим источником он имеет философию экзистенциализма (А. Камю, Ж.П. Сартр). С тех пор утекло много воды и во французской Сене и в сибирской Ангаре, но суть жанра не изменилась, и Т. Ясникова, также как и её предшественники, в гротескно-комическом преломлении демонстрирует «ложность и бессмысленность форм (в том числе языковых), в которых протекает повседневное бытие «среднего человека» и которыми он отгораживается от безысходной трагичности человеческого удела» (см. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987, с. 9).

Сармат. Отчитайся сначала перед старшими.

Ломтев. Книгу издал. Вывезти надо. Бурьяна Саргассовича издал нашего на перламудском языке.

Алевтина Власьевна. В переводе?

Ломтев. Да нет. Я просто спасал положение, как всегда. Бурьян Саргассович сорок лет не мог издать свою книгу. И вот, это счастливое время наступило. Благодаря мне. Подставил плечо. Такого языка никто не знает.

Чернилин. А Бурьян Саргассович?

Ломтев. Бурьян Саргассович тоже не знает (уходит).

Сармат (поясняет). Сейчас такое время, когда всё делается ни для чего. Книга Бурьяна Саргассовича – идеальный образец следования этому правилу.

То, что события пьесы происходят в писательской среде, ни в коей мере не значит, что в какой-то другой среде они происходить не могут, однако именно в литературном ракурсе ложность и бессмысленность языковых форм как необходимая составляющая драмы абсурда проявляется в полной мере.

Можно посчитать намёком на безысходную трагичность человеческого удела и заявление автора о планах поставить пьесу в одном из соответствующих жанру петербургских театров, однако дорожка в столицы иркутскими драматургами уже протоптана, почему бы и нет, ведь и в Петербурге абсурдность отдельных форм современной жизни давно уже не рядится ни в какие маски.

ПРЕДЧУВСТВИЕ

«Предчувствие» – название книги рассказов Юрия Коренева, депутата Иркутской городской думы. Современная жизнь, «как она есть», в поле зрения автора. Люди «плохие» и «хорошие» действуют сообща, и из этого получается то драма, то трагедия, то просто неразбериха, – однако же писатель и депутат как человек добрый всегда ведёт своё повествование к оптимистичному финалу. И, самое главное, его герои – почти всегда наши местные жители – таким образом читатель больше может узнать о внутреннем мире и житии «просто прохожих».

Среди книг Юрия Диомидовича «Иркутские истории» и «Проклятие шамана», выпущенные издательским центром «Сибирь» в 2010 и 2011 гг., «Тайна подземной паутины» и «Путешествие во времени на воздушном шаре», вышедшие следом. Из одних названий видно, что автора привлекает не только реализм, а таинственное и необычное, свойственное романтикам.

На книгу «Предчувствие» отозвался писатель и историк И.И. Козлов, высоко оценив одноимённый рассказ книги: «Автор убеждённо говорит нам: не

бойся, живи, мечтай, но не огорчайся, если не все мечты сбываются, а, главное, живи и трудись честно, и пусть будет, что должно. И в этом заключена авторская доброта и мудрость, сочувствие и пожелание нашим соотечественникам в наше, не очень доброе, даже агрессивное и неустойчивое время, – искренняя заповедь жить честно».

Говорят, о хороших людях писать легко, – а вот выдержка из рассказа «Самый плохой человек» (в предшествующих строках сын приводит девушку Свету на свою часть квартиры):

– Света – плохой человек, – повторил отец.

– Тогда я уйду вместе с ней.

– Заметь, я тебя не выгонял, ты сам решил. Сегодня чтобы Светы не было! – отец вышел.

Митяй позвонил бабушке. Она всё знала. Была на стороне отца:

– Света – плохой человек, расстанься с ней!

– Бабушка, ты ведь её даже ни разу не видела! Давай, я тебя познакомлю!

– Нет, брось Свету! – бабушка была непреклонна.

Встретились в однокомнатной квартире у мамы Даны.

– Ну, что, Митяй, и тебя кинул отец? – Фома грустно улыбался. – Хорошо он нас всех разводил. Всю жизнь. Мы всегда смотрели на мир его глазами. Он чётко делил всё на чёрное и белое. Я думал, что он умный. А он оказался сволочь.

– Эх, вы! Когда меня выгнал, тогда не поняли разве, какой он человек? – Дана возмущённо посмотрела на сыновей.

– Мы были, как зомби, – сказал Митяй. – Он каждый вечер нас усаживал рядом и говорил по часу, а то и больше. Мы выросли с этим. Поэтому ему доверяли. Когда он говорил плохо, значит, плохо. А плохие у него были все. Даже бабушку и дядю он постоянно считал плохими, когда ему не надо было ничего от них. Иногда нам было непонятно. Он нам вечером гадкое что-нибудь расскажет, а на завтра звонит тому человеку и приглашает в гости к себе. И нас заставляет ему улыбаться.

Писатель Юрий Коренев показывает кусочек жизни, а выводы делайте сами. И, таким образом, читатель оказывается в соавторах – на его долю остаётся немало раздумий, тех, что писатели старой школы проговаривали сами.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН «ИП»

Искусствовед – Татьяна Ясникова

ФРАНЦИЯ И МЫ

Тематическая выставка под таким названием привлекла внимание знатоков искусства к Иркутской галерее Виктора Бронштейна. Выбор темы оказался глубоко не случаен.

О Франции как о стране художников заговорили в России в 19-м веке. Франция раньше устала от своих революций, и прекрасное, как таковое, стало прибежищем умов.

Живопись импрессионизма вытеснила патетику классицизма и романтизма, социальный подтекст реализма, и позже привлекла внимание советских художников тем, что высвобождала кисть. И что же мы имеем сегодня?

На выставке «Франция и мы» иркутское искусство предстало в многообразии стилистических направлений. И мы сделаем её разбор именно с точки зрения стилей – того, что придаёт остроту реальности. А если вспомнить строку «...и острый галльский смысл», то Франции нет без стиля. Тогда как Россия возможна без дорог. Картина Эдуарда Леона Кортеса «Триумфальная арка в Париже», написанная в 1910 году, единственное французское полотно на выставке, есть явление постимпрессионизма. Картины, которые «держат» выставку, также оказались явлением постимпрессионизма – холсты Андрея Рубцова («Круглый стол», «Натюрморт с черникой»), Виталия Смагина («Кайская роща. Тропинки»), диптих «Цветы» Евгения Турунова, в малом зале – «Улица Подгорная» Анатолия Костовского. В вековом отрыве от «корня» нет ничего странного: французский классицизм 17-го века стал неоклассицизмом 19-го, рококо «проснулось» в арт-нуво.

Постимпрессионистом назвал Анатолия Костовского посещавший Иркутск в 1980-е президент Академии художеств Франции Андре де Трюв (см. каталог художника 2010 г., с. 17). Действительно, живопись Костовского имеет высокую плотность, интенсивность, свободу исполнения. И то же самое можно сказать о живописи А. Рубцова, причём оба художника в художественном училище прошли одну школу живописца Д. Баркалова.



Картина Эдуарда Леона Кортеса «Триумфальная арка в Париже» на выставке «Франция и мы»

Более как абстракционист известен публике Виталий Смагин. Его композициям свойственна кубистическая плотность. В его абстракциях всегда было нечто материальное, далёкое от «истинного» абстракционизма В. Кандинского, считавшего это направление духовным явлением. Культурологическое многознание В. Смагина вылилось в поступательный синтез «Кайской рощи», в которой есть и нечто гигантско-циклопическое, как в «Пейзаже с Полифемом» французского классициста Н. Пуссена.

«Цветы» Евгения Турунова своей хищной величиной и экспрессией выходят в любое «пост»-пространство, но всё же более всего они постимпрессионистичны. Ведь здесь можно вспомнить и другую грань французского постимпрессионизма – тягу к экзотике, к Востоку, где у Франции было немало колониальных приобретений. А то, что мотивы искусства Востока, Китая и Японии привлекают внимание Е. Турунова, в Иркутске можно и не говорить.

Также выставку образует и «Антошкин сон» Сергея Казанцева. Большой размер картины предоставляет ей возможность влиять на пространство зала. По исполнению вещь реалистична. Мальчик спит в кровати зимним утром, о чём сообщает законный пейзаж, распространяя свой серебристый свет повсюду. Состояние сна, покоя и есть содержание картины, а это уже «импрессионизм». Отсутствие социального подтекста исторгает «Антошкин сон» из пут реализма. В картине разлито нечто хрустально-хрупкое, опасение, что сон будет нарушен явью. И то, что действие происходит на картине, в небытии, успокаивает зрительское восприятие вдвойне. Сон мальчика Антошки никогда не будет нарушен явью, реальным, эта законченная определённости уводит картину от «реализма» ещё раз.

«Зима» Юрия Карнаухова своим содержанием имеет мороз, вибрирующее состояние атмосферы. Это уже чистый импрессионизм; передать состояние сложнее, чем форму, это уже мастерство; в «Весеннем ветерке», Карнаухова же, белые проблески сухих трав осени на переднем плане как раз и сообщают о весне, а не «зелёная травка и весёленькие птички». И этот эффект достигнут благодаря умению передавать состояния, выходящие за предел банального.

Живопись Дмитрия Лысякова, сокурсника Юрия Карнаухова, более плотная, и в этом более реалистичная. На выставке художник представлен натюрмортом «Стакан чая» и пейзажем «Зимнее утро». В натюрморте на переднем плане – палитра с выдавленным на неё звонким синим кобальтом. Краской написана краска, то есть, реальным реальное, причём открыто, без осаждения её в тон, и поддержкой такого оригинального «пируэта» занят стакан интенсивного по цвету чая. На карнизе за окном голубь (кажется, перепорхнувший с картины Георгия Анциферова). Голубь этот больше «ничто», чем «нечто»; но ведь уже давным-давно искусство работает с планом отсутствия, когда второстепенные детали сообщают о главном, подобно тому, как стрелочники на железной дороге на самом деле ведают маршрутами.

От почвенности Костовского и Рубцова последующее поколение живописцев не оставило и следа. Д. Лысяков пишет «Зимнее утро», и в нём главное – это зимние тени ветреного дня, нервно-угловатые, главное колорит, а изображённые избы только стаффаж, без доходящего до зрителя им присущего тепла и горячей печи. Впрочем, это есть уже и у почвенника Владимира Кузьмина: бесплотность состояния улицы и природы на его «Улице Карла Маркса» выставки «Франция и мы» пленэрна без подкладки реализма. И от этих вещей «бесплотность» живо-

писи выставки идёт по нарастающей, хотя и выпадают из ряда вещи академиста Владимира Жемерикина. Его пастель «Обнажённая» – постановка академической школы; в ней зрелость кариатиды, колонны, она остойчива, и дальше рисунок художнику сделалось скучно, он холодно облёк свою модель в плоть, не оставив за ней ничего личностного. «Автопортрет» Владимира Жемерикина – единственное подлинно реалистическое произведение на выставке: на нём изображён художник в своей социальной, цеховой принадлежности. «Дама в красной шляпе» этого же мастера иная, это русский Париж, это состоявшееся (как не состоялась «французская Москва», кажется, в 1812-ом).

Живописец Владимир Максимов представлен пятью небольшими полотнами в одной манере. По многим признакам это импрессионизм. «Привкус лимонов» таков, будто лимон действительно ощущаем во рту, в «Белом наливе» семечки фруктов ощущает «зуб». «Черешни» – интровертное общение фруктовой «толпы». Формы лишены чёткости, есть присутствие символизма. Хочется назвать это «impressionism accelere», так же, как и живопись «смазанных» беглых форм Регины Присяжниковой. Её картины – взгляд на предметный мир из окна быстро движущегося автомобиля. И только волшебная её «Зима» с клочками плывущего по воде снега вне этого. Картина вообще вне выставки. Ей хочется остаться одной в залах и в этом мире, как слову «вечность», написанному Каем в «Снежной королеве» Андерсена.

В представлении всего мира Франция – носитель темы «l'amour». Что же думают по этому поводу иркутские художники? В эпоху верхнего палеолита их мысли были созвучны мыслям французов. Находки «венер» в Ла Мадлен и Мальте Иркутской области идентичны. Они воспроизводят, в переводе на классический язык, тип Дианы-охотницы. Они вытянуты и худощавы, что не сблизишь с аграрным культом плодородия. Это тип ранней весны, новолуния, романтизма. Такова «Дама с бокалом» Николая Вершинина, «Фруктовая флора» Геннадия Кузьмина. Ничего чувственного, но движение, ведущее к «полнолунию»: одна дама держит бокал, у другой на шляпке фрукты. Мотив «женщина в шляпке» постоянно встречается у Геннадия Кузьмина, и в картине «У зеркала» он смог поместить повтор трёх женщин с этим головным убором явно французского происхождения. Словно художник пытается вспомнить что-то сквозь завесу времени. Словно из Франции была его прабабушка. Словно в верхнем палеолите кто-то из предков проживал в Ла Мадлен...

Ню Николая Башарина всегда tentant, соблазнительны, в этом, да ещё и в тонкости письма с лессировкой едва приметной иронии, он настоящий парижанин среди иркутян. На его небольшом вытянутом холсте «В мастерской» обнажённая среди полупрозрачных намёков кисти а la Renoir, намёков на что-то ещё далее созерцания. На выставке «Мы и Франция» иркутяне доказали, что культурные связи России и Франции выглядят не только убедительно, но и странно, чем и питают изобразительное искусство.

На открытие выставки прилетел из Парижа Морис Ришар Хеннесси. Художники и любители изобразительного искусства продегустировали коньяки легендарного коньячного дом Hennessy, среди которых был коньяк PARADIS IMPERIAL. 200 лет назад Paradis Imperial был заказан в дар российскому императору Александру I, теперь же воссоздан. Уточнить, когда же это произошло – накануне, во время или после 1812-го года посетителям выставки «Франция и мы» не удалось. Картину об этом событии мог бы создать

Лев Гимов, которому даётся историческая тематика. Морис Ришар Хеннесси – знаток и ценитель искусств и литературы, в том числе и русской. На выставке он заинтересовался более всего не тем, как иркутяне написали Францию, сколько той системой письма, что в России назвали бы *plein'air*, пленэрной живописью:

– Я, конечно, не такой эксперт, как Виктор Бронштейн, но могу сказать, что на русских картинах мне очень нравится освещение. Не знаю, с чем это связано. На картинах определённо видно, что свет ярче, у него другие оттенки, которые мы, французы, даже не знаем.

Резко континентальный климат Иркутска – испытание для многих; кисть сибирских художников давно освоила его, что и придало ей своеобразие. Эта кисть не подгоняет себя под стили, но следует натуре, фантазии. Но – даже в бесстильное наше время коньяки Дома Хеннесси выдержаны и несут честь марки. Чего можно пожелать и изобразительному искусству.

ВЗГЛЯД ИЗ ДОМА НА СКЛОНЕ ХОЛМА

К ДНЯМ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ «СИЯНИЕ РОССИИ» И 400-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

Жизнь этого художника похожа на вымысел. Он давно избегает выставок и случайных людей. Он погружён в искусство: его студия это и в самом де-

ле творческая лаборатория, где он экспериментирует с техниками и материалами, погружается в чтение редких и самых современных книг и всё реже выходит из уединения. Он ещё и сочинитель: своим посетителям рассказывает новую сказку о Кае и Герде, а свои давние рисунки старого Иркутска, поражающие тщательностью исполнения, сопровождал стихами и выпустил карту с цитатой из Чехова, той самой, где Антон Павлович называет Иркутск интеллигентнейшим городом.

Более чем за двадцать лет до 400-летия династии Романовых художник посвятил одну из своих картин царственной мечте. Там, где небесный свод



Владимир Голенев. Автопортрет

и прозрачная чаша озера замыкаются ободом горных хребтов в огромную хрустальную сферу, случилась эта история.

Дом на Байкале, в котором жил Владимир Голенев, стоял на склоне холма. С одной стороны его окна выходили на поляну с взбегающей вверх тропинкой. Лишь подойдя к окнам вплотную, можно было увидеть просветы неба в верхушках лиственниц. В комнате царил зелёный полумрак, тишину изредка тревожили смех и крики играющих на поляне детей, похожих на большие, ожившие цветы. Но стоило миновать тёмный коридор, и ты оказывался в другом мире. Из комнаты, которая служила художнику мастерской, балкон выходил прямо в небо, лежавшее на заснеженных вершинах хребта Хамар-Дабан. Между далёкими горами и кущами сирени за балконом лежало волшебное зеркало Байкала.

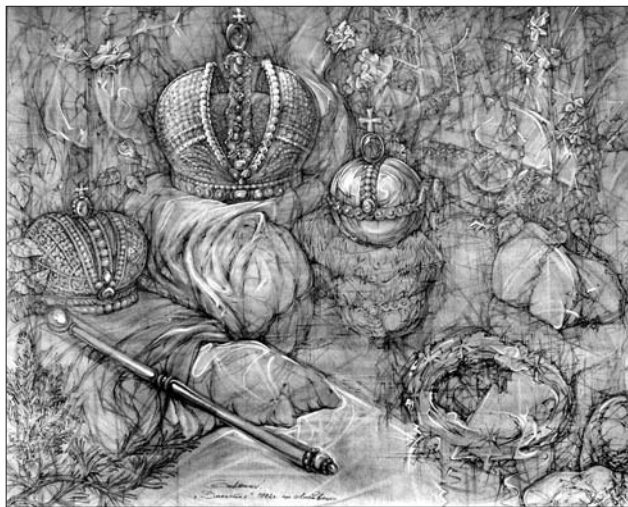
Однажды в конце лета к Владимиру Голеневу приехала съёмочная группа японской компании NHK, чтобы снять сюжет о его творчестве. Режиссёр, господин Каваучи, отсняв картины, попросил художника заняться живописью, чтобы записать интервью с ним в процессе работы. На мольберте стоял большой белый холст. Художник приготовил палитру и приступил к импровизации, отвечая на вопросы режиссёра. На холсте появилась абстрактная композиция, где динамичные формы переливались яркими цветами. День закончился дружеской беседой у костра на берегу Байкала.

На следующий день Владимир Голенев продолжил начатую работу, и через две недели она была окончена.

Это было время смуты. Распадалась огромная страна, в Москве делили власть и богатства народа. Однажды, включив телевизор, художник узнал о военном путче в столице. Весь день он бродил по горам у озера в тревожных мыслях о судьбе своего несчастного отечества. Дома вечером он обнаружил, что исчезли телефонная связь и электричество. Это не прибавило оптимизма. В сумерках он вышел на балкон. Над вершинами Хамар-Дабана угасал тревожный, багровый закат. Вдруг в тишине раздались звуки отдалённых взрывов. «Господи, неужели опять гражданская война?» – подумал художник. В темноте он отыскал бутылку вина и свечу. Устроившись на полу перед мольбертом, художник пил вино. Начатая картина в неверном свете свечи казалась незнакомой и необычной. Неожиданно он увидел, как формы и цвета образовали реалистический образ: на берегу лесного ручья среди камней и цветов покоились в золотом потоке складок короны и держава, кружилась на поверхности воды венки из васильков.

Самое плохое не случилось: взрывы оказались взрывными работами на слюдяном карьере, где добывают белый байкальский мрамор.

На следующий день художник начал карандашный рисунок, чтобы зафиксировать своё ночное виде-



Владимир Голенев. Династия. Карандашный рисунок

ние. Он сделал небольшую копию с той импровизации, что стала складываться в абстрактную картину, когда работал по просьбе японцев, а сам стал по старому слою создавать новую композицию. Владимир Голенев возвращался к картине в течение нескольких лет, давая краскам полностью просохнуть, обогащая новыми прозрачными наслоениями звучание цвета. Ориентируясь на своё, уходящее в память, теперь уже давнее ночное видение, он переписывал отдельные куски холста, уточнял детали. Это было похоже на путешествие во времени, словно художник жил в эпоху классического искусства, вне суеты современного мира.

Весной 2007 года Владимир Голенев решил, что картина закончена и написал на обороте холста время создания: «1991–2007 гг.»



Владимир Голенев. Династия. Фрагмент картины

Владимир Александрович Голенев появился на свет в 1951 году в семье школьных учителей в деревне Завод-Нырты в Среднем Поволжье. В 1956 году семья переехала в Забайкалье – отчий край матери, а спустя три года – в город Иркутск. Учительский отпуск – летом, и вся семья уезжала тогда на родину художника, его отца и деда. С тех пор у Владимира Голенева сохранилось ощущение родной деревни как места, где всегда лето, где у него была своя река, на которой он пропадал с утра до вечера, а дома его ждал дедушка, деревенский кузнец с белой бородой и волшебными сказками.

Отец художника преподавал в школе географию, астрономию и рисование. Он приобщил сына к своим увлечениям: они ходили в длительные походы, вместе рисовали.

В 1968 году Владимир Голенев поступил на учёбу в Иркутское художественное училище, одно из старейших в Сибири. Профессии здесь обучали основательно, и это закладывало такое отношение к искусству, которое давало уверенность, что оно и есть главное дело жизни. Но строгая дисциплина и акцент на ремесле привели к конфликту с преподавателями: юному художнику хотелось большей свободы в творчестве. В 1970 году Владимир Голенев уезжает в далёкий и незнакомый Ленинград, где после серии приключений становится студентом художественного училища им. В. Серова.

Художник полюбил этот город, обрёл друзей, и это место на земле стало для него главным, здесь его пристрастия в искусстве оформились, ремесло переросло в творчество, а творчество стало профессиональным.

После окончания училища Владимир два года служил в армии. Вернувшись в Ленинград в 1974 году, он поступил в Высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухомовой (ныне Художественно-промышленная

академия Штиглица). После «Мухи» (как называли ВХПУ студенты), художник был принят на работу в Ленинградский государственный университет. Каждый день Владимир Голенев отправлялся туда из своего дома на Литейном проспекте, как в волшебное путешествие: по набережной Фонтанки, мимо Михайловского замка и Марсова поля, вдоль Лебяжьей канавки Летнего сада. Перейдя Миллионную улицу у Эрмитажа, художник выходил у Горбатого мостика к Неве. Постоять несколько минут на середине Дворцового моста и посмотреть на воду стало его ритуалом. А вот и Двенадцать коллегий – слева от Стрелки Васильевского острова.

Мастерская Владимира Голенева находилась в полуподвале Ректорского флигеля, над её окном висела белая мраморная доска с надписью: «...здесь родился поэт Александр Блок». Чтобы попасть в мастерскую, нужно было миновать проходную комнату, в которой репетировал ансамбль старинной музыки «Musika practica».

Университетский городок был особым свободным миром, творческим и интеллектуальным. Скоро у художника образовался тесный круг друзей из учёных, музыкантов и актёров, которые частенько засиживались в его мастерской до глубокой ночи.

Работая в ЛГУ, молодой художник пробует себя в дизайне, сценографии, живописи и графике. Очень многим в своём творческом развитии он обязан своему другу – художнику Марку Тумину, человеку глубокому, с аналитическим складом ума, который подсказывал ему верные пути творческой самореализации.

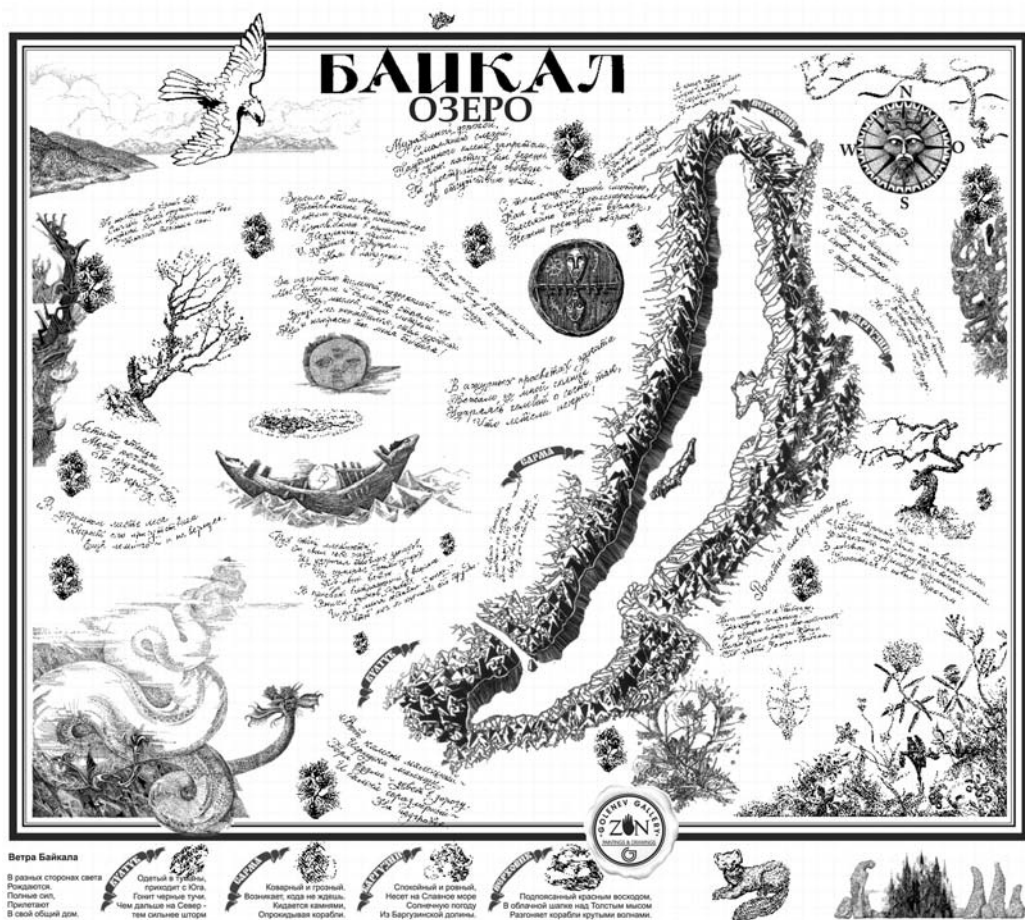
Много времени Владимир Голенев проводит в Научных залах Публичной библиотеки и в библиотеке Академии художеств, посещает семинар молодых учёных Ленинграда под руководством Томаза Петрова. Его интересуют проблемы симметрии и асимметрии в природе и искусстве, структурный анализ и семиотика.

Но всё чаще Голенев вспоминает своих состарившихся родителей и в 1985 году принимает решение вернуться в Иркутск. И вот последняя белая ночь, прощание с дорогими друзьями. Впереди Сибирь.

Уже в Иркутске Владимир Голенев, гуляя по городу, зашёл в художественное училище вспомнить родные стены, откуда начался его путь в искусстве. Директор училища Леонид Куранов поинтересовался, кто он такой, и тут же предложил преподавательскую работу. Так, неожиданно для себя, художник стал преподавателем живописи, рисунка и композиции, открыв важный этап в своей жизни.

Обучая студентов, он старался максимально раскрыть их творческую индивидуальность. По его глубокому убеждению, учитель должен провоцировать ученика на страстное отношение к искусству, на создание своих законов в реализации образа. В связи с этим у Голенева-педагога появилась потребность разобраться в психологических аспектах творчества. Он открыл для себя труды школы аналитической психологии и стал горячим поклонником Карла Юнга.

Новый, прояснённый порядок мыслей и ощущений потребовал уединения, и Владимир Голенев уезжает из города в посёлок Листвянка на Байкале, полностью посвятив себя занятиям живописью и графикой. Изредка его посещают бывшие ученики, разлетевшиеся по разным городам и странам. Вечерами ху-



Владимир Голенев. Байкал

дождик гуляет по берегу Байкала, но в заснеженных вершинах хребта Хамар-Дабан он видит миражи Санкт-Петербурга: то громаду Исаакиевского собора, то милый сердцу силуэт доходного дома у Таврического сада. Поэтическим символом юности и любви стал покинутый им город на Неве.

Через пять лет, в силу жизненных обстоятельств, Владимир Голенев возвращается из Листвянки в Иркутск. Он создаёт свою авторскую галерею, занимается преподавательской деятельностью, живописью и графикой, не замыкаясь в одном стилевом направлении.

В его творчестве можно проследить влияние экспрессивного абстракционизма, метафизической школы живописи. На его редких персональных выставках зритель порой думает, что видит картины разных художников. Это не смущает автора: он объясняет стилевое многообразие тем, что всякое новое содержание требует присущей только ему новой образности.

Когда Владимиру было пятнадцать лет, ему приснился сон, который стал пророческим. Художник очутился на высоком холме в полуразрушенном кирпичном доме. Его кровля обвалилась: руины венчали вершины корабельных сосен, шумевших в порывах ветра. Пол отсутствовал, под ногами была пружинящая при ходьбе кочковатая земля, усыпанная рыжей хвоей. Центральный проход вёл через анфиладу помещений, увешенных картинами. И так захоте-

лось их разглядеть! Но стоило художнику двинуться, как земля под ногами стала обрушиваться. Он побежал вперёд, лишь краем глаза успевая увидеть холсты на стенах, переливавшиеся красками и неуловимыми образами.

В испуге он выбежал из этого страшного дома. Его глазам открылся вид на солнечную долину: внизу текла, поблёскивая, извилистая речка, исчезая в зарослях старых ив и появляясь вновь. Дальше до горизонта золотилось пшеничное поле с одиноким дубом. По голубому небу разбрелись белые облака.

Художник понял: это его мир, в котором он должен создать картины, те картины, что он не сумел разглядеть, когда мчался по анфиладам.

Владимир Голенев продолжает свои поиски. Его картины находятся во многих странах мира, а он создает всё новые образы, делясь с редкими, избранными зрителями радостью открытий.

«ЗАПОВЕДНОЕ»



Художник Сергей Писарев

**В Иркутской областной филармонии
галерея Виктора Бронштейна
открыла выставку художника
Сергея Писарева «Заповедное».**
**В городе выставочный зал филармонии
один из самых наполняемых.**
**Зрители – посетители
филармонических концертов.**
**На открытие сезона 2012/13 гг. галерея
представила масштабную выставку
Евгения Ушакова «Берёзовая Русь»,
она же его завершила в мае-июне
«Заповедным».**

В наполняющей пространство современности всегда есть давнее – в городе это прохлада стен, в природе – скальные утёсы. Символом выставки стала картина «Мыс Кадильный», скорее видение, чем отражение реальности, как и многие другие картины Сергея Писарева. На холмистом взгорке многоцветное нагромождение камней – вот же они, тюбики с краской, провоцирующие такой грубый подход к нежной колоритом байкальской складчатости – а над ними чёрный остов лиственницы, охваченной на ветру пламенем-светом. И солнце над этим – знак, а не светило. Не случайно же многие современные астрономы склоняются к мысли, что «Земля не вращается вокруг Солнца», а планеты в вихре движения совершают с ним сложный танец. На картине реликтовый мир – догуманистический, неотёсанный.

Таким же символом выставки могла оказаться картина «Бухта Песчаная», созданная ранее и подтверждающая, что при разностильности того, что делает Сергей Писарев, доминанта у него всё-таки есть. В «Бухте Песчаной» скалы согреты солнцем, они рыжие, жёлтые, светящиеся изнутри. Грубое вещество камня и краски из тюбика, крупная щетинная кисть находят взаимо-

понимание и создают фактурный ансамбль. Рядом призрачная «Большая вода» – разлив на Иркуте – мелодичная – другая. Художнику удаётся «договариваться» с веществом стихий, допытываясь до их первозданности. Он стремится и обобщать: в картине «Великий чайный путь» громадность пространства, неприступные синие горы и едва заметная дорога на глинистой равнине – величие и бесприютность рядом, странная мелодия Востока с ушедшей в себя мыслью, далёкой от людского. Но рядом «Осенняя протока» – дика, живёт в неуспокоившемся хаосе красок. Раньше такую картину и этюдом бы не сочли – режет и глаз, и дух. Но, как бумага всё стерпит, так, видимо, и холст способен всё стерпеть.

А то, что есть, своей явленностью имеет право на существование. Тот случай, когда картину не переокрасить, как и человека не исправить. Кажется – сорви холст – и за ним точат ножи. Но вот – настоящий мираж – «В Голоуственном» – слитая с пространством геометрия форм храма, небо из красочных синих лоскутов. Храм до воцерковления, гулкий, как колокол, а то будто в него приводят пути, в нём – теряются. И вот, наконец, «Хужирский пирс» – байкальские суда, будто сделанные детской рукой, привлекательные тем, что не загружают глянцевиной ловкой хищностью, раздолбаи, в общем, буря пронесётся – не заметят.

Художник часто использует насыщенный кадмий, но вот он взял и написал звонкий зимний пейзаж «Первый день марта» в духе «сразу всех», потому что и белила надо куда-то приспособливать. Видно – покрашено в мастерской, на морозе и ветру так не напишешь. Это холсты Юрия Карнаухова говорят, в каких погодных условиях они создавались. Писарев силён не тем – остойчивым приятием творения. «На берегу» – две чайки в соприкосновении, сами, как изваяние в противоборстве с байкальской стихией. А под ногами – изыскано фактурный песочек. Фактурность – это современно, это от тактильной привычки к слишком гладким поверхностям. Глазу человеческому, чтобы выжить, нужны объёмы, шероховатости, кубы, соотношения. Скользкий мир экранов отбрасывает к первобытному. «Маяк», «Багульник» фактурны, не ради маяка и багульника написаны, а для человечности мимо человека. Почему – мимо? Ум заврался.

А пишет ли художник на пленэре? Про пронзительное закатное «Монахово» художник сказал, что быстро набросал этюд, который у него после купили, а в мастерской, по памяти, захотелось передать впечатление от полученного. Сергей Писарев был студентом М. Воронько, и тот призывал отображать впечатления. Писарев понял это по-своему: импрессионизма у него нет. Ещё он учился у Г. Новиковой. Она вела его диплом. Она пришла в училище, увлекла студентов в свою мастерскую, отодвинула от рутины. Они почувствовали дыхание настоящего искусства. Писарев – заразился. Из группы чуть ли не один остался художником. Прочие ушли туда – к гладким поверхностям скользкой мимо жизни.

Такую картину, как «Маломорье», вне мастерской и не создашь. Это такой же обобщающий образ, как и «Великий чайный путь». Местность, изображённая на холсте, ныне вся застроена турбазами. Оттого она сумрачная, что такой её уже нет, она оплакивает себя. Поначалу пейзаж был ещё темнее, художник сам не выдержал возникшего состояния и осветлил его.

Художнику нередко удаются натюрморты. «Багульник» на подоконнике с корягой и корабликом за окном – плотный по тону, чёткий по настроению,

без реалистической дрожи полутонов. «Красный натюрморт» – постимпрессионистический, ещё чуть-чуть и будет «Таити». Наши байкальские абorigены тоже легкомысленны. Иначе бы давно «свалили» из такого жгуче-терпкого, нестерпимого климата.

«Летний пейзаж» с кирпично-красным геометричным по написанию храмом вдаль – ещё одно видение художника, полусказочное, мифическое, хотя здесь уже точно – взято с натуры.

Хотелось бы отметить ещё «За старым Ново-Ленино» – картина с виду проста, написана небрежно, но подкупает в ней контраст – между малиновым дымом цветения багульника наверху и тёмной массой людей, сажащих картошку в сумрачную землю, – внизу. Это место сейчас обезображено свалкой. И становится понятной неслучайность названия выставки «Заповедное» – Сергею Писареву близка природа, доставшаяся от сибирских предков чистой, прекрасной. Он написал и «Кайскую рощу» – реликтовый уголок на территории Иркутска. И неслучайно на открытии выставки побывал председатель Иркутской городской думы А.Н. Лабыгин. Дума способствовала сохранению рощи, когда над ней нависла угроза несанкционированной масштабной застройки. Приезд на выставку думского спикера – это и благоприятный знак для художника, много занимающегося общественной деятельностью.

В 2004 г. картина Сергея Писарева «Чивыркуйский залив» – со старой лодкой на берегу, знаком прошедших времён, была особо отмечена. Художник стал стипендиатом центрального Министерства культуры совместно с Союзом художников России. Став однажды заметным, Сергей Писарев не растворился затем в общей массе. Он проводит мастер-классы для населения в усадьбе им. В. Сукачёва, организует на Ольхоне ежегодный пленэр для художников страны.

...Когда я подошла к большому холсту «Последний день апреля», началась репетиция симфонического оркестра Иркутской областной филармонии. Зазвучала торжественная музыка, которая «легла» на это произведение, и у него обнаружился возвышенный строй: новая деревня на холме, деревья под ветром – всё тянулось к чистому весеннему небу.

Ветер – знак вдохновения.

КУЗЬМИН & НИКИФОРОВ

В 1998 г. художник Владимир Кузьмин написал портрет поэта Александра Никифорова. Он писал и сказочника Василия Стародумова, и поэта Михаила Трофимова, прозаиков Евгения Суворова и Анатолия Байбородина. Но именно «Портрет Никифорова» стал украшением коллекции Виктора Бронштейна. В 2013 г. Александр Никифоров, верхоленский житель, побывал на выставке «Франция и мы» и попал на снимок «Никифоров у портрета Никифорова»^{*}.

Художник Владимир Кузьмин поделился воспоминаниями о написании этого портрета спустя 15 лет.

– Александр Никифоров в годы своей молодости осваивал БАМ. Работал механиком, разбираясь в любых механизмах. Но так получилось, что в сере-

^{*} См. фото в цветном блоке.

дине 1990-х он, видя заброшенные сибирские сёла и приходящую в упадок деревенскую жизнь, сильно об этом запечалился и решил возрождать село. А что для этого может сделать простой человек? В деревушке на берегу Лены, где не осталось ни одного жителя, он нашёл дом получше и поселился там с семьёй. Однажды он услышал вдали стрекот трактора и, добравшись до пахоты, уговорил тракториста вспахать ему землю. Так начиналось его хозяйство. Маленького сынишку стал учить грамоте сам, ввиду отсутствия школы.

Спустя некоторое время к нему, поэту, подселился художник с семьёй, потом ещё один. Но они долго не выдержали.

Когда Никифоров понял, что в районе смотрят на него, как на бичару, он решил вступить в Союз писателей России. Оставалось найти деньги на книгу стихотворений. Приехав с этой задачей в Иркутск, Никифоров пришёл ко мне, чтобы обсудить это дело. Почему ко мне – не знаю. Может, слух дошёл, что я дружу с писателями. Я увидел, какая это колоритная личность и сразу предложил написать портрет. А Никифоров мне говорит: «Купи бутылочку, чтобы сидеть было не скучно». Я и купил. Пока он её распивал, я и написал портрет. Мы с ним читали друг другу стихи. Он оказался интересным рассказчиком и многим поделился. Я издавна приловчился писать портреты в один сеанс, потому что потом модель не догонишь. В один сеанс писал сказочника Стародумова, совсем уже старичка. В один – Суворова. Эти картины у меня купил художественный музей.

Я дал Никифорову кое-какие советы. Вскоре у него вышла книжка «Небесный пахарь», и его приняли в Союз писателей России. Он перебрался в Верхоленск, занимался стихами с детьми, потом сторожил Шишкинские писаницы. Выпустил в издательстве «Иркутский писатель» книгу по истории Верхоленска, деньги на которую нашла районная администрация. Мне только жаль, что он теперь стрижёт свою буйную шевелюру, придававшую ему такой колорит. Сын его получил образование в городе и уехал далеко...

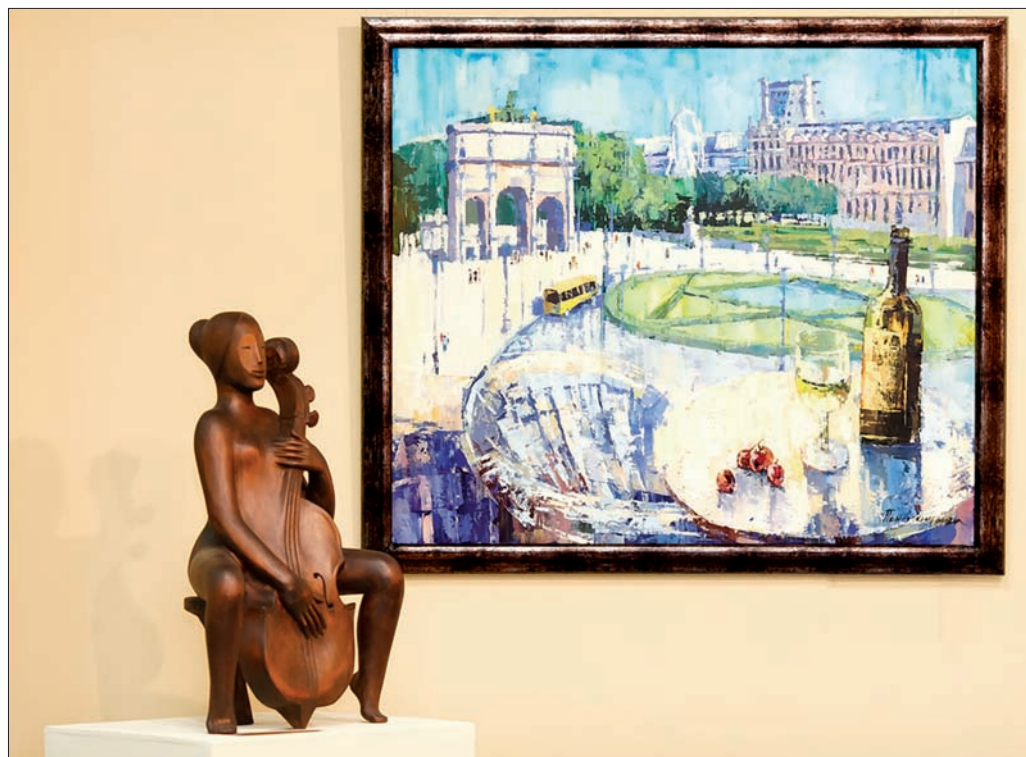
Рассказывая об истории написания портрета, Владимир Кузьмин, пожалуй, рассказал и о мотивах его написания. За спиной поэта икона с изображением Георгия Победоносца на коне, пикой убивающего змея – одна из любимых крестьянских икон и одновременно герб города Москвы. Александр Никифоров он с виду простой, а на деле крепкий духом.



Выставка «**ФРАНЦИЯ И МЫ**» прошла в Иркутской галерее В.В. Бронштейна (на фото сверху – слева). На открытие выставки прилетел из Парижа Морис Ришар Хеннесси, представитель легендарного коньячного дом Hennessy (на снимке сверху – справа). Внизу: скульптура Льва Серикова и фрагмент картины «Антошкин сон» Сергея Казанцева.

Текст на стр. 213-216





На выставке «**ФРАНЦИЯ И МЫ**»: даже тени от скульптур, казалось, были вписаны в общее решение экспозиции, как и присутствие музыки (скульптура Л. Серикова), притаившейся рядом с картиной Р. Присяжниковой «Вид из Лувра» (вверху)... Картина Г. Кузьмина «У зеркала» (внизу).





В 1998 году художник **Владимир Кузьмин** написал портрет поэта **Александра Никифорова**. Он писал и сказочника Василия Стародумова, и поэта Михаила Трофимова, прозаиков Евгения Суворова и Анатолия Байбородина. Но именно «Портрет Никифорова» стал украшением коллекции Виктора Бронштейна. В 2013 г. Александр Никифоров, верхоленский житель, побывал на выставке «Франция и мы» и попал на снимок «Никифоров у портрета Никифорова»...

Текст на стр. 223-224



Владимир Голенев. Династия.

Текст на стр. 216-221



Владимир Голенев. Композиция, предшествовавшая «Династии».



ФРАГМЕНТЫ МИРА ХУДОЖНИКА ГОЛЕНЕВА

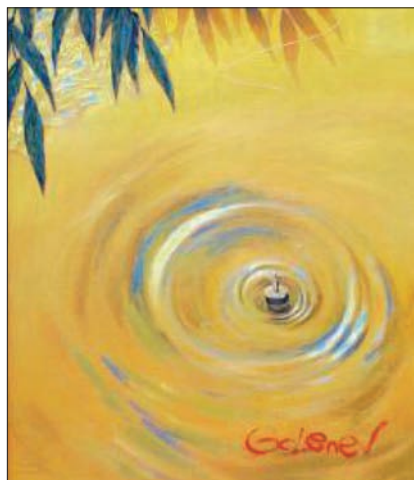
«Владимир Голенев чрезвычайно симпатичный мне человек. Художник ищущий, неуспокоенный, пробующий свои творческие силы в живописи и графике. Человек импульсивный, враг всего косного, утверждающий в искусстве новые самобытные сущности. Образной экспрессией и высокой исполнительской культурой отмечены его работы.

Я высоко чту его искусство, искусство оригинальное и самобытное. Немалую долю творческой энергии отдаёт художник педагогической деятельности. Его методы воспитания молодых художников столь же неординарны и глубоки, как и вся его творческая жизнь.

**Народный художник России, действительный
член академии художеств России
А.И. Алексеев**

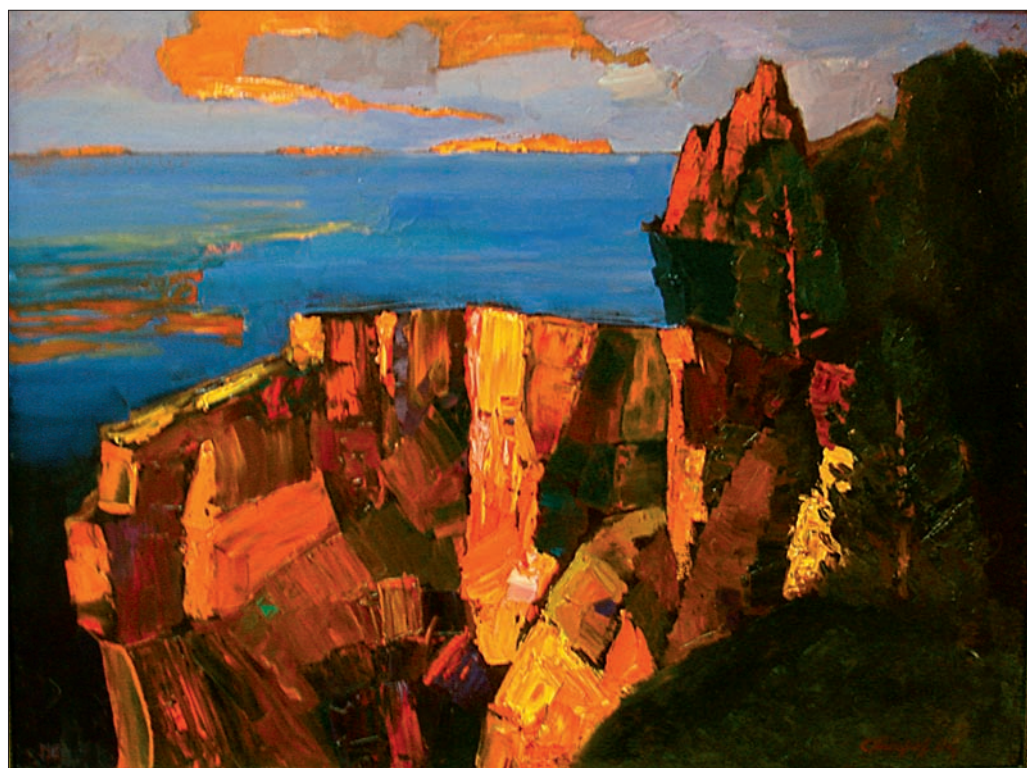


ФРАГМЕНТЫ МИРА ХУДОЖНИКА ГОЛЕНЕВА





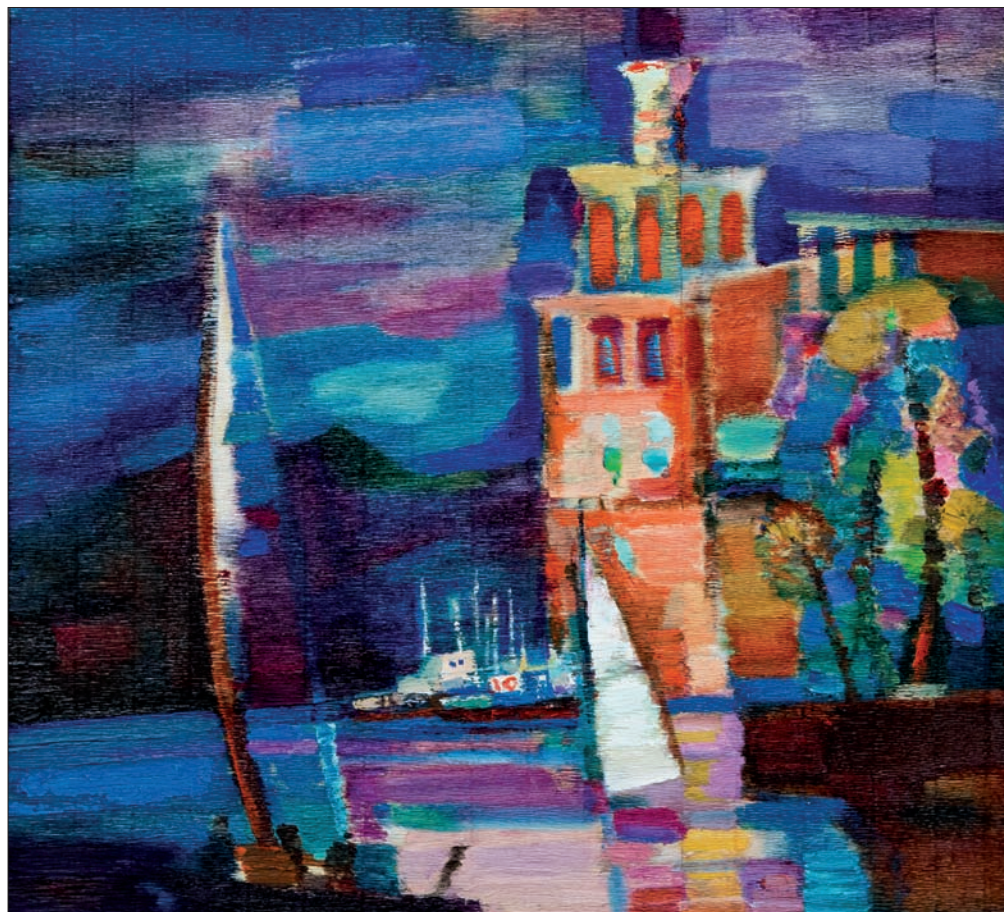
Сергей Писарев. «Мыс Кадильный» (вверху). «Бухта Песчаная» (внизу).





Сергей Писарев. «Осенняя протока» ...дика, живёт в неуспокоившемся хаосе красок...» (вверху). «Хужирский пирс» — ...байкальские суда, будто сделанные детской рукой...» (внизу).
Текст на стр. 221-223



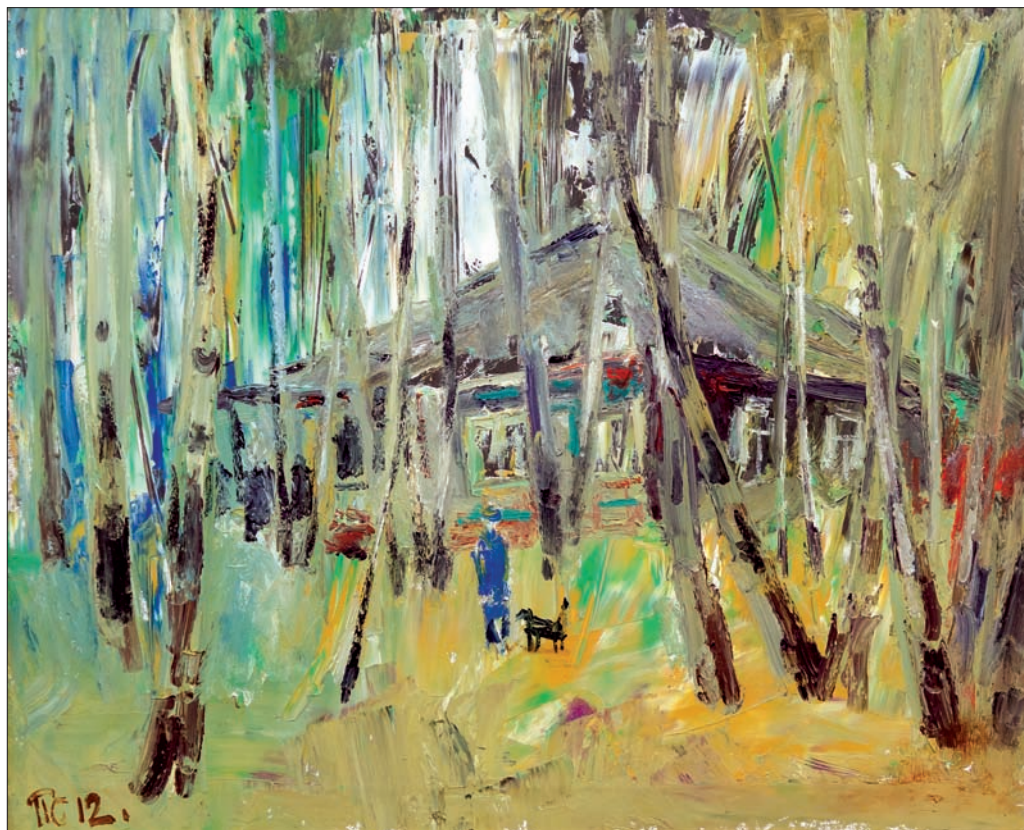


Сергей Писарев. Маяк (вверху). Чивыркуйский залив (внизу).





Сергей Писарев. «Он написал и «Кайскую рощу» – реликтовый уголок на территории Иркутска... На открытии выставки побывал председатель Иркутской городской думы А.Н. Лабыгин... (фото сверху). *Текст на стр. 223*





Сергей Писарев. «Первый день марта» (вверху).

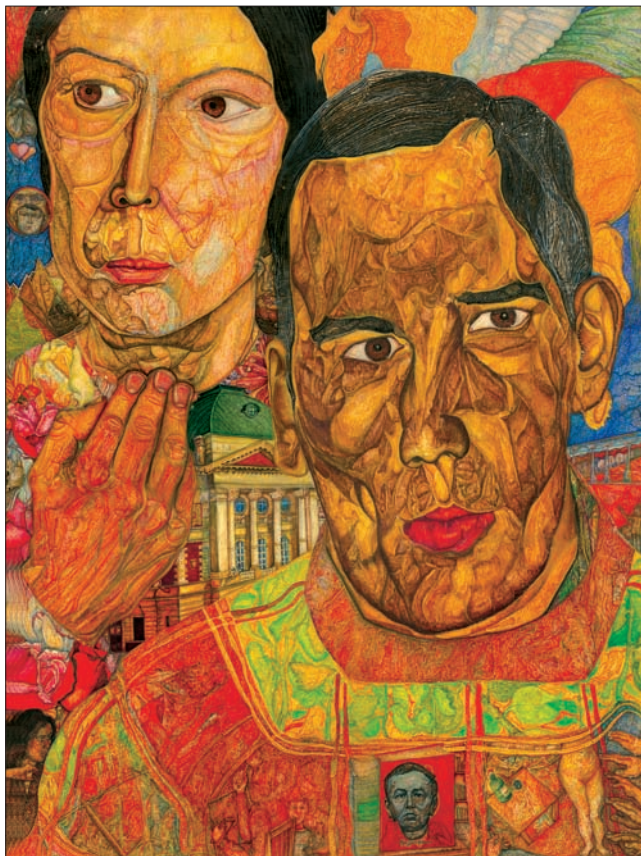
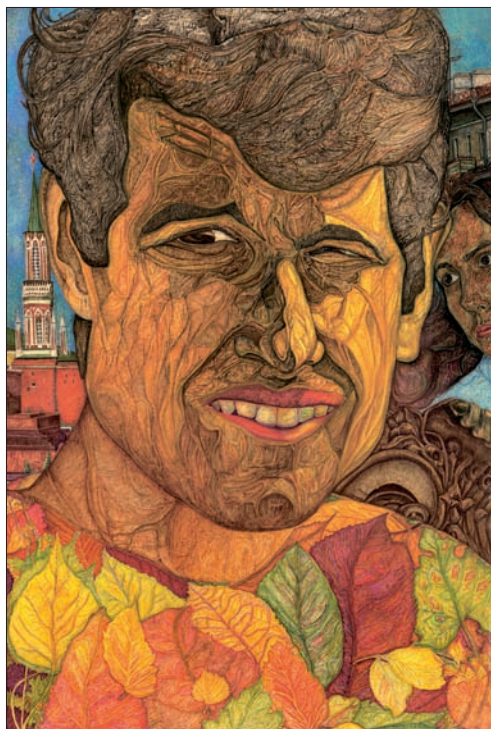
«Последний день апреля» (внизу).

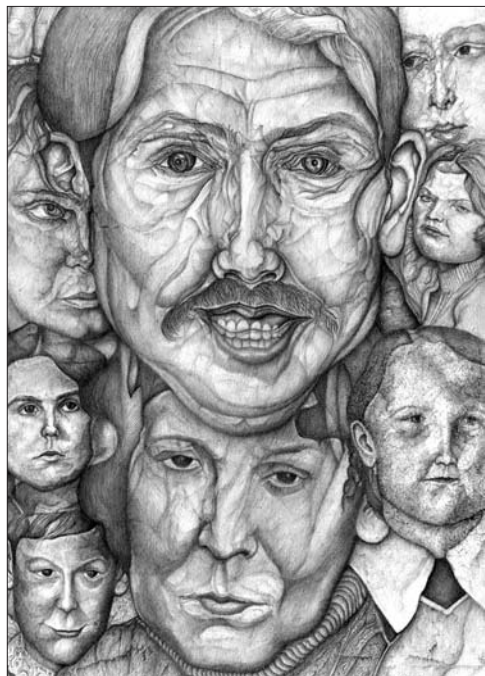




Сергей Писарев. «На берегу» – две чайки в соприкосновении, сами, как изваяние... А под ногами – изыскано фактурный песочек (*вверху*). На открытие выставки пришли многие известные иркутские художники. Было и заинтересованное обсуждение, и благожелательные оценки творчества коллеги (*внизу*).

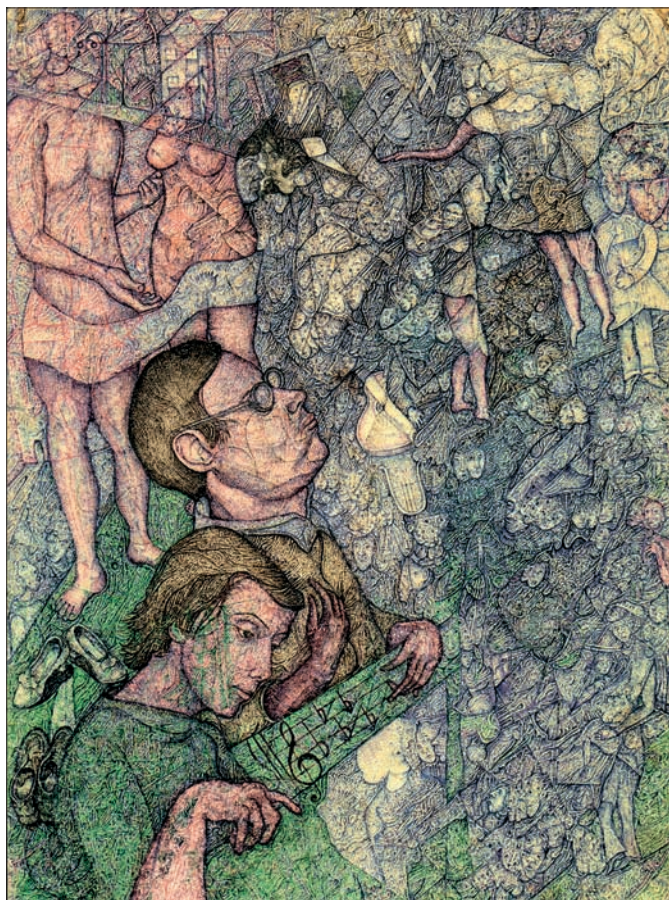






Справа сверху – портрет Бориса Архипкина работы Фёдора Ясникова.

Справа внизу – фрагмент работы «Звоню», посвящённой памяти П. Власова.



Владимир Лапин с картиной «Прохоровское поле – третье поле России» на крыльце Народного театра драмы. Текст на стр. 202. Ещё одна картина В. Лапина военной тематики – «Фотография на память».





Геннадий Гайда

ЗАВЕЩАНИЕ

Денису Гайде

Вникни в ропот деревьев
и рокот морей,
в грохот горных лавин
и безгласность гробов...
Пусть не мучит тебя
после смерти моей
ни печаль, ни вина,
ни земная любовь.

Мы уходим, но мир
не скудеет ничуть.
Я здесь был: я внимал...
сострадал... изрекал...
Свет угасшей звезды,
я над бездной лечу
и теряюсь в глубинах
зрачков и зеркал.

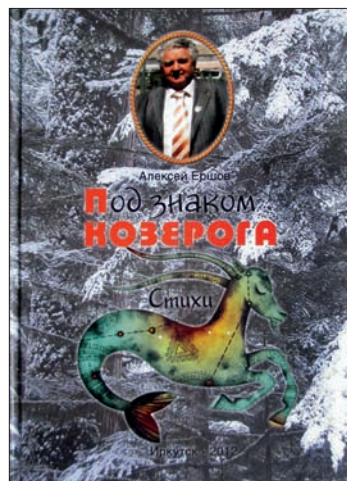
Не скорби понапрасну
по смерти моей.
Я ей вверился сам:
я смертельно устал.

...Свет, искрясь, преломляется
в брызгах морей,
свет, играя, дробится
о горний хрусталь.

Июль 1994 г.

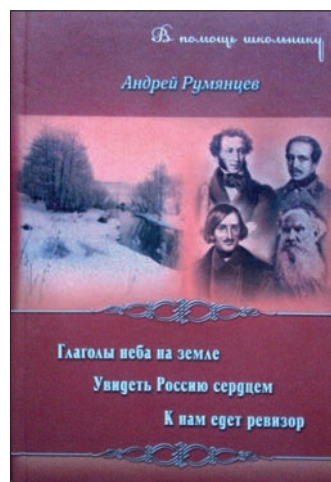


2 АПРЕЛЯ 2103 г. состоялись открытие мемориальной доски и литературно-музыкальный вечер в Органном зале, посвященный памяти поэта и просветителя Геннадия Михайловича Гайды.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Текст на стр. 205-212...



...и на стр. 44-45

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

